



В С Х О

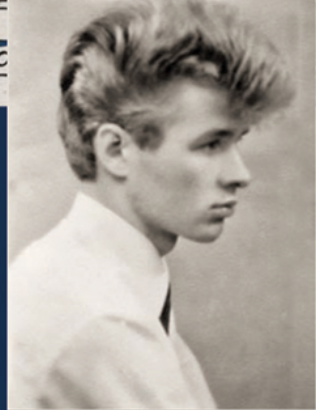
Орган законных
13 кел. Следственного и следоват
24 года. г. Горький
28 окт. 28 янв 1970г

В НАШЕМ ДОМЕ

"Мой дом - моя крепость - с гордостью
говорят заключенные из камеры.
В самом деле это уютное поме-
щение (2х4) со сферическим потол-
ком представляет удачное сочета-
ние романской простоты с совре-
менным комфортом.
Здесь приятно жить и работать
и не боязно. К.З.

НОВОСТИ

15.10.70
Не первый



ИЗ-ЗА РУБЕЖА

передали Поче-
зову белей и
продукты: масло сыр
НАШ комментарий
Конечно све там не
как сыр в масле ки-
таются. Это све
чтоб нам не утери-
У одних сыр, у дру-
гих - масло; это то-
ко всреднем то-
ни, как в среднем

и другое кел. У нас

нет ни того, ни дру-
го. Нам предстоит
еще много пораба-
тать. Но у нас
несомненно появи-
лись уже элементы
коммунизма: все об-
щее, бесцельное,
обходится без
денег и обходится
Замечает И.В.

О ПОЛОВИНЕ

Акте
сегодня пред-
стояло выйти
пол. Эти акт
и совершил
Помазов. В
ему честь
и тинеев

М К И О С К

У По... членом
просьбой читателей
публикуем текст попу-
лярной тюремной песни
(Слова и музыка народные)

"ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
с таким вопросом
тились мы к В.Стре-
и Хотя бы следоват
Сергей стою в весе-
отвечай он.

ХРОНИКА

октябрь м-ц
12 вьют под арест в Стр
22 Из'яли записки
Книжки Помазова
Заведно и его саде
23 КПЗ. Допрос И
Стукач...
ст. 190. Сняв
голову по волосам
плотут - Боде
раба...
26 фото: "На лицо
ужасные - добрые
27 Читатель нечего. Выпр
Равенство. Картины Я
шенка. Вспом. туз
Тот же...
сидело все Россия

ВИТАЛИЙ ПОМАЗОВ



На меня
направлен
сумрак ночи

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

В издание вошли три рассказа-воспоминания участника правозащитного движения 1960–80 гг. Виталия Помазова. Первый из них посвящен истории поступления автора в Горьковский (Нижегородский) университет, воспоминаниям об университете, учебе, друзьях, преподавателях, начале диссидентской деятельности и исключении из университета. Второй рассказ повествует о стройбате и аресте, следствии по ст. 70 и 190-1 УК РСФСР в Горьковском СИЗО и лагере в п. Шерстки. В третьей части автор вспоминает о своей жизни рядового правозащитника в годы брежневского застоя, о диссидентской среде Москвы, Горького, Тарусы, Серпухова, об издании самиздатских литературных альманахов, своей поездке к А.Д. Сахарову, сосланному в Горький, начале перестройки, своем участии в выборах 1989 и 1990 гг., восстановлении в университете и начале редакторской деятельности в газете «Совет». От издателя: Говорят, Америка – не территория, а идея. Россия – тоже идея: огромная страна баз идеи, словесно выражаемого объединяющего начала, выжить не может. Не может выжить без преемственности. В преемственности – смысл и залог будущего России, если ему суждено осуществиться. Издание книг, способствующих поддержанию такой преемственности – наша задача.

- **ВИТАЛИЙ ПОМАЗОВ**

- Об авторе

- **ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ**

- **НАЧАЛО**

- **НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ**

- **КОРИФЕИ И ЧУДАКИ**

- **АХ, ЭТИ ДРУЖБЫ, ЭТИ СПОРЫ**

- **УЧАТСЯ У ТЕХ, КОГО ЛЮБЯТ (В.В. ПУГАЧЕВ)**

- **ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ**

- **ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА**

- **ЭПИЛОГ**

- **НА МЕНЯ НАПРАВЛЕН СУМРАК НОЧИ**

- **Предисловие**

- **I. СТРОЙБАТ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ**

- **«А ВАМ, МОЛОДЫЕ, СЛУЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО...»**

- **НОМО SUM**

- **В ПРЕДГОРЬЯХ АЛА-ТАУ**

- **«ОТВЯЗНАЯ РОТА»**

- И НЕДОИМКУ ДАРЮ
- II. КРЕПКА ТЮРЬМА СТЕНАМИ, ДА ЧЕРТ ЕЙ РАД
 - МЕЖДУ ДВУМЯ ПОГРУЖЕНИЯМИ
 - АРЕСТ
 - НАСЕДКА
 - ХОРОШАЯ ТЮРЬМА.
 - СЛЕДСТВИЕ. ГОД 70-Й и СТАТЬЯ 70-Я
 - МОЙ АДВОКАТ – ПУШКИН
 - БУМАГИ КЛОЧОК В СУД ВОЛОЧЕТ
 - СТЕНОГРАММА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
 - ОТ ПРИГОВОРА ДО КАССАЦИИ
 - НА МИРУ И СМЕРТЬ КРАСНА
 - ВРЕМЯ И МЕСТО
 - КАЖДОМУ СВОЙ СРОК ДОЛОГ
 - ГОЛОСА ИЗ ХОРА
 - ОСВОБОЖДЕНИЕ
 - P.S.
 - ПРИЛОЖЕНИЯ
- СКАЖЕМ СПАСИБО И ЭТОЙ СУДЬБЕ
 - НА ПЕРЕПУТЬЕ
 - ОРГСНАБ
 - И КОЧЕГАРЫ МЫ, И ПЛОТНИКИ
 - МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
 - ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ
 - МОЯ ПРОПИСКА
 - ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
 - ПРОТВИНО, СЕРПУХОВ, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ
 - НЕНУЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
 - МОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ РУДАВИН
 - ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА
 - ВРЕМЯ «ПРОТАЛИНЫ»
 - ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТА,
 - РАЗГОВОР С ИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ
 - ПЕРЕСТРОЙКА
 - ВЫБОРЫ – 89
 - УНИВЕРСИТЕТ, 21 ГОД СПУСТЯ
 - ВЫБОРЫ – 90
 - НАЧАЛО «СОВЕТА»
- «ПО СОВЕСТИ ЛУЧУ...»
- ФОТОГРАФИИ
 -
 -

ВИТАЛИЙ ПОМАЗОВ
НА МЕНЯ НАПРАВЛЕН СУМРАК
НОЧИ

Об авторе

Виталий Помазов родился в 1946 году в Горьковской (Нижегородской) области в семье военнослужащего. Благодаря беспокойной профессии отца и постоянным переездам семьи с места на место, ему довелось пожить в разных российских городах и селах.

В 1960 году поступил в Городецкий автомоторный техникум. В 1965 году, после сдачи экстерном экзаменов за среднюю школу, поступил на историко-филологический факультет Горьковского (Нижегородского) университета. В 1968 году исключен из университета за социологическое исследование «Государство и социализм». Два года отслужил в стройбате. Через четыре месяца после демобилизации арестован. Приговорен судом к 4 годам исправительно-трудовых лагерей по печально знаменитой ст. 70 УК РСФСР – «антисоветская пропаганда и агитация». Виновным себя не признал. (В 1991 году окончил Нижегородский университет, в 1992 году реабилитирован). В 1970-80-е годы принимал активное участие в правозащитном движении.

Работал инженером, грузчиком, газооператором, слесарем, диспетчером теплосети. С 1975 года Виталий Помазов живет в Московской области. С 1990 года по 2011 год – редактор региональной газеты «Совет» (г. Серпухов). В настоящее время – старший преподаватель МАБиУ, филиала в Протвино.

Первая публикация стихов состоялась в 1978 году в парижском журнале «Континент». В дальнейшем стихи и статьи печатались в «Русской мысли» и в российских газетах и журналах. В 1996 году в г. Подольске вышел первый сборник стихов «Миниатюры». Наиболее полное представление о творчестве автора дает сборник «Предчувствие» (издания 2003, 2004 и 2005 гг.). В 2007 году под его редакцией в московской «Типографии Новости» вышел Серпуховский литературно-художественный и историко-краеведческий альманах «Берега». В 2009 году в сборнике «В одной палате с ангелом» наряду с новыми стихами помещены воспоминания и публицистика.

ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ

*Из воспоминаний выпускника
истфака*

На историко-филологический факультет ГГУ я поступил в 1965 году после академического отпуска в Заволжском автомоторном техникуме и сдачи экстерном экзамена за среднюю школу. Задолго до четвертого курса ЗАМТ, поняв, что техника – не мое призвание, я задумался о поисках выхода. Его подсказали два сокурсника, поступившие параллельно учебе в техникуме в вечернюю школу.

Однако сдав 15 предметов и получив серебряную медаль, я не был окончательно уверен в выборе факультета. Историю я всегда любил, но... В школьные и техникумовские годы я был общественником и комсомольским активистом, на третьем курсе стал секретарем комитета комсомола техникума. После чего болезненно переживал разрыв между идеалами, в которых был воспитан, и реальностью шестидесятых годов: все большее расхождение слов, произносимых с высоких трибун, с повседневностью, цинизм партийно-комсомольской номенклатуры, убогость колхозной жизни и т. п. Что-то неладно в Датском королевстве. Окружающий мир оказался несправедлив и негармоничен. Но ни в разговорах с друзьями, ни в прочитанных книгах я не встречал даже намека на то, что мне чудилось повсюду.

Сверхзадачей поступления на истфил университета и было желание понять смысл процессов, происходящих в советском обществе, а кем я буду по профессии после окончания университета – вопрос второстепенный.

Как медалисту, мне было достаточно сдать на «отлично» профилирующий предмет – историю, которую, как мне казалось, я знал хорошо. Конкурс на историческое отделение был 9 человек на место, но об этом я узнал позднее. Каких-либо знакомств в университете, тем более «связей», у меня не было. А если бы и были, то, конечно, мне и в голову не пришло бы ими воспользоваться.

На экзамен в главный корпус университета я приехал довольно поздно: учил до упора обществоведение, вопросов по которому в билетах вовсе не оказалось. Перед дверью аудитории, в которой шел экзамен, мне рассказали, что нашу группу принимает настоящий «зверь»: уже 11 «неудов», три четверки, одна оценка «отлично», а троек «зверь» совсем не ставит. Очень неприятно было это услышать. Но, войдя в аудиторию и взяв билет, я успокоился: все знаю. А невразумительные ответы других абитуриентов еще больше успокаивали. В.В. Пугачев – а это был

он – показался мне едва ли не сухим пергаментным старцем (ему было тогда всего 42 года). Сидел он в окружении аспирантов, среди которых я помню В. Сперанского и Н. Байдакову. Я попросился отвечать без подготовки.

– Что, легкий билет?

– Да, скучноватый.

– Что ж, – с недобрый блеском глаз, – От вас зависит сделать его интересным.

Далее последовало «избиение младенца». Все, что я отвечал по билету, оказывалось не то, не так, все мои аргументы отвергались или даже не дослушивались. Я сбился и впал в отчаяние – выходило, проваливаюсь с треском! А меня ведь даже оценка «хорошо» не устраивала. «Зверь» начал задавать дополнительные вопросы, ответов на часть из которых не содержалось тогда ни в одной школьной программе:

– Что вы знаете о призвании варягов? Кто такой Ежов? Что вы слышали о «процессе врачей»?

Я отвечал, и постепенно мое отчаяние прошло. Я разозлился. Да и терять-то было нечего. Возразил раз, возразил два. Иронически отозвался об историках, пишущих учебники, по которым нельзя сдавать вступительные экзамены, сказал что-то критическое в адрес визави. В ответ мне было сказано, что еще при Петре I вышла книга об этикете «Юности честное зерцало» и мне следовало бы знать, как нужно вежливо разговаривать со старшими. Но меня уже «несло», я уязвлен был до глубины души – я не знаю историю! Разговор шел на повышенных тонах, мы почти кричали друг на друга. Кто-то из аспиранток взял меня за руку: «Успокойтесь, все хорошо!». Пугачев подвинул к себе экзаменационный лист и размашисто поставил оценку...

Я вышел в коридор. Ко мне подбежали: «Ну, как?». Я вяло махнул рукой. Экзаменационный лист тянули из рук: «Ого! Отлично! Молодец!». Я стоял как в тумане, прислонясь к стене. Дверь открылась, вышел мой мучитель. Взяв меня за пуговицу рубашки, он начал расспрашивать меня и в конце предложил заниматься у него на кафедре «Истории СССР». Мне хотелось только одного, чтобы он ушел. Потрясение было слишком велико. Я переживал его несколько дней. Никакого удовлетворения и радости оттого, что поступил, я не испытывал. Друзья меня не понимали. (Как я узнал позднее, В. Сперанский после экзамена сказал Пугачеву: «Ну, приняли на свою голову еще одного Капранова»).

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Истфил 1965-го выглядел довольно убого: узкие обшарпанные коридоры, неказистые аудитории с изрезанными и исцарапанными столами, разбитые ступени лестничных маршей, каморка деканата, грязный туалет, полуподвальные помещения, где во времена химфака хранились химические реактивы и, как нам говорили, радиоактивные вещества, – все это невыгодно отличалось от Заволжского автомоторного техникума. (Учась на первом курсе истфила, я писал дипломную работу в техникуме, ездил на ее защиту. Я еще был полон техникумовских интересов, связей и дружб: мои друзья недавно распределились, разъехались в разные концы Союза, и я вел с ними довольно бурную переписку. Возможно, именно с этими обстоятельствами связано мое, сравнительно позднее. включение в жизнь факультета и моей группы).

Наш курс историков (как и предшествующий) учился по урезанной еще в хрущевское время четырехгодичной программе (5 лет для историков удалось отстоять только Московскому, Ленинградскому, Тартускому университетам), причем большая часть часов была отдана истории партии и марксистским дисциплинам. И дамокловым мечом над всей мужской половиной нависала военная кафедра с полковником Коломийцем и Ко. Можно было пропустить любую лекцию, но не занятия на военной кафедре – это грозило безжалостным исключением из университета.

Я начал сомневаться в правильности своего выбора. Ни скучные лекции по российской истории «Дяди Саши» Парусова, ни прыгающая скороговорка Н.Д. Русинова, ни путанные объяснения Т.С. Пономаревой (это по такому занятному предмету, как археология!) никак не вдохновляли меня. Заслуживающими интереса представлялись мне обстоятельные, вполне, впрочем, ортодоксальные лекции профессора В.П. Фадеева по «Истории партии», предмету, меня тогда глубоко интересовавшему. Семинарские занятия по истпарту первоначально вел старший преподаватель Сергей Сергеевич Святицкий, с первого же занятия окрещенный студентами краснобаем, очень походивший на часто цитируемое им изречение «Взгляд и нечто».

Да, конечно, был еще Николай Филиппович Прончатов, брюнет с яркими синими глазами, приятными чертами лица, который сладкоголосо читал основы этнографии, а позднее – новейшую историю Азии и Африки. В нем души не чаяли

некоторые девушки, но весь он был как-то не по-мужски мягок, аморфен, а его этнография так далека и экзотична, как бабочка с острова Борнео. Несколько лет спустя, в кузнецовское правление на факультете, Прончатова «ушли» в пединститут.

Наиболее колоритной фигурой на первом курсе вспоминается Владимир Григорьевич Борухович. Всклокоченные волосы, блуждающий взор, грассирующий выговор, пиджак, перепачканный мелом, – настоящий профессор не от мира сего! Два семестра он читал у нас латынь и всего семестр – историю Древней Греции и Рима. Курс его был так ужат тогдашней программой, что, как мне кажется, ему было скучновато вдавливать в нас эти азы.

Чтобы переводы латинских авторов были для нас интереснее, он часто устраивал соревнования: кто точнее и художественней переведет античного автора. Например, строки:

Tempora si fuerint,
Multos amicos eris

– А это выражение вы, надеюсь, переведете без словаря: In vino veritas. Ну, конечно: истина в вине!

Про 22 двойки, поставленные на экзамене в параллельной группе, не помню. Я на его экзамен... опоздал! По привычке учил «до последнего» и примчался на факультет, когда Владимир Григорьевич уже величественно спускался по лестнице, направляясь домой. На лестничной площадке, между вторым и третьим этажом, я встал перед ним, в отчаянии раскинув руки:

– Куда же вы, Владимир Григорьевич?!

– Экзамен закончился.

– Разрешите сдать, я опоздал...

– Хорошо, – он открыл свой пухлый портфель и, как колоду карт, протянул пачку билетов. Я взял верхний. Зашли в ближайшую аудиторию. Ответил я на «хорошо», и Борухович с достоинством продолжил шествие вниз по ступеням.

Но... латынь из моды вышла ныне, а история Древнего мира казалась мне очень далекой от социальных проблем, волновавших меня. Я штудировал марксистские работы, не входящие в программу, и радостно находил в них крамольные мысли, совпадающие с моими собственными наблюдениями и умозаключениями.

Во втором семестре практические занятия по истории партии у нас в группе стала вести Мария Васильевна Ушакова, чьи сталинистские убеждения ничуть не были затронуты

хрущевской «оттепелью». Теперь вновь наступило ее время.

Не удивительно, что на первых же занятиях у нас с ней начались резкие столкновения. Особенно по вопросу об объективных причинах «культа личности». Атаки обычно начинал я, ко мне присоединялся Сергей Борисоглебский, иногда подавал реплики Володя Барбух. Каждый семинар превращался в бурную дискуссию, в которой, к удовольствию всей группы, преподаватель явно проигрывала и часто уходила в злых слезах. Дошло до того, что Мария Васильевна просто перестала спрашивать студентов нашей группы, ограничиваясь изложением материала.

Как-то ко мне подошла Татьяна Михайловна Червонная, отвела в сторону и сказала: «Конечно, хорошо, что вы имеете свое собственное мнение, но учтите, о каждом вашем выступлении Ушакова доносит на Воробьевку». Не помню, каким лектором была Татьяна Михайловна, но человеком, явно оправдывающим свою фамилию.

«Болтали» о политике мы, впрочем, много и везде: в коридорах, в автобусах, в курилке Ленинской библиотеки (кроме Володи Бородин, кажется, никто из нас не курил). Моим союзником в спорах был Сергей Борисоглебский, хотя часто не из любви к истине, а ради форса. Володя Бородин, пришедший на курс ярым сталинистом, скоро перешел на нашу сторону и даже в своем радикализме пошел дальше «учителей», проповедуя некий анархо-коммунизм. Более осторожные студенты слушали и помалкивали. Позднее ко мне не раз доверительно подходили однокурсники, которые получали от «органов» предложения «сообщать информацию о товарище, катящемся по наклонной плоскости».

КОРИФЕИ И ЧУДАКИ

Одной из самых ярких фигур на факультете был энергичный, быстрый, резкий и язвительный Николай Петрович Соколов. В молодости он окончил духовную семинарию, но был атеистом. 1917 год застал его в магистратуре Петербургского (Петроградского) университета, он писал диссертацию о Тюрго. Политически оказался близок эсерам, поэтому после большевистского переворота преподавать историю не мог. Пришлось покинуть Петербург и долгие годы зарабатывать на жизнь преподаванием в школе французского и немецкого языков. Только во время войны он получил возможность преподавать в Горьковском пединституте и защитить кандидатскую диссертацию. С его же слов, в пединституте он прослыл женоненавистником и фашистом. Дело в том, что учились там в эти годы женщины, пришедшие на истфак не по призванию, а просто уклонявшиеся от всяких воинских мобилизаций. Учиться им было неинтересно, и в своих работах они дословно переписывали тексты учебников, а Николай Петрович беспощадно ставил им «неуды» и приводил в пример работы единственного на факультете парня, которого по болезни не взяли на фронт.

В 1953 году Н.П. Соколов защитил докторскую диссертацию на тему «Образование Венецианской империи». Присутствовавший на защите академик Е.В. Тарле якобы сказал о нем: «Этот далеко пойдет!» Соколов свободно владел классической и средневековой латынью, греческим и основными европейскими языками, читал лекции. Разумеется, без конспектов, ярко, эмоционально, цитируя документы на языке подлинника. Снисходя к нашему дремучему невежеству, он, усмехаясь, говорил: «Ах да, я забыл, вам ведь некогда учить языки: надо одолеваять истмат, диамат, научный коммунизм. Я вам переведу».

Первое знакомство с Соколовым я помню так. Мы с однокурсником сидим на кафедре и бьемся над переводом латинских текстов (учебников латинского языка не хватало, в библиотеке не достать). Рядом на стуле – крепкий, прямой старик или, скорее, пожилой мужчина в простом свитере. Короткие усы, лысеющий загорелый череп путешественника, охотника. Мне представляется, что это какой-то подсобный рабочий при кафедре – плотник, что ли? (Позднее я узнал, что никаких подсобных рабочих на кафедре нет.) Он некоторое время смотрит на нас, наша бестолковость его раздражает, и он вылепливает перевод: «Если хочешь быть любимым, люби!».

Вижу его, стремительно, через ступеньку, поднимающегося по лестнице – в 1965 году ему исполнилось 75 лет! Рассказывая о многовековой борьбе между Германией и Францией за Эльзас и Лотарингию, он мог, между прочим, сказать:

– Помню, в 1914 году зашел я в букинистический магазинчик на приграничной Франции территории. По-немецки обратился к даме за стойкой. Ноль внимания. Тогда обращаюсь по-французски. Дама расцвела: «Ах, вы русский, союзник! Что вам угодно?»

Мы, сидящие в аудитории, переглядываемся: с 1914 года до нашего времени пролегла целая – и какая! – эпоха новейшей истории!

Вот Николай Петрович в нашей факультетной библиотеке стоя перелистывает новый трехтомник Руссо и недоуменно хмыкает, не находя знаменитого трактата «Об общественном договоре».

Я поворачиваюсь к нему:

– Николай Петрович, «Общественного договора» в этом собрании нет.

Соколов еще громче хмыкает:

– Зачем вообще издавать собрание сочинений Руссо, если в нем нет «Общественного договора»!

(Кстати, книгу «Об общественном договоре» долгие годы держали в спецхране, и на позднейших допросах в КГБ следователи не раз спрашивали у разных лиц, читали ли мы и с какой целью эту книгу.)

В большой аудитории теснятся студенты и аспиранты. Соколов выступает с опровержением тезисов книги какого-то американца «10 новых доказательств бытия Божия». Николай Петрович говорит, как всегда, ярко, интересно, убедительно. Кое-кто даже аплодирует. После выступления мы с Женей Купчиновым подходим к нему с вопросом, что он думает о полемике Дымшица с Лившицем в «Литературной газете»?

– Молодые люди, мне пора уже не об этом думать, а о... – пальцем указывает в небо.

Сторонник исторического детерминизма, он на вопрос о роли личности в истории отвечает:

– Конечно, если эта личность лежит под забором, роль ее в истории невелика.

В.В. Пугачев как-то предложил опубликовать одну из последних работ Николая Петровича в вузовском сборнике.

– Зачем? Это интересно всего семи или восьми человекам на Земле.

Тем не менее, он готов был вести самые различные

углубленные спецкурсы: нумизматику, сфрагистику, герменевтику... Но оказалось, что это вроде бы никому не нужно. Политическими интригами он, в отличие от своего ученика Е.В. Кузнецова, не занимался. Но, благодаря ему, на кафедре держался Н.И. Циулин, совсем уж выпадающий из-под понятия «советский историк». И конечно, не без благословения Соколова с кафедры – и из университета – был вытеснен В.Г. Борухович.

* * *

В начале второго курса у нас появился новый преподаватель Николай Иванович Циулин. Невысокий, плотный, лет сорока, но выглядевший явно старше, в толстых очках с круглой оправой. Выговор с сильным волжским упором на букву «О». Формально он читал лекции и вел семинары по истории Азии и Африки, но постоянно отвлекался на рассуждения явно не по теме. Мог ошарашить нас, правоверных марксистов:

– Они, полячишки-то, много дурного написали о Екатерине. Да разве им можно верить, полячишкам-то! Великого ума была Государыня...

Александр-то Второй получил воспитание блестящее. Ведь воспитывал его не кто-нибудь, а сам Василий Андреевич Жуковский, поэт наш великий!

Экономика экономикой, но важен дух городов.

Мог Циулин привести и библейскую притчу о белой и черной мыши, беспрестанно перегрызающих корень дерева (жизни). Лекции его вызывали у некоторых наших студентов раздражение: какая-то моралистика, наивная и «неисторическая»; лектор – то ли чудака, то ли псих.

– Ну, зачем нам все эти заморские апельсины, мандарины, бананы?! Нелепость! Ведь есть же у нас свой лук, репа, капуста! Или еще нелепость: место, где пьют вино, называется – кафе «Дружба»!

Русский националист и, увы, антисемит, он с уважением отзывался о немецком военном теоретике Мольтке (Старшем), на семинарских занятиях зачитывал целые страницы из него по-немецки, с ужасным акцентом самоучки.

Зачет по средневековому Востоку у него можно было получить отвечая по билету или объяснив значение подобранных им примерно двухсот слов-понятий: дао, сегун, каста... На зачете я привел приготовленную заранее цитату из В.О. Ключевского об

Афанасии Никитине.

Циулин радостно вскинулся:

– Так вы почитываете Ключевского? Давайте вашу зачетку.

Держался он на факультете только благодаря покровительству Н.П. Соколова. Жил в комнатке студенческого общежития на ул. Ульянова. Готовил еду себе сам из набора тех простых продуктов, которые он нам рекомендовал на лекциях.

После своего освобождения я как-то столкнулся с ним на ул. Ульянова. Он шел из магазина, держа в руке завернутую в бумагу селедку. Я поздоровался и справился о здоровье Николая Петровича Соколова.

– Вы бы у него самого и справились, – недружелюбно ответил Циулин, видимо, приняв меня за стукача.

* * *

Из студентов самой нестандартной фигурой на факультете был наш одноклассник Лев Гузеев. Старше нас по возрасту, он работал экскурсоводом, был хорошо известен в музейных кругах. Знаний у него было гораздо больше, чем у любого из нас, но были они абсолютно не систематизированы и часто случайны. Коренной нижегородец, выросший в полуинтеллигентной советской среде, он знал в городе всех и всё, мог говорить, «трепаться», по его выражению, на любую тему. И «дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей». Зато всякое систематическое обучение ему было противопоказано. Скептик, иногда выставлявший себя циником, он не чужд был в те годы порывов романтических и добрых движений души.

Познакомились мы с ним при следующих обстоятельствах. Я по болезни не попал «на картошку» (за годы техникумовской учебы я побывал в колхозах достаточно) и был направлен на разборку библиотеки историка Сергея Васильевича Фрязинова. Около 7 тысяч томов исторической литературы, переданных в дар Горьковскому университету, были привезены из Москвы, свалены в подвалах истфила как попало и потихоньку растаскивались. Несколько студентов под руководством преподавателей разбирали эти завалы. Одним из студентов, к тому же из моей группы, оказался Лев Гузеев. Он сразу же высыпал на меня целый ворох истфиловских историй, сплетен, имен. Чем я был ему интересен, не знаю, наверное, полной наивностью и

неосведомленностью в университетских делах. Я был для него *tabula rasa*. Скоро мы стали приятелями. Я бывал у него – один и с компанией – в коммуналке дома на углу Б. Покровки и Пискунова, а позднее в снимаемой у таксистки тети Паши квартире в Почаинском овраге. Он приезжал ко мне на дачу в Пыру (Лукино), купался голышом в озере и принимал «душ Шарко» под струями воды на пырской дамбе.

У Левы водились интересные книги, и он охотно давал их читать. Именно Гузеев дал мне «Один день Ивана Денисовича» (удивительный язык этой повести-сказа был тогда для меня труден). У него же я брал книгу Сомерсета Моэма «Подводя итоги», на страницах которой в восторге оставил много пометок.

– Ты пока еще не Владимир Ильич – так черкать книги! – насмешливо выговорил мне Лев.

Несмотря на постоянные экскурсионные поездки, на факультете он появлялся часто. Иногда эти появления были комичны. Не забуду, как в разгар лекции В.П. Фадеева, при молитвенном молчании четырех групп первокурсников в дверях аудитории появился Лева Гузеев с бутербродом в отставленной руке и, кивая головой, невинно спросил:

– Я, кажется, немного опоздал?

Н.Ф. Прончатов его невзлюбил, несмотря на заранее заученную Львом фразу о Те-Ранги-Хироа, разбросавшем свои звезды по океану, но «хор» поставил. Зубрить немецкий Лев не мог, а экспромты и комплименты никак не могли удовлетворить строгую старую деву О.Н. Харитонову.

Один благообразный деятель нижегородской культуры, столкнувшись с Гузеевым в коридоре истфака, спросил удивленно:

– Что вы тут делаете, Лев Дмитриевич?

– Учусь, – покраснев, ответил Лева.

В отличие от большинства из нас, студенческой «голытьбы», он зарабатывал неплохие деньги и был гостеприимным хозяином. На тетипашиной квартире он готовил фирменное блюдо – борщ с хрустальной пробкой, мясную вермишель – и выставлял бутылку десертного вина.

– Только прошу вилок в камин не кидать!

– А что, кто-то кидал?

– Да вот, недавно заходил граф Ш., так потом все вилки пришлось выгребать.

Он покровительствовал нашим девчонкам: направлял их учиться на экскурсоводов и давал возможность заработать на выгодных экскурсиях.

В сентябре 1966-го он свозил меня с экскурсией во Владимир

и Суздаль. Я увидел и на всю жизнь полюбил отчаянную простую красоту храма Покрова на Нерли. А в суздальской гостинице в сумерках услышал историю о недавнем бунте в Муроме, рассказанную бесстрастным голосом очевидца.

Осень 1966-го. Юбилейный капустник в актовом зале на третьем этаже. Слегка поддатый «великий» поэт Юра Адрианов (почему-то с забинтованной головой), подхватив под руки своих знакомых, выстраивает цепь и под звуки факультетского гимна «Я люблю мой истфил» поднимает всех сидящих по периметру зала. Накатывается грозная волна, все «в порыве» встают, остаемся сидеть только мы слевой и сжатая между нами Тамара Ш.

В героев скептический Лева не верит. Исключенного из университета (и восстановленного) Михаила Капранова именует «Мишель» и «наш революционер». Уверен, что идеологические гайки будут закручиваться все сильнее. Но и о согражданах, сбегающих за границу, шутливо сокрушается:

– И чего они бегут?! Там же работать надо!

Лучшим комплиментом в чей-нибудь адрес у него было: «Он живет в своем микромире».

Всезнайство и неискоренимое любопытство заставляли многих считать его стукачом. Доказательств, правда, никто не привел.

В один из последних дней перед отправкой в стройбат после исключения из университета мои друзья собрались в тетипашиной квартире Гузеева: обсуждали, что делать, чем помочь, что-то советовали. Из преподавателей пришел В.Г. Бабаев. У меня были мрачные предчувствия, ему удалось отчасти их развеять. Лев потом очень гордился, что информация об этой встрече не дошла до «органов».

На втором году службы, в Алма-Ате я получил от него бандероль с книгой Б. Данэма «Герои и еретики», с открыткой-репродукцией Рериха и кратким письмом, в котором сообщалось, что «М. Капранов и его друзья поселились напротив университета» (т.е. в тюрьме).

Полагаю, скептицизм, который сам неспособен на какое-либо действие, но катализирует мысли и действия других, заслуживает доброго слова.

АХ, ЭТИ ДРУЖБЫ, ЭТИ СПОРЫ

За три университетских года в стране и в мире произошли события, которые, в той или иной мере, наложили отпечаток на нашу студенческую жизнь: в 1966-м «культурная революция» в Китае, суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем, явившийся отправной точкой правозащитного движения; в 1967-м – шестидневная война Израиля с арабами, поднявшая самосознание еврейской диаспоры в СССР; в 1968-м – Пражская весна, события в Польше, студенческие волнения во Франции; наконец, магнитофонная революция и стремительное развитие бардовской песни. Основным же содержанием официальной политики все эти годы было начавшееся в конце 1965-го «завинчивание гаек» в идеологии, подавление всякого свободомыслия.

Все эти потоки вплетались в атмосферу студенческой жизни, которая шла своим чередом: сдача зачетов и экзаменов, побеги со скучных лекций в кино, дружеские вечеринки и выезды на природу, посещение театральных премьер, дружбы и любовные увлечения.

К концу учебы на первом курсе, и особенно после поездки на археологическую практику в белорусский Новогрудок, у меня сложились приятельские отношения с веселым, немного форсистым Сергеем Борисоглебским, с основательным и хозяйственным, претендующим на лидерство Виталием Дудичевым, с легковесным, жовиальным сангвиником Володей Барбухом. Самоуверенный, но неглупый Володя Бородин тоже был своим в нашей компании, но он уже тогда быстро втягивался в известный русский порок – пьянство.

Обычно мы собирались у Дудичева. У Виталия были две комнаты в коммунальной квартире на Маяковке, отличная библиотека, особой гордостью которой было собрание научной фантастики с обширным каталогом. Виталий был завсегдатаем книжных магазинов. Он одним из первых начал собирать магнитозаписи Кукина, Визбора, Клячкина, Окуджавы, Высоцкого. А поскольку учился в одной школе с В. Сперанским (кстати, горячим поклонником Высоцкого), имел с ним приятельские отношения.

В. Барбук, отец которого занимал крупный военный пост в Крыму, пригласил нас в августе в Алушту. Мы почти месяц прожили в палаточном лагере на краю «Рабочего поселка». Питались, главным образом, стуженным молоком и сухим вином. Каждый вечер в нашей палатке разгорались диспуты, которые

продолжались за полночь, и семейные соседи жаловались коменданту лагеря.

Начало нового учебного года мне запомнилось визитом в город чешского президента А. Новотного: нас отпустили с занятий для организации массовой дружеской встречи, после чего мы группами разбрелись по Откоосу. Примерно в то же время посетила факультет делегация Союза писателей во главе с Сергеем Михалковым. Моложавый грассирующий денди в модном, в крупную клетку костюме отвечал с легким заиканием на вопросы. От Барбуха он получил нарочито путаную записку: «Насколько проблематично, в свете дела Синявского и Даниэля, положение в советской литературе?»

– А ничего проблематичного, – ответил мэтр, – их осудили не за л-литературу, а за антисоветские п-публикации.

Разразившаяся в Китае «культурная революция» никак не укладывалась в марксистские шаблоны, по которым нас учили. Поэтому, на основе официальных публикаций, главным образом, очень популярного тогда еженедельника «За рубежом» я написал об этих событиях реферат. В нем я указывал на истоки тоталитарного режима в Китае и на «новый класс», правящий при социализме. Прочитал я реферат перед двумя группами историков, был награжден аплодисментами и очередным доносом в КГБ.

В эти же дни отмечалось 20-летие факультета: в старом здании на ул. Свердлова, 37 (теперь – филологический факультет) и на истфиле. О торжествах у меня осталось довольно смутное впечатление. Помню веселое, едва ли не последнее, выступление НЭТа с Евгением Молевым, задорно отплясывающего под одесскую песенку «Кавалеры приглашают дамов, там, где брошка, там – перед» Мишу Капранова и почему-то угрюмого, с темным лицом секретаря университетского комитета комсомола (и аспиранта Пугачева) В.А. Китаева. О Владимире Анатольевиче Китаеве я тогда почти ничего не знал, но вообще тип комсомольского работника мне был хорошо известен. «Директивы», получаемые на факультете от университетского комитета комсомола, воспринимались моим окружением как неизбежный маразм, а общеуниверситетская газета «Горьковский университет» была унылым официозом. Отсюда возникло желание отгородить факультет от влияния комитета комсомола и выпускать свою настенную газету.

На очередных выборах С. Борисоглебского и меня избрали членами факультетского бюро комсомола, я вызвался отвечать за идеологическую работу. На квартире у Дудичева прошло шумное обсуждение, какой должна быть газета. С Дудичевым из-за нее мы

едва не разругались. Однако, когда дошло до практической работы, оказалось, что желающих делать газету совсем немного. Сергею Борисоглебскому я заказал статью о недавно прошедшем фестивале советской эстрадной песни, сам засел писать другие материалы. Печатать их на машинке я мог только одним пальцем, поэтому пришлось обращаться за помощью к филологам. Таня Батаева (мы с ней на первом курсе несколько раз приходили в университетскую газету) отпечатала тексты. Двое ребят-филологов четвертого курса сделали макет и написали заголовок «Демагогос» (по-гречески), т. е. «Вождь народа» – название, конечно, шуточное.

Честно говоря, первый номер ничем не блистал. Но сам факт появления неформальной газеты кого-то порадовал, а кого-то напугал. Словом, вызвал, маленький скандал. Газету ходили смотреть дяди из парткома, ребята из комитета комсомола, но придаться было не к чему.

– А... а почему название греческое?

– Но ведь мы же – историко-филологический факультет.

Второй номер вышел после зимних каникул и получился удачным, но еще более скандальным. Особенно вызывающим показался фельетон Владлена Бахнова (тогда только начинавшего юмориста, его фельетон мы перепечатали из какого-то журнала).

Пришел Китаев, поглядел, потемнел лицом:

– Ну, все! Вы вбили последний кол в свою могилу! Кто скрывается за псевдонимом Бахнов?

– Видите ли, – благодушно начал отвечать Борисоглебский, – он не учится на нашем факультете.

Китаев еще больше помрачнел. Объяснение авторства его не удовлетворило. Бездна махнув рукой, он ушел. На следующий день ко мне подошел жизнерадостный доцент И.В. Оржеховский (как и Китаев, ученик Пугачева). Смысл его увещаний сводился к следующему: ну что поделаешь, наверху сидят дураки, они всего боятся. Вам игрушки, а они будут копать под Пугачева. Да и кто вас здесь, на факультете, поймет: большинство – болото, которому ничего не надо. Не стоит дразнить гусей, надо заниматься наукой.

Газету сняли, но любопытствующие студенты ожидали продолжения событий. Одна доброжелательная девушка-филолог, при встрече неизменно первой протягивая руку, каждый раз спрашивала (без тени юмора):

– Как поживает ваш «Догматик»?

Очередной номер мы все-таки выпустили, с новым названием «Ойкумена» (правильность написания по-гречески сверили у В.Г. Боруховича), на четырех (!) ватманских листах. Черно-белая

графика – пересечение жирных колец и линий – смотрелись как абстрактное полотно. Заметки, напечатанные на папиросной бумаге и наклеенные поверх графики, впечатление не портили. Художников-оформителей обругали абстракционистами, но газету даже взяли на межфакультетский конкурс («Показать, как не надо делать газеты»).

К весне 1967-го мой круг общения несколько изменился. У Сергея Борисоглебского завязался серьезный роман с милой первокурсницей Наталией Ш., который занимал у него много времени. Виталий Дудичев перевелся на заочное отделение и пошел работать (кажется, по убеждению) в райком комсомола. Володя Бородин все больше предавался «зеленому змию». А я подружился с серьезным, глубоко порядочным и очень самобытным Женей Купчиновым (лицом и поведением он всю жизнь напоминает мне Донатоса Баниониса), сблизился с громогласным, резким, прямолинейным Валерой Буйдиным и с начитанными «пугачевцами» Владимиром Калягиным и Славой Хиловым. Если не ошибаюсь, примерно в это время нас, историков, перетасовали – девушек в одну группу, всех ребят – в другую. Сделано это было для удобства военной кафедры.

УЧАТСЯ У ТЕХ, КОГО ЛЮБЯТ (В.В. ПУГАЧЕВ)

На первом курсе у нас Пугачев лекций не читал. Сталкиваясь с ним в узких факультетских коридорах, я поначалу вежливо здоровался. Но вместо встречного кивка и приветствия – взгляд через очки куда-то в сторону. Через некоторое время я решил, что Пугачев меня просто не помнит: мало ли абитуриентов прошло через его руки. И при встречах кивать перестал.

Как-то в перерыве между лекциями подходит ко мне В. Сперанский (тогда его положение на факультете я представлял смутно) и с обычной язвительной насмешкой спрашивает:

– Что же ты, Помазов, со своим корешом не здороваешься?

Я удивился:

– С кем же?

– С Пугачевым!

Я несколько оторопел. Ничего себе, «кореш»!

– Я здоровался, но он, похоже, этого не замечает, глядит все время в сторону.

– Надо так здороваться, чтобы замечал!

Первая лекция Пугачева на втором курсе привела обе наши группы историков в восторг. Талантливая импровизация (отнюдь не краснбайство), четкость формулировок, большая плотность мысли на единицу речи, разгром официозных авторитетов освободительного движения (в первую очередь, концепций академика М.В. Нечкиной), нестандартность подхода к теме, широта исторического фона...

В перерыве мы жарко и восторженно обсуждали услышанное. Однако кое-кто из «средняков» приуныл: было понятно, что конспектировать такие лекции почти невозможно, да и самый хороший конспект не поможет, когда от тебя потребуют собственной мысли, сотворчества. Это не «дядя Саша» Парусов, которому ухитрились сдавать экзамены по школьным учебникам.

После первой же лекции почти все наши «серьезные люди», т. е. студенты, собиравшиеся делать научную карьеру, повалили в спецсеминар Пугачева («От Радищева к декабристам»). Я, из чувства противоречия, записался на неперспективную в то время кафедру всеобщей истории. Но лекций Пугачева, конечно, не пропускал.

Об опозданиях Владимира Владимировича (все близкие люди за глаза и в глаза именовали его «ВэВэ») ходили легенды, впрочем, преувеличенные. Приезжал-то он к факультету почти

вовремя. Но перед факультетом к нему, как к репейнику, прицеплялись аспиранты, сотрудники кафедры, студенты. С этим шлейфом он поднимался по лестнице, с кем-то договаривал, стоя у двери аудитории. Первым в дверях появлялся его портфель, затем он сам, вполоборота, с последней репликой к невидимому нам собеседнику, входил, становился у кафедры и без всякого перехода начинал лекцию. Зато случалось, что после двухчасовой последней пары он обращался к аудитории:

– Будете еще два часа слушать?

На одном выдохе в ответ звучало:

– Будем!

До приезда в 1960 году Пугачева из Саратова в Горький на факультете доминировало изучение всеобщей истории. Традиция была заложена еще С.И. Архангельским. Специалистов по российской истории практически не было. В.В. Пугачев своим авторитетом, упорством, работоспособностью и дипломатическими ходами сделал свою кафедру на факультете главной. Его ученикам сулили прямой путь в аспирантуру. Кое-кто (за глаза) упрекал его в политиканстве: К.П. Маслова («Кирилла Петровича Троекурова», посмеивались мы: в самом деле, и по внешнему виду, и по характеру – похож на пушкинский персонаж!) он толкал в секретари парткома университета, А.С. Белявского тоже провел в члены парткома. Но Пугачев, по-видимому, считал: чтобы делать хорошую историю на факультете, нужно ставить на ключевые посты своих людей, иначе не дадут работать.

– Вы поймите, – втолковывал мне И.В. Оржиховский, – до Пугачева на кафедре было болото. Стыдно сказать, лекции читали с учебника. Сейчас у нас читают Ю.Г. Оксман, П.П. Зайончковский. Весь факультет становится другим.

Беседа эта состоялась в середине третьего семестра. Игорь Вацлавович передал настоятельное предложение Пугачева перейти на его кафедру и писать курсовую по российской истории.

Тему курсовой я выбрал довольно случайно (большинство тем было уже разобрано) – «Общественно-политические взгляды А.И. Герцена в 1847–51 гг.». Снедаемый своей общественной деятельностью и чтением марксистских трудов, за курсовую я взялся только в апреле. Тем не менее, я уже попал в «пугачевцы» и узнал ВэВэ ближе. Приведу несколько характерных высказываний Пугачева.

– Владимир Владимирович, сколько страниц должна содержать курсовая? Александр Иванович (Парусов) требует, например, не менее 100.

– Зачем?! 10–15 страниц достаточно, если написано дельно. А если это чушь, глупость, тем более 100 страниц читать не буду.

О некоторых историках:

– Они читают сначала газету «Правда», а потом интерпретируют «Русскую правду», а историк сначала должен знать «Русскую правду», а уже потом читать и интерпретировать газету «Правда».

Ждем лекцию Пугачева. Заходит ВэВэ:

– Что вы здесь сидите? У филологов читает лекцию Оксман. Бегите слушать Юлиана Григорьевича!

Пугачев в частной беседе:

– Ваш Н.Н. – болтун и стукач!

– Ну что вы, Владимир Владимирович! Он интеллигент, любит и понимает искусство.

– Одно другому не мешает. Помните, в повести И. Грековой «На испытаниях» майора, любителя искусств, который пишет доносы? Кстати, вы «Новый Мир» читаете?

– Читаю.

– Какой последний номер читали?

– Кажется, 11-й.

– Не может быть. Он еще не вышел из печати. «Новый мир» запаздывает на 2 – 3 месяца.

Почерк у ВэВэ ужасный (как курица лапой), характер непростой. Например, Е. Бизунов, по общему мнению, недалекий, но добрый малый, им привлечен. А кто-то из кожи вон лезет – и не может ему угодить. Кому-то он может резко выговорить, а от каких-то дам, одолевающих его своими приставаниями, никак не может отделаться. (Не будучи красавцем, он умом и талантом умел привлекать женские сердца. Романы – часто платонические – были постоянно.)

Май. Жара. Пропускаю занятия, сижу дома в одних плавках и «добиваю» запущенную курсовую. Неожиданный визит – Татьяна Ковтунова, староста нашей группы:

– Меня прислал Владимир Владимирович. Он волнуется, не случилось ли что с тобой!

Курсовая сдана в самый последний момент. Оппонентом назначен аспирант Пугачева Китаев – мой негласный оппонент в общественной деятельности.

Думаю, что ни Пугачев, ни Китаев дальнейшего вступления (историографии) мою курсовую не прочитали. Но уже только невинное упоминание Ленина и Плеханова на равных, «оба выдающихся марксиста», вызвало горячую полемику, которая вновь породила множество слухов. Оценка «отлично».

В разгар экзаменационной сессии, в июне 1967 года в

«Комсомольской правде» была напечатана восторженная статья о Пугачеве «Профессор истории». Автор Элла Максимова высоко оценивала деятельность Пугачева как ученого и как педагога. Курьезно, но два упомянутые в статье ученика Пугачева были В.А. Китаев и ваш покорный слуга. (Оказывается, после вступительного экзамена ВэВэ сказал обо мне: «Этот будет думать».) Менее чем через год Китаев «оформлял» мое исключение из комсомола, а месяц спустя сам был «разжалован в рядовые».

Статья очень вдохновила всех «пугачевцев» и укрепила авторитет Владимира Владимировича. Это, наверное, были вершинные дни Пугачева в Горьковском университете.

В августе, после педагогической практики в пионерских лагерях, мы, трое «пугачевцев» – Слава Хилов, Володя Калягин и я, – напросились работать в приемную комиссию истфила. Цель была (у меня, во всяком случае) – отобрать из числа абитуриентов самых толковых, самостоятельно думающих ребят для дальнейшей работы с ними на факультете. Увы, ничего из этой затеи не получилось – почти всех, кого мы помогли отобрать, срезали на сочинении: там экзаменаторы руководствовались другими критериями.

Зато в эти дни у меня произошло сближение с Пугачевым, позволившее в дальнейшем лучше понимать этого незаурядного человека.

Такая сцена: ко мне подходит озабоченный Женя Бизунов:

- Надо пригласить ВэВэ в столовую!
- А что, он сам дороги не найдет?
- Сам он может просто забыть пообедать.

В столовой (нашей, университетской) стоим с подносами на раздаче. Пугачев оборачивается:

- Виталий Васильевич, вы берете горячее?
- Да, конечно.

Сидим за столом:

- Виталий Васильевич, где ваше горячее?
- Я его уже съел, Владимир Владимирович!

За столом идет обсуждение планов Пушкинской экспедиции – поездка нескольких преподавателей, аспирантов и студентов в Одессу и Кишинев, по пушкинским местам. Знаю, что многие студенты долго и безуспешно добивались включения в заветный список. У меня свои планы на август, и весь разговор слушаю вполуха.

– Теперь вот что: заболела Галина Писаревская, – Пугачев ручкой марает что-то в списке, – вакантно одно место. Виталий Васильевич, вы хотите поехать в Одессу?

– Честно? Если работать, то нет!

– Н-ну, Виталий Васильевич! Об этом можно думать, но не следует говорить. Итак, я записываю вас вместо Писаревской.

Поездка в Одессу и Кишинев (из студентов в экспедицию попали Калягин и Хиллов) – это отдельная история. Могу только сказать, что работой в архивах Пугачев никого не замучил. (Уже после моего исключения из университета он свозил две наши группы историков в Питер. Формально для работы в архивах, а на самом деле для того, чтобы познакомить историков с этим великим городом, помочь проникнуться его духом, приобщиться к его культуре. Многие из тогдашних студентов по сей день ему благодарны.)

Своими учителями В.В. Пугачев считал Г.А. Гуковского, Ю.Г. Оксмана, М.П. Алексеева, В.В. Мавродина... Кандидатскую «Подготовка России в Отечественной войне 1812 года» Владимир Владимирович защитил в 25 лет в ЛГУ. Защита докторской диссертации состоялась лишь 16 лет спустя, в 1964 году в том же Ленинградском университете. Тема «Из истории преддекабристской общественно-политической мысли». Но главной исследовательской проблемой для Пугачева на все последующие годы становятся Пушкин и декабристы. Пушкин оставался единственным кумиром Пугачева до конца его жизни.

Осенью 1967-го впервые посещаю небольшую двухкомнатную квартиру Пугачева на ул. Сурикова. Он знакомит меня с мамой и приводит в кабинет со шкафами, полными справочной литературы. Других книг почти нет. На мое удивление Пугачев отвечает: «Всего держать дома невозможно. Главное – знать, где найти нужную литературу и документы». Говорим о моей курсовой: «Я думаю, вам следует продолжить работу о Герцене. Хотите взять тему «Письма к старому товарищу»? (А. Герцен – М. Бакунину.) Я соглашаюсь, хотя на уме у меня другое: я делаю первые наброски к социологическому исследованию «Государство и социализм». Словно угадывая мои мысли, Пугачев вдруг спрашивает: «Вы «Боги жаждут» А. Франса читали? Перечитайте!»

В коридорчике, провожая, ВэВэ подает мне пальто. Я смущаюсь и с непривычки не могу попасть в рукава.

– Я что-то не так делаю? – удивленно поднимает брови Пугачев.

Начало мая 1968-го. Нас уже таскают в КГБ. Понятно, что добром это не кончится. Пугачев лекций на третьем курсе не читает, мы с ним почти не видимся. И все же как-то втроем подходим к нему в аудитории:

– Что посоветуете нам делать, Владимир Владимирович?

Что он мог сказать, тем более прилюдно!

– Продолжайте заниматься, все равно надо работать.

* * *

Минуло почти шесть лет. В феврале 1974-го я лечу по платформе метро «Проспект Маркса». Мне нужно срочно доставить с другого конца Москвы лекарства для семьи А.И. Солженицына. (Сам писатель уже выслан, но жена и дети еще в Москве, в квартире в центре города.) На бегу краем глаза замечаю со спины что-то очень знакомое, резко поворачиваюсь:

– Владимир Владимирович – вы?

– А, Виталий Васильевич! – Привычным жестом берет меня за пуговицу пальто. – Что же вы пропали: не пишете, не навестите?

– Честно говоря, просто боялся вам навредить.

– Ну что вы. В академики я не собираюсь, а из профессоров не выгонят. Как ваши дела? Какие планы?

Отвечаю. С пониманием кивает:

– Это ведь (Советская власть. – В.П.) надолго. И эмиграция вряд ли будет вам полезна. Знаете что? Пишите-ка о Пестеле! Самое время. У вас сейчас есть собственный опыт для такой темы. И приезжайте ко мне в Саратов.

В это же лето я побывал в Саратове, посмотрел на холостяцкий быт ВэВэ, побывал с ним в университете, с кем-то познакомился. Получил – с дарственными надписями – несколько номеров межвузовского сборника «Освободительное движение в России» под редакцией Пугачева. Тираж его (1000–1500 экз.) для советского времени был невелик, и я, шутя, называл его (и поздние – еще менее тиражные издания) пугачевским «самиздатом».

После было еще несколько встреч и регулярно присылаемые книги, сборники. Из Саратовского университета в 1979 году Пугачева выжили, и последующие годы он работал в Саратовском экономическом институте, где его уважали и любили.

Последняя наша личная встреча состоялась в Москве на научной конференции «Индивидуальный террор в России» (XIX–середина XX вв.) 24 марта 1995 года. Он неважно себя чувствовал, плохо видел, но портфель его, как всегда, был туго набит рукописями и книгами – для подарков. Мне он подарил им отредактированные «Очерки по истории культуры» с надписью «Дорогому Виталию Васильевичу Помазову – с любовью». В гостинице он дал мне машинопись очерка об Ю.Г. Оксмане

«Опальный пушкинист в Горьком» (позднее очерк вышел в журнале «Волга»). В нем я нашел большой фрагмент о «деле» М. Капранова и событиях 1967–68 гг. Фразу обо мне – «Он мечтал быть арестованным, чтобы выступить с речью на политическом процессе» – я попросил ВэВэ исправить: «Мечтал, это уж, наверное, слишком!» На мои пожелания здоровья Владимир Владимирович вздохнул: «Нет, Виталий Васильевич. Доживу до 75 – и все». Так оно и получилось, он умер в Саратове 23 октября 1998 года. До этого мы обменивались с ним новогодними поздравлениями, книгами и звонками в дни рождения. Последняя присланная им книга «Историки, избравшие путь Галилея» (в соавторстве с В.А. Динесом) была подписана: «Дорогому Виталию Васильевичу Помазову – с любовью – человеку, поэту, другу, гражданину. 22-VI-1996».

ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ

В теплый сентябрьский денек 1966-го в скверике перед факультетом ко мне подошел щеголевато одетый (как мне показалось) юноша и представился:

– Я – Михаил Капранов. Вы, наверное, обо мне слышали? А вы – Помазов. Кстати, мы давно за вами наблюдаем!

Последняя фраза меня сильно покорила. Тем не менее, знакомство завязалось. (До этого я знал – достаточно смутно, – что Капранов осенью 1963 г. был исключен с третьего курса истфила за подготовку антихрущевских листовок, а после снятия Хрущева в 1964 году получил разрешение восстановиться в университете, сначала на заочном, а потом на очном отделении, и теперь учился то ли на четвертом, то ли на пятом курсе.) Капранову было чем меня «соблазнить». В своей комнате – он с женой Галей в те годы скитался по частным квартирам – Михаил дал мне стенограмму процесса над участниками «троцкистско-зиновьевского блока», изданную в свое время официально, но позднее изъятую в спецхран или уничтоженную. И пообещал достать знаменитое «Письмо Раскольникова Сталину». Однако особой близости между нами в то время не получилось: я считал себя марксистом, а его – сторонником народнической идеологии; знакомые и друзья у нас были разные.

Подступать же к своим приятелям с предложением начать какую-то совместную деятельность – уже понятно было, что нелегальную, – по исправлению «деформаций» нашего общественного строя не хватало духу: не отнеслись бы они к такому предложению с иронией. Как-никак мы были историки и представляли, чем такая деятельность в России заканчивалась!

Но вот на занятиях на военной кафедре мы разговорились с Валерой Буйдиным (он пришел в нашу группу в конце первого курса, кажется, после года учебы на физфаке). На мое робкое зондирование: «Надо бы начать сообщать что-то делать...», – он бодро ответил: «Конечно!» Я ликовал. Несколько позже и серьезный, вдумчивый, весь такой основательный Женя Купчинов, и слишком явно собиравшиеся делать научную карьеру Володя Калягин и Слава Хиллов высказали свое принципиальное согласие с моими мыслями. (Я помню, как всячески обхаживал двух последних: даже выделил из своих скромных, сэкономленных в столовой средств, деньги, чтобы угощать их за беседой в какой-нибудь кафеюшке или «Скобе» пивом, к которому сам был равнодушен.)

Мы стали вырабатывать практические предложения. Во-

первых, было решено отгородить факультет от пагубного влияния университетского комитета комсомола. Для этого, как я уже упоминал, мы с Сергеем Борисоглебским стали членами факультетского бюро комсомола, а Женю Купчинова делегировали (от факультетского собрания, конечно) в состав университетского комитета комсомола, где его здравые, трезвые суждения скоро снискали ему общее уважение.

Во-вторых, решено было добывать и распространять «нужную» литературу, например «Один день Ивана Денисовича». «Самиздата», кроме перепечаток Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, на факультете до осени 1967-го не было.

В-третьих, в рамках легальных дискуссий везде, где только можно, выступать против отката к сталинизму. (Мои столкновения на семинарах с М.В. Ушаковой продолжались. Поэтому к сдаче в январе экзамена по истории партии я готовился. И не напрасно. Получил «отлично», но позднее один из преподавателей передал мне слова М.В. Ушаковой: «Я очень хотела его срезать, но, к сожалению, он был блестяще подготовлен».)

В марте 1967-го М. Капранова во второй раз исключают из университета. До этого его неоднократно задерживали сотрудники КГБ, вызывали на Воробьевку для дачи показаний. Повод – перлюстрированные письма к ленинградской знакомой и доносы Ю. Шашкова и В. Кийко, студентов МГУ, где Капранов в январе 1967-го проходил практику.

Идет собрание на третьем курсе. Студенты настроены против исключения Капранова, официальные объяснения их не удовлетворяют. Страсти накалены. Резко выступает Бизунов. Я, второкурсник, прорвался на это собрание и хочу выступить. Но меня буквально держат за руки аспирантка Н. Байдакова и кто-то из третьекурсниц и, по совету А.Д. Белявского – зам. секретаря парткома университета и ученика Пугачева – уводят с собрания. Капранов выступил с речью, за которую его, по мнению сотрудников КГБ, надо было арестовать.

Вскоре после капрановской истории нас с Борисоглебским пригласил к себе в комитет комсомола Китаев. Он представил нам бывшего выпускника истфила, который директорствовал в колонии усиленного режима на ст. Костариха (в черте города). Нам было предложено посетить колонию и прочитать в тамошнем клубе лекцию о международном положении. Директору Китаев отреккомендовал нас как активных и толковых студентов.

– А вам, – он кивнул в нашу сторону, – будет полезно там побывать.

Так я впервые увидел зону, мало чем отличающуюся от

описанной в «Иване Денисовиче», и ощутил себя лисой, попавшей в меховой магазин.

Осенью 1967-го у Капранова появился канал (о нем позднее), и на факультет, через меня и Женю Купчинова, потек «самиздат» (самого термина тогда еще, кажется, в ходу не было): стенограмма обсуждения книги А. Некрича «22 июня 1941 года», «Письмо Раскольникова Сталину», стенограмма судебного процесса над поэтом Иосифом Бродским, «Обращение к мировой общественности» Павла Литвинова и Ларисы Богораз, неопубликованные стихи и поэмы Наума Коржавина, «Реквием» Ахматовой, письмо Солженицына Союзу писателей, «История КПСС» В. Шандорфа, изданная для служебного пользования. Самиздат читали в обеих группах историков практически открыто, в том числе и на лекциях. Установка (наверное, неправильная) была такая: самиздат не афишировать, но и не скрывать – это не крамола, а документ истории. В. Барбук вызвался через свою знакомую Валентину Юркину, хорошую машинистку (и, как показали будущие события, хорошего, порядочного человека) размножить самые интересные тексты.

Слово «организация», которое подспудно было у многих на уме, должно было перейти в дело. В октябре-ноябре на встречу в квартире у Буйдина собрались Е. Купчинов, В. Буйдин, В. Калягин, В. Хиров, Е. Молев, С. Борисоглебский и я. В. Барбуха, учитывая его ветреность и несерьезность, не пригласили. Борисоглебский пришел последним, был очень взволнован и с порога заявил: «Можете думать обо мне, что хотите, но в нелегальной организации участвовать отказываюсь». Поскольку никто не предложил ему после этих слов откланяться, он остался до конца собрания. Честь не позволяла ему уйти, а нам – удалить ненужного свидетеля.

Единодушно было решено: никаких письменных программ и уставов не принимать. Председателем, по моему предложению, избрали Женю Купчинова. Распределили разные поручения, большая часть которых досталась тому же Купчинову. Я к тому времени уже собрал материал, достаточный для работы, которая окончательно получила довольно высокопарное название «Государство и социализм». Поэтому я вызвался в кратчайшие сроки написать ее в качестве теоретической основы деятельности общества. Были и курьезные мелочи. Говорили об увеличении членов организации.

– А женщин будем принимать? – задал каверзный вопрос Калягин.

– Конечно, – ответил я.

– Я так и знал, – усмехнулся Калягин.

К слову сказать, все участники этого собрания потом не раз допрашивались в КГБ и вели себя по-разному, но никто (для России факт удивительный) о собрании не проговорился. Иначе все судьбы и карьеры его участников сложились бы совсем по-другому. Потому что по ст. ст. 70 и 72 УК РСФСР наша наивная встреча квалифицировалась как создание антисоветской организации. А наказание – до 7 лет ИТЛ и 5 лет ссылки.

Солнечный день декабря 1967-го. В Ленинской библиотеке Михаил Капранов передает мне толстую папку – машинописный экземпляр первой части «Ракового корпуса». С условием – сегодня до закрытия библиотеки, т.е. до 8 вечера, вернуть ему повесть. Бегу с сокровищем на факультет. Где на истфиле несколькими студентам можно найти укромное место, чтобы, не привлекая внимания посторонних, читать «крамольную» книгу? Ну, конечно же, в комнате факультетского бюро ВЛКСМ! Запираемся там вчетвером (пятым хотел быть Лев Гузеев, но, колебавшись, запасливо уклонился): Женя Купчинов, Валера Буйдин, Володя Фадеев (сын профессора В.П. Фадеева) и читаем, передавая листы друг другу. Первым читает тот, кто пробегает текст быстрее других. Через час уходит Фадеев, еще через час Буйдин, мы с Купчиновым читаем до конца все 250 страниц, и к обещанному сроку я на ступеньках Ленинки возвращаю папку.

Работа над «Государством и социализмом» отнимает много времени. Как я умудряюсь вновь сдать трудную зимнюю сессию – пять экзаменов на «отлично», – не знаю. Наверное, на крыльях творческого вдохновения.

Морозное январское утро. Один из первых дней каникул. В узкой, длинной, похожей на вагон комнате Купчинова на ул. Белинского несколько человек собрались для обсуждения текста листовки, написанной Капрановым. С эпиграфом из Руссо «Тирания, имеющая видимость народной власти, – худшая из тираний» и призывом к рабочим последовать примеру чехов и поляков. Купчинов, Буйдин и я выступаем в роли оппонентов: на работяг вряд ли эти призывы подействуют, и вообще наша группа против распространения листовок, как малоэффективного средства. Впрочем, капрановская группа вольна действовать самостоятельно. (Позднее выяснилось, что вся его группа – это выпускник нашего факультета, литсотрудник многотиражки завода «Двигатель революции» (!) Сергей Пономарев, его жена Елена, четверокурсник-филолог Володя Жильцов (тогда воспринимаемый всеми как богема и повеса) и вечерник истфила Толя Цыганов.) А почти весь самиздат, притекавший на истфил, привозил из Москвы Владлен Константинович Павленков – из первого выпуска истфила, незаурядный человек с глубокими

познаниями в истории и литературе. В это время он работал директором вечерней школы и тайно писал 600-страничное социально-экономическое исследование о положении в СССР. Его жена, Светлана Борисовна, молодая, обаятельная, веселая, преподавала немецкий язык на нашем факультете. На занятиях она не боялась обсуждать со студентами «горячие» темы. Из ее комнаты часто раздавался веселый смех студентов, и мы им завидовали.

Между тем число наших сторонников увеличилось. Осенью 1967-го на заседаниях университетского дискуссионного клуба мы познакомились со студентами физфака. Гольдфарбом, Тартаковским, Фишманом. Игорь Гольдфарб редактировал газету физиков. Фишман был председателем дискуссионного клуба и членом университетского комитета комсомола. В клубе обсуждались такие темы, как «Нужен ли комсомол?», «Религия сегодня», фильм «Твой современник». В обсуждениях участвовали и университетские преподаватели (кто из интереса, кто по обязанности): философы Г.Д. Чесноков, А.Я. Левин и другие.

Весной 1968-го, по мере развития событий в Чехословакии, выступления в клубе становились все более острыми и бурными. Как заметил один из наблюдателей, «я был на трех заседаниях, темы разные, а кончается все вопросом о демократии!»

Весь февраль и март я упорно писал «Государство и социализм». Разумеется, я понимал, что эта работа, выпущенная в «самиздате» под моей фамилией, не только грозит исключением из университета и возможным арестом, но и поставит крест на будущей научной деятельности. Правда, была шаткая возможность укрыться за псевдоним. Впрочем, обо всем этом почти не думалось. Казалось очень важным донести новую истину до сведения как можно большего числа думающих людей. Обильное цитирование классиков должно было, по замыслу, подкрепить авторитет неизвестного читателям автора.

В самом конце марта я передал рукопись для перепечатки В. Калягину, а позднее один из вычитанных экземпляров – с той же целью – Евгению Молеву. Володя Барбух через знакомых девушек-машинисток бурно тиражировал новый самиздат: «Речь защитника Золотухина на процессе Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского», «Последнее слово Владимира Буковского», переводы материалов о польском и чешских событиях из «Юманите» и «Морнинг стар». С гордостью он доставал из тугого портфеля размноженный на папиросной бумаге «самиздат».

Обсуждалась возможность приглашения в Горький для выступления А.И. Солженицына. В начале апреля составлено

групповое «Открытое письмо редактору «Литературной газеты» Чаковскому»...

Мы не догадывались, что времени уже ни на что не оставалось.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

4 апреля 1968 года, накануне празднования 50-летия университета, приятель Михаила Капранова В. Бегинин передал ему 69 экземпляров изготовленных им фотолистовок. Вечером этого же дня Капранов с Анатолием Цыгановым и Сергей Пономарев с женой Еленой распространили листовки во всех вузах города, в первую очередь, в университете (кстати, бдительные советские граждане сдали в КГБ все 69 экземпляров). В горьковском УКГБ на ул. Воробьева начался переполох (могли полететь чьи-то звезды и головы). Уже 5 апреля в УКГБ было возбуждено уголовное дело. Приехали высокие гэбисты из Москвы. События завертились быстро.

17 апреля в КГБ была вызвана знакомая Барбуха И.Е. Она подробно рассказала, когда и какой самиздат получала от Барбуха. 24-го с лекции Прончатова был вызван в деканат и отвезен на допрос в КГБ Барбух, а после его показаний 26–30 апреля там побывали Борисоглебский, Буйдин, Купчинов. 29 апреля с факультета (чекисты за мной дважды приезжали домой, но не заставляли; родителям они представлялись как мои друзья) меня препроводили на допрос к следователю. Им оказался С.А. Савельев, тоже выпускник истфила. Допрос, сопровождавшийся угрозами и шантажом, продолжался 6 часов. Параллельно в эти дни проводились обыски у Павленкова и его шурина М. Панкратова, студента мединститута.

1 и 2 мая я спешно правил отпечатанные Калягиным экземпляры «Государство и социализм» и 2 мая на площади Свободы (!) передал два экземпляра Игорю Гольдфарбу для дальнейшей отправки в Москву.

Цепочки студенческих показаний на истфиле уперлись в Женю Купчинова и в меня. Мы оба отказались сообщить, от кого получали и кому давали «самиздат», не признали эту литературу клеветнической, утверждая, что большая часть ее может быть официально напечатана. Из показаний В. Барбуха стало известно о работе «Государство и социализм», ему показывал ее в Ленинской библиотеке Калягин.

15 мая в квартире моих родителей был произведен обыск. Кроме 14 плохо пропечатанных страниц «Государства...», которые я назвал частью доклада по научному коммунизму, разрозненных записей, записных книжек и 2 томов Ленина с моими пометками другой «крамолы» не обнаружено. Понятно, как глубоко были потрясены мои родители: отец, секретарь партийной организации завода «Металлист», и мать, работница этого же предприятия. О

моих «диссидентских» делах они ничего не знали, в превращении же комсомольского активиста и отличника в «антисоветчика» и «врага народа» их никто бы не убедил.

Обыск закончился в 22.20, меня увезли на Воробьевку, где после невнятной, неофициальной очной ставки с Калягиным («Я Калягину ничего не давал») и резкой пикировки с зам. начальника УКГБ Даниловым, был отпущен домой. Все уже было ясно, но еще целую неделю меня ежедневно вызывали на Воробьевку, где держали и практически не допрашивали – просто для изоляции от «подельников» и однокурсников. Кроме Купчинова (его поведение вызвало особое неудовольствие у руководства КГБ за уничижительный отзыв об одном из них и за дошедшую до ушей ГБ фразу: «Пусть попробуют исключить – мы им устроим демонстрацию») и Калягина в эти же дни допрашивали В. Фадеева, В. Дудичева и студентов-физфаковцев. Отпущенный вечером, я покупал букет южной сирени и шел не на «явку», а на свидание с девушкой.

21 мая университетский комитет комсомола под председательством Китаева собственным решением исключил из комсомола В. Буйдина, С. Борисоглебского, В. Барбуха, меня, а также Фишмана и Е. Купчинова (своих членов). Всех единогласно, кроме Евгения, – два или три комитетчика при голосовании «мужественно» воздержались. Для нас с Купчиновым это означало и исключение из университета. Раскаяние Барбуха не помогло, его тоже исключили. Приказ (№ 300) об исключении был подписан 23 мая (мы с Женей сидели в этот день на Воробьевке). Он гласил: «Отчислен из университета за недостойное поведение, несовместимое со званием советского студента».

А 25 мая в «Горьковской правде» в передовице «Советский студент» появился такой фрагмент:

В массе своей прекрасна наша молодежь, ежедневно занимающая сотни вузовских аудиторий.

Благородны ее устремления – верой-правдой служить советскому Отечеству, своему народу.

Но в семье не без урода. И в многотысячной семье горьковских студентов нашлись звонари от политики, которые своей шумливостью по поводу некоторых наших неустройств и неурядиц в жизни хотят обратить на себя внимание. На днях на историко-филологическом факультете университета студенты третьего курса Е. Купчинов и В. Помазов и еще несколько их дружков затеяли демагогическую дискуссию по вопросам, которые давно решены самим развитием нашего социалистического

общества.

Узнав о развязности этих студентов, которые еще сами ничего не дали обществу, слесарь автозавода тов. Терентьев заявил на областном собрании комсомольского актива: «Нам, молодым рабочим, непонятно, как это в стенах университета могут находиться такие люди, которым не по нутру наша жизнь. От имени молодежи завода я могу сказать, что таким Помазовым и Купчиновым не место в наших вузах. Мы не хотим, чтобы они получили после университета путевку к руководству. Им надо сказать прямо: не согласны с нами – скатертью дорога».

Конечно, такие явления, как на истфиле университета, единичны. Но проходить мимо них – значит наносить в будущем урон нашему обществу.

Дело не только в том, чтобы развенчать политических бузотеров. Это легче всего, ибо за душой у них, кроме громких фраз, ничего нет. Главное в том, чтобы усиливать политическое воспитание студенчества, закалять их гражданское мужество, повышать идейность. Воспитывать их так, чтобы они могли давать достойный ответ как открытым идеологическим противникам, так и любителям инфантильности в своих рядах, а на деле торгующим тем же подмоченным идеологическим товаром, который продают враги социализма на черной бирже человеческого познания. В идеологической борьбе нет шутейных разговоров, нет и компромиссов.

* * *

Истфил бурлил. Декан В.Н. Морохин, бледный, как полотно, и парторг Е.Д. Воробьева уговаривали студентов не устраивать сходки (они уже начались) и отложить до осени проведение общефакультетского собрания, созвать которое потребовали курсовые бюро второго, третьего и четвертого курсов. Свыше ста человек подписали письмо-протест в «Горьковскую правду». Студентка отделения матлингвистики Клара Гильдман – в знак протеста против нашего исключения – сдала свой комсомольский билет (в сентябре ее исключили из университета). Ну а,

например, философ В.И. Мишин вытрясал душу из наших однокурсниц, грозя «огнем и мечом» искоренить на факультете крамолу.

Исключенным мгновенно вручали призывные повестки. Сотрудники военкомата приехали за Купчиновым прямо в УКГБ, за мной – на факультет. Кто-то из студентов прибежал на кафедру и сказал, что на первом этаже меня ждут военкоматчики. При всеобщем сочувствии и ликовании я выбрался через окно второго этажа и тем самым на три дня отсрочил свою отправку в стройбат.

Но уже 29 мая я лежал на нарах сборного пункта в Дзержинске.

21 год спустя, сдав 17 дисциплин (курсовую, контрольные, зачеты, экзамены), в августе 89-го я восстановился на 5-м курсе заочного отделения исторического факультета Нижегородского университета. И если нельзя два раза вступить в одну и ту же реку, то на тот же берег, оказалось, возвратиться можно. Я почти никого не застал из старых преподавателей (С.М. Садовская, А.И. Коган, Т.М. Червонная). Но «ветер века» переменялся и крепко дул в «нашу» сторону. Поэтому отношение ко мне в университете было удивленно-доброжелательное. Более всех я благодарен профессору Заре Михайловне Саралиевой. Она не только написала положительную – и лестную – рецензию на «Государство и социализм», после чего и последовал протест на приговор по моему делу горьковского прокурора В.А. Колчина. Зара Михайловна вместе с преподавателем Ларисой Александровной Королихиной (студентом-второкурсником я вел исторический кружок в ее 9-м классе) очень помогли мне при восстановлении пройти чисто бюрократические препоны.

В 1991 году я окончил истфак и получил красный диплом. Но два года обучения на заочном отделении – совсем отдельная история.

НА МЕНЯ НАПРАВЛЕН СУМРАК НОЧИ

Предисловие

Предлагаемые читателю главы – продолжение напечатанных ранее в университетском (ННГУ) сборнике воспоминаний выпускника истфака «Духовной жаждою томим», которые потом вошли в книгу «В одной палате с ангелом». Поэтому я не расшифровываю обстоятельств, эпизодов и людей, подробно описанных там.

Современники, а тем более, участники событий не нуждаются в подробных объяснениях, кто есть кто из действующих лиц. Безусловно, некоторые институты, понятия, идиомы и жаргон 1960–70 годов вышли сегодня из употребления, но не настолько, чтобы образованный молодой читатель не понял, о чем идет речь.

I. СТРОЙБАТ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

*Солдат озябший просит
прикурить
Всплыли два года
Убитых стройбатом*

«А ВАМ, МОЛОДЫЕ, СЛУЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО...»

23 мая 1968 года был отчислен из университета, а уже 28 мая вместе с другими призывниками ожидаю отправки в армию во дворе Сормовского райвоенкомата. Большая часть призывников пострижена наголо, все в телогрейках или в старой, поношенной одежде. Подвыпившие родственники, гармошка, слезы прощания – все как водится на Руси. Последние напутствия. Мать и женская часть провожающих меня плачут. Подъезжают грузовики крытые брезентом. Залезаем в кузов и едем на сборный пункт в Дзержинск. Там мы, несколько сотен человек, почти сутки болтаемся на нарах, гадая, куда нас отправят.

По моему пальто песочного цвета, в котором я ходил еще в техникуме, меня признает один из выпускников ЗАМТа и добрым словом вспоминает по работе в комсомольской организации.

Утром спешно садимся в поезд и во второй половине дня 29 мая выгружаемся в Москве на площади старого Курского вокзала. Там идут строительные работы, большая часть площади огорожена забором, и мы топчемся у него серым стадом. Из разных воинских частей начинают приезжать «хозяева» – офицеры и старшины – и набирать себе «рабов» (так и называют, сокращенно от рабочих). Я неожиданно попадаю в часть, которая стоит в Москве, в Раменках – напротив Московского университета. Это же нарочно не придумаешь! Но пробыл я в ней всего неделю. Не успел налюбоваться бравой дембельской выправкой красавца сержанта Улыбышева, как чей-то недогляд был быстро исправлен, и меня 8 июня переводят в Болшево. 13-го присяга. «Деды» пугают молодежь другой «присягой» – ложкой по заднице. Такого позора я не переживу, поэтому очень напряжен. Но все обходится. Надо сказать, что я не испытал многих стройбатовских унижений, поскольку по возрасту был старше «дедов» (впрочем, других это не спасало), и образование иногда выручало.

В Болшевском гарнизоне четыре строительных батальона. В каждом по четыре роты. Состав многонациональный. У нас, в первой роте, большинство – русские и украинцы, но много

узбеков, киргизов, есть грузины и молдаване. Впрочем, национальное деление здесь не главное. Главное – на «дедов» (старослужащих) и «салаг» (новобранцев), «черпаков» (второй год службы).

Вообще стройбат структурирован по принципу феодальных сословий. Все они здесь враждуют друг с другом: «старики» – с молодежью, сержанты – с рядовыми, славяне – с кавказцами и среднеазиатами.

«Деды» в тот год были тем более злы, что в 1968-м происходил переход от трехлетней службы к двухлетней, и половину их демобилизовали в мае, а другую оставили дослуживать до осени. Это оставшихся особенно жгло. Доходило до смешного. Вот «дед» Володя Якобчук выскакивает из строя по дороге в столовую и трясет клен, чтобы быстрее осыпались листья и «быстрее наступил дембель».

Для себя я твердо решил: рядовым призван, рядовым демобилизуюсь. Русаки более других равнодушны к званиям и должностям. Зато большинство украинцев стремится выслужиться: стать сержантом, на худой конец – ефрейтором. «Да их без лычек на Украину не пустят!» – шутят в казарме.

Единственный человек, с кем я легко и сразу сошелся, Володя Поздняков, попавший в стройбат после второго курса физфака университета. Нам есть о чем поговорить, в библиотеке мы берем книги одних авторов: он – «Воскресенье» Толстого и томик Лермонтова, я – Чехова и томик Пушкина, «Тарусские страницы». Правда, на чтение времени почти нет. Нас распределяют в разные бригады. Он попадает в бригаду плиточников к тяжелому, угрюмому сержанту Шевченко, донецкому шахтеру на гражданке. Я – в бригаду маляров к плутоватому хитрецу младшему сержанту Кравченко.

А вскоре меня, как самого грамотного, выдергивают – по недоразумению – в штаб части. Там надо было на арифмометрах считать расклад дневных рационов и разные хозяйственные бумаги составлять. Наверно, это работа вольных бухгалтеров при штабе, но зачем их обременять, если есть дармовая рабочая сила. А я и рад. Самое главное – в штабе стоит громадный радиоприемник, и после окончания рабочего дня я остаюсь, чтобы послушать «вражеские голоса». В Чехословакии бурно развиваются события «Пражской весны». Слушаю «2000 слов», обращение к деятелям науки, культуры за подписями Ильи Габая, Юлия Кима и Петра Якира. Очень хочется поделиться с кем-нибудь услышанным, но разговоры на политические темы я не веду, зато читаю «между строк» в Ленинской комнате «Известия» и «Правду» (их почти никто не листает), осторожно поправляю

лекторов и получаю кличку «замполит», или просто «зам».

Мое пребывание в штабе длилось несколько недель. К командиру части Ильину-Миткевичу приезжает особист, и меня возвращают в бригаду Кравченко. Бригаду вместе с другими отделочниками направляют в Ивантеевку, где мы ведем отделку двух пятиэтажек. Каждое утро нас везут на машине по Ярославке туда, а вечером обратно. На повороте от Пушкино к Ивантеевке красивая действующая церковь. (Не знал я тогда, сколько лет потом буду проезжать мимо нее по дороге в Пушкино: сначала с друзьями в Новую Деревню к о. Александру Меню, потом к родственникам, переехавшим сюда из Сибири.) В дороге в машине солдаты обычно поют. И если вечером на плацу нас заставляют петь brave строевые песни, что-нибудь вроде «Серая, суконная, родиной даренная... серая шинель», то в машине поют армейский фольклор: «А вам, молодые, служить еще долго, Но только не надо тужить!»

Хотелось бы не тужить, но не получается. Поэтому рад приезду отца (я получил увольнение, и мы с ним съездили в Москву, к родственникам Новиковым) и совершенно неожиданному приезду однокурсниц: Лиды Зотовой, Тамары Шаманиной, Наташи Бузун, Аллы Парфеновой и Клавды Борисовой. У ворот КПП я, с книгой за пазухой, последний выпрыгиваю из будки грузовика – и ко мне стремительно летит и обнимает меня Наташа Бузун. Мои однокурсники побывали с Пугачевым на практике в Ленинграде и в Тарту, а теперь едут на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Они с восторгом рассказывают о поездке и других новостях, суют мне печенье и конфеты. «Смотри-ка, «зам», сколько у тебя невест!»

В конце лета меня навещает невеста Володи Барбуха и передает от него два тома из собрания сочинений Эренбурга со знаменитыми тогда воспоминаниями «Годы, люди, жизнь» (я их дал читать Позднякову, а позднее отправил на Дальний Восток дослуживающему свой срок Володе Мокрову, и вот, спустя сорок лет, они стоят у меня на полке). О Барбухе его будущая жена говорит: «Володя, он такой странный, все что-то переживает, иногда плачет».

Мне плакать некогда. Я таскаю из колерной тяжелые бидоны с краской и олифой, глотаю цементную пыль, с высоких подмостков шпаклюю, а потом краскопультом раскрываю потолки, клею на стены обои. Вечером, когда засыпаешь, эти потолки и обои бешено крутятся под закрытыми веками. Впрочем, по отбою «молодые» почти никогда не засыпают вовремя: то пол заставят мыть, хорошо, если не зубной щеткой, то туалет драить. В 6 часов подъем, за 40 секунд надо полностью одеться и

выбежать на плац. Если не получается, все отделение или роту могут уложить и поднять еще раз. Недосып постоянный. И еды поначалу всем новобранцам не хватает. Утренний 20-граммовый кусок масла урезается вдвое, половина идет на добавку «дедам». Кашей-шрапнелью не наешься. Поэтому в вечерний наряд на кухню идут с удовольствием: после изнурительной чистки картошки тебя до отвала ей же и накормят.

На кухне вечером царит и командует тетя Маша, страстная поклонница Высоцкого, готовая за него любому глаза выцарапать. Она уверена, что Высоцкий воевал, сидел в тюрьме. Она справедлива и никого не оставит без добавки.

По вечерам сосед по верхней койке, молдаванин, ворочается, тяжело вздыхает: «Ох, как тут тошно, каждый день годом кажется». Зато «деды»-грузины в роте почти не появляются: они люди не бедные, платят мзду напористому, сверхделовому старшине Зубкову и живут в Москве. Но план и на них дается, значит, кому-то придется больше горбить.

Горбить «за себя и за того парня» приходится всем, поскольку на официальном производстве работает только половина роты. Несколько человек ежедневно отряжает на полковничьи и генеральские дачи неутомимый старшина Зубков. У самого Зубкова дача отделана лучше генеральской. А еще каждый сержант отправляет 2–3 человек трудиться «налево». И каждый бригадник сам хочет подработать. По-честному – сделать кому-нибудь ремонт. По-нахальному – толкнуть под видом белил какой-нибудь тетке ведро мыльного раствора, покрашенного белилами. На вид содержимое ведра блестит даже лучше белил, но не белит совсем.

Иногда разгневанная женщина приходит с жалобой к начальству. Ей в ответ – а зачем вы покупаете краденое, вас самих привлечь можно! Выстраивают роту в шеренгу – смотри! – да разве в массе одинаково одетых и остриженных людей найдешь обманщика! – А может, он из соседней части? Рядом стоят еще три строительных батальона, и там такие же хитрецы водятся.

Работая вдали от начальства, бригада с попусту бригадира может и расслабиться, устроить «маленький бордельеро». Самый денежный в нашем отделении Мирзоев. Но скупой. Его надо раскрутить. Кравченко собирает у нас мелочь на бутылку красного вина. Вино распивается под плавленный сырок, всех больше наливают Мирзоеву. Через некоторое время он говорит:

- Надо еще купить!
- Так ведь денег нет же.
- У меня немного есть!

Кравченко хитро подмигивает. После второй бутылки

Мирзоев дает на третью...

Зато после работы в казарме расслабиться не дадут. Старшина Зубков зорко следит за всеми. Только возьмешь в руки книгу – «Мужик, ты, я вижу, без работы! Иди сюда, я тебе дам дело!» Читающий книгу вызывает неприязнь и раздражение не только у Зубкова. «Шибко умный, да?!» Читает, по мнению работяг, тот, кто хочет в жизни увильнуть от тяжелого физического труда. В библиотеку ходят «ловить сеансы», общаться с цветущей библиотечаршей.

НМО SUM

Боевого оружия стройбатовцы за все время службы в глаза не видят. Да это и к лучшему. «Если бы нам автоматы дали, всех «кусков» первыми бы постреляли!» Жестокость нравов вырастает из самой атмосферы стройбата. Слабых и недотеп затравливают иногда до смерти. При мне в нашей части повесился татарин Енишерлов. То и дело возникают немотивированные стычки и драки с гражданскими. Понять эти эксцессы можно только глядя изнутри самого клокочущего котла ненависти.

«Старики» ждут дембеля. Раз в полгода министр обороны издает приказ о демобилизации и об очередном призыве. Напечатанный в газете этот приказ зачитывают до дыр, всем не терпится подержать газету в руках. «Деды» начинают еще больше куролесить, посылают «молодых» за водкой, число драк и столкновений возрастает. Под горячую руку лучше не попадаться никому.

Офицеров в роте почти не видно. Ротный – капитан Живов, пожилой, с бабьим лицом, к гешефтам Зубкова, возможно, отношений не имеет, но смотрит на все сквозь пальцы. Зла никому он не делает, но и вникать в проблему взаимоотношений стариков и молодежи не собирается. Жаловаться ему или более высокому начальству никому не приходит в голову. Сложившийся прядок офицеров устраивает. Лишь бы внешние формальности соблюдались. Так, я на своей телогрейке вытравил хлоркой протестную надпись Номо sum. Живов присмотрелся, понял смысл и приказал стереть. Но я еще долго ходил с полустертой надписью.

О вводе войск Варшавского договора в Чехословакию мы узнали, как и большинство граждан, из газет и радиопередач. Общий глас: «Так им и надо! Мы их освободили, а теперь они хотят впустить американцев!» Мне не с кем поделиться распирающими меня чувствами.

В письме от исключенной из университета Клары Гильдман я

получил адрес Якира, тогда одного из лидеров диссидентского движения, и приглашение посетить его. И вот, в очередное увольнение в Москву я, в военной форме, приезжаю на Автозаводскую. Ищу нужный дом. Захожу в захудалый московский подъезд, где на перекрытиях и потолках висят обгоревшие спички. Неужели историк Якир, сын реабилитированного командарма Ионы Якира живет в таком убогом подъезде? Звоню в квартиру 75. На пороге мужчина в трусах, с выступающим животиком, буйной шевелюрой, с умными, хитроватыми и проницательными глазами. Я Петра Якира представлял примерно таким же худым, заморенным зком, как Солженицын на обложке роман-газеты.

– Здравствуйте. Вы – Петр Ионович Якир?

– Да, а вы?

– Я такой-то.

– А, мы знаем о вас, Клара рассказывала. И работу вашу знаем.

Захожу в квартиру. В одной комнате Таня Баева, щебеча, стрижет Илью Габая. Во второй комнате лежит мама Петра Ионовича Сарра Лазаревна. Хозяйка Валентина Ивановна – простая русская баба – приглашает на кухню к столу. В квартире повсюду книги, на столе пишущая машинка, шуршат папиросной бумагой рукописи самиздата. Через некоторое время чувствую себя как дома. Хозяин, обаятельный, жизнерадостный, встречает новых гостей, живо ведет беседу. Получаю пачку машинописных работ. Один из первых документов – якировское обвинение Сталина по двум десяткам статей Уголовного кодекса, действовавшего до 1961 года. Сахаровские «Размышления», «Белая книга» Александра Гинзбурга, обращения, заявления, протесты... Не помню, увиделся ли я в первое посещение Автозаводской с Юлием Кимом, но сразу оценил его озорную шутку: над унитазом висит деревянный лирообразный стульчак с надписью «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые в нем лирой пробуждал».

До конца апреля я еще несколько раз побывал у Петра Ионовича, познакомился с его дочерью Ирой, с Юлей Вишневской, Ирой Белоцерковской, Славой Бахминым (Он собирался писать рецензию в Хронику на «Государство и социализм»).

Народная тропа в этот дом не зарастала. Сюда стекались все новости правозащитного движения, весь столичный и провинциальный самиздат. В этом гостеприимном доме у меня завязались и другие московские знакомства, появились дома, где я мог брать «Новый мир», другие журналы и поэтические

сборники. В одном из этих домов я впервые увидел знаменитый позднее портрет 50-летнего Солженицына с бородой. Побывал и в однокомнатной квартире у Кима на Рязанском проспекте. Там тоже толпился народ, циркулировал самиздат.

В увольнении я первое время ездил в военной форме. Это было неудобно. А так как верхней гражданской одежды у меня в Болшеве не было, я выпустил из-под рабочей телогрейки красный свитер, повязал шарф – и мало ли кто в России ходит в телогрейке, кирзовых сапогах и в солдатских галифе! В таком чудном виде я ходил по Москве. Дважды был на выставках: в Пушкинском музее и на выставке Петра Кончаловского. Зачем-то искал югославское посольство (хорошо, что не нашел).

Осень 1968 года стояла теплая. В ноябре мы работали в Центральном военном госпитале, а с декабря в самом Болшеве. Опять приезжал отец – приободрить, поговорить с моими начальниками. Но капитана Живова он не застал, а великий Зубков пообещал, но так и не удостоил отца встречи. Он только зря промерз на КПП. (Впрочем, как впоследствии стало ясно, Зубкову персонально было поручено присматривать за мной, и встреча с отцом не входила в его планы.) После отъезда отца и нерадостного Нового года я затосковал и решил хоть как-то изменить свое положение. Случай помог: я упал с подмостков и симулировал сотрясение головного мозга (воспользовался опытом Купчинова, который так «откосил» от армии). Все было натурально вплоть до раны на голове. Информированный Зубков выражал сомнение, но медики настояли на своем, и на несколько дней я был помещен в госпиталь, здесь же в Болшеве.

Вернувшись – с временным освобождением от работ – из госпиталя в часть, я увидел, что полроты больны гриппом – кто лежит в медсанчасти, кто в казарме. Я понял, что никому, даже вездесущему Зубкову, сейчас не до меня, и решил: поеду в Горький. Конечно, это была чистая авантюра, но уж очень тяжело давил на меня стройбат.

В своей полувоенной форме, недавно демобилизованного солдата, добрался до Курского вокзала. Кассы тогда были где-то внизу, там толпилась разношерстная публика, многие были одеты не лучше меня. Я выстоял очередь и купил билет на «Буревестник» – дневной поезд.

Приезд вызвал радостный переполох, но и тревогу родителей. Отец лежал в больнице на обследовании, и я первым делом пошел к нему. Потом поехал в верхнюю часть города, к Купчинову. Евгений к этому времени познакомился с Владленом Павленковым и был настроен довольно оптимистично. «У тебя есть надежные ребята?»

Было время студенческих каникул. В общежитии университета на Ульянова из одной комнаты мне навстречу вывалились крепко поддатые мой однокурсник Володя Бухалов и пятикурсник Володя Жильцов. Жильцов молча держал большого плюшевого медведя, а Бухалов театрально воздел кверху руки: «Кого я вижу! Гордость нашего факультета! Дай обнять тебя, Виталий!» (Я не мог тогда предполагать, что уже в июне Жильцова со сломанной ногой прямо из больницы увезут на Воробьевку.)

Организовать дружескую встречу мне не удалось. Приехал лишь Лев Гузев (он снова жил в отцовской квартире с телефоном), рассказывал анекдоты и пил пиво. На следующий день мы с Тамарой Шаманиной съездили на электричке в Правдинск к моим друзьям Мокровым, где нас тепло встретили.

А еще через день, захватив гражданскую одежду, я вернулся в Болшево. «Гражданку» оставил у знакомой хозяйки. Переодевшись, явился в медсанчасть, отдал свою справку. Меня не хватились, но, конечно, потом через КГБ о поездке стало известно. Доказать, однако, ничего было нельзя. Тем не менее в КГБ решили, что в Болшеве, рядом с Москвой и Горьким, мне не место.

В феврале меня в числе нескольких человек перевели на работу в Калининград (теперь Королев). Там при рабочем месте у меня образовался некий закуток, что-то вроде крохотной каптерки. Я стал хранить здесь книги, свои записи и первые, довольно слабые стихи. Можно предположить по дальнейшим событиям, что чекисты сами предоставили мне возможность устроить такое уютное место.

В марте разгорелся советско-китайский конфликт на полуострове Даманский. У нас в части, как и в других частях, был срочно организован «патриотический порыв». Сначала сержанты, а потом и остальные стали писать рапорты с просьбой направить их на Даманский. Разумеется, все понимали, что стройбатовцев никуда не пошлют, но начальство отрапортовало о «порыве», а «старики» надеялись, что «патриотов» демобилизуют в первую очередь. Никто из офицеров и сверхсрочников рапортов не писал. «Да их с этих теплых мест только под расстрелом можно выкурить!»

В марте же ко мне в гости приехал брат Игорь. Две ночи он ночевал в нашей казарме, мы ходили с ним в фотографию, фотографировались в военной форме и в гражданской. А в выходной поехали в Москву, где он был впервые, и я провел его по самым интересным местам в центре города.

27 апреля, в воскресенье, после обеда меня вызвали на КПП:

«К тебе приехала знакомая». Оказалось – моя ученица Лариса Королихина приехала по делам в Москву и решила посетить меня в Болшеве, получив адрес от родителей. Поговорить приватно нам не удалось. В комнатку при КПП за мной следом пришел один из делающих карьеру ефрейторов. Его обязали быть при разговоре и доложить, о чем шла речь. Такого раньше никогда не было!

Уже наутро в понедельник стала понятна причина столь необыкновенного внимания. Капитан Живов объявил: меня и еще двух человек из других рот переводят служить в Казахстан. Несколько минут на сборы, я ни с кем толком не попрощался. В голове крутилось: что будет с моими записями, с книгами, которые я не вернул владельцам? Обидней всего было за томик Пастернака из Малой библиотеки поэзии. «Гражданку» не жалко, но хозяйка будет недоумевать, куда делся владелец.

Уже из Алма-Аты я написал Володе Позднякову письмо, в котором просил забрать из каптерки мои книги и бумаги и отнести их по такому-то адресу хозяйке на хранение до моего приезда. Письмо было перлюстрировано, и произошло вот что.

Бумаг и книг в моей каптерке Володя не обнаружил. На их месте лежала игривая записка: «Дорогой друг! Книги мне очень понравились и я забираю их себе. А стихи – не очень. С приветом Fantomas!» На следующий день после получения Володиным письма Зубков с Живовым выстроили отделение и приказали вывернуть карманы. Зубков коршуном выхватил у Позднякова мое письмо. Сказал: я знаю эту женщину. У испуганной бабушки изъяли «гражданку», а рукописи отправили в особый отдел. (О последнем я узнал позднее из материалов моего следственного дела.)

Я был взбешен. С дороги направил на адрес Горьковского УКГБ злое письмо, родителям – открытку о переводе в другое место службы. Живов был невозмутим, командировка в Алма-Ату ему явно нравилась. Я познакомился с двумя другими «ссылными». Оба они были на полгода раньше меня призваны в армию. Одного – одессита Мишу Опря я раньше видел в части, другого – Славу из Свердловска увидел впервые. До армии он уже успел получить судимость. У Михаила за плечами было 70 суток «губы», а у Славы аж 200! Т.е. каждый третий день службы он провел на гауптвахте!

Дорога до Алма-Аты заняла три дня, и уже 30 апреля Живов передал нас новому начальству. Рекомендации, данные нам, видимо, были такими, что начальник штаба майор Гаврилов посулил нам отправку в дисбат (дисциплинарный батальон, попасть в который считалось хуже тюрьмы), если мы продолжим вести себя так, как вели в Болшеве.

Распределяют нас в четвертую роту, которая стоит отдельно от батальона на другом конце города в предгорьях Ала-Тау, рядом с Ботаническим садом. Рота размещена частично в казарме, частично в палатках. Первое вечернее построение повергло меня в изумление – не воинская часть, а какой-то цыганский табор! На головах у кого фуражка, у кого пилотка, у кого панاما. У одних гимнастерки с длинным рукавом, у других «мобутовки», у третьих вообще пограничная форма. На ногах сапоги, разнокалиберные ботинки, а несколько человек стоят босиком.

На построении я хочу встать в строй вместе с «молодыми», но меня толкают к приехавшим со мной «старикам» – Опре и Славе, решив, что мы одного призыва.

Деление на «дедов» и молодежь здесь соблюдается строже, чем в Подмосковье, поскольку славянская прослойка меньше. «Старики», в основном узбеки и таджики – «бабаи», изгаляются над молодыми, рукоприкладствуют, заставляют стирать свои портянки. Среди «молодых» много ребят-хохлов, первоначально отправленных служить на границу, а потом переведенных в стройбат. Для них этот перевод – целая трагедия. Они бережно хранят свою пограничную форму и домой пишут письма якобы с границы. В основном это добродушные и исполнительные ребята. Они рады моему доброму слову. Но мое заступничество мало помогает. Логика «дедов»: «Нас е...али, когда мы были салагами, а теперь мы будем!»

Начальство такие взаимоотношения не волнуют, давали бы план. Впрочем, из начальства в роте постоянно присутствует один старшина Чурбанов, крепко сбитый горластый усач. Его волнуют только комбинации при выдаче обмундирования и походы в баню.

В бане среднеазиаты сбывают себе волосы в промежности, и это славянам кажется дикостью. «Да они – звери! Сначала, чтобы поссать, становились в туалете на колени, мы их пинками поднимали!» (А как в голой степи сходить по малой нужде, не смущая других? – только, уйдя подальше, опуститься на колени.)

Свинину мусульманам есть нельзя, но т.к. другого мяса в столовой почти не бывает, то постепенно все начинают его есть. «Дома нельзя, а в армии можно». В армии они с грехом пополам овладевают матерным русским языком и воспринимают самое дурное из армейского быта, чтобы развезти эту «культуру» по своим аулам. Все эти бывшие крестьяне мечтают вернуться домой и забыть стройбат, как страшный сон, но их патриархальное сознание уже не станет прежним. Впрочем, они искренне приглашают меня: «Приезжай ко мне, столы накроем, плов варить

будем, три дня гулять будем!»

Первые месяцы я с двумя «молодыми» Валерой Лохновым и Васей Седовым работаю грузчиком на опытно-механическом заводе им. Крюкова. Грузы часто приходится отвозить в другие концы города, бригадир у нас – гражданский, с полочки угощает пивом. Здесь мы чувствуем себя вольнее, чем в бригаде. Пользуясь случаем и увольнениями, бегаю смотреть на знаменитый Зенковский собор (Вознесенья), о котором год назад я прочитал в замечательной новомировской повести Домбровского «Хранитель древностей».

На заводе случайно знакомлюсь с интеллигентной кладовщицей, читающей «Иностранную литературу». Она, в свою очередь, знакомит меня с родителями – профессорским семейством, которые якобы знавали Домбровского в его алмаатинский период жизни. А через них – еще с одной семьей студентов-молодоженов, где муж – русский, а жена – грузинка. С ними обсуждаем обстоятельства ареста и расстрела Берии, Кобулова и других их грузинских подручных.

Вокруг военного городка увиваются местные девушки. Но по приезду нам с гордостью сказали: «Алма-Ата занимает второе (?) место после Одессы (?) по венерическим заболеваниям!» Может быть, поэтому энтузиастов встречаться с ними меньше, чем обычно бывает в таких местах.

Я в свободное время пишу дневники (увы, все они пропали после обыска и ареста), изучаю по учебнику географии на французском французский язык, пробую читать «Юманите», которая наряду с «Нойес лейбен» продается в киосках. Покупаю и «Литературную газету» – тогда самую неофициозную, из которой узнаю литературные и общественные новости: о смерти Паустовского, об исключении Солженицына из Союза писателей.

Отпуск мне явно не предвидится. Пишу письма. Кроме родителей – Евгению Купчинову, Игорю Гольдфарбу, он в стройбате на Севере, Ларисе Королихиной, которой рекомендую рассказы Шукшина в «Новом мире» и получаю восторженный отзыв. Получаю письмо от Льва Гузеева, в котором он эзоповским языком сообщает: «Мишель Капранов с друзьями поселился напротив университета» (т.е. в тюрьме).

В нерабочий день иногда перебираюсь на территорию Ботанического сада и ухажу по нему к самым предгорьям. Там можно долго лежать на траве, следить за серебряной искоркой самолета.

21 июня американцы высадились на Луне, но это событие доходит до нас глухо и ни у кого не вызывает интереса. Наши интересы: как закроют наряды бригадиры, какую работу дадут в

следующем месяце, кто получает отпуск, кто вернулся из отпуска и что привез. Украинцы привозят в грелках самогон из буряка. Узбеки, вернувшись из отпуска, устраивают праздник и готовят в большом чане плов. Потом начинают бренчать на дутарах и барабанить на дойрах.

А на другом конце палаточного городка З., крымский татарин, выросший в Казахстане, рвет струны гитары и с надрывом поет крамольного Высоцкого:

*Но хватил его удар. Что б избежать божьих кар,
Кот диктует про татар мемуар!
Ой, ты уймись, тоска, у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди!*

Харьковчанин сержант Володя Кураксин, с которым мы дружим до его назначения командиром отделения и после его разжалования, рассказывает о суровых порядках и жесткой муштре в учебке (сержантской школе) и тоже бренчит на гитаре городской шлягер:

*Милая, чудесная страна,
Лишь для храбрецов она дана.
Здесь мы родились и здесь умрем
Под густым и стройным ковылем.*

Никаких «ленинских комнат» и красных уголков в четвертой роте нет, и политзанятиями нам не досаждают. Раз-два в неделю водят в кино, обычно старое.

«ОТВЯЗНАЯ РОТА»

В июле меня переводят в строительную бригаду Шокаримова. На улице Т. Жаркова мы строим здание штаба вновь созданного Степного военного округа. Строим плохо. Здание должно быть сейсмоустойчивым, потому вся гибкая вертикальная арматура в стыках должна быть хорошо проварена. Сварщики халтурят, это заметно. Потом стыки побыстрее заливаются бетоном. Я в бригаде монтажников. Принимаем с крана тяжелые ригеля и бадьи с бетоном, залитую в опалубку бетонную гущу уплотняем вибраторами. Работа тяжелая, опасная и грязная – вся одежда в цементном растворе.

Неожиданно меня, несмотря на все мои отказы, ставят бригадиром. В первый же месяц я пытаюсь навести

справедливость: закрываю наряды «старикам» и «салагам» почти поровну. Что ж – каждое доброе деяние должно быть наказуемо! Молодежь обрадовалась, но промолчала, а «деды» страшно возмутились: когда мы были салагами, нам никто поблажек не давал! (Это я цитирую в переводе на русский.) К счастью, довольно скоро кто-то из сержантов вернулся с учебы, и я передал ему бригаду.

Август. Жара. На обед надо строем идти в столовую. А там горячее невкусное пойло на первое, а на второе – куски жира, которые кладут в ту же алюминиевую миску. А ложка всегда за голенищем сапога. Поэтому я на обед не иду, читаю взятый с собой журнал «Простор» со стихами некоего Помазкина. Со мной сидит сторож, из гражданских, и рассуждает: «В этом году что-то все тихо. Драк, почитай, нет. А в прошлый год армяне с чеченцами схватились – до ножей дошло. Вызывали усмирять роту автоматчиков». Я знаю эту историю. На моих глазах, кроме очередного суицида, серьезных ЧП не было. Правда, в нашей роте, стоящей отдельно от батальона, на отшибе, народ сильно разболтался.

Чудят по-разному. Так, наглый ефрейтор Опенько выработал такую тактику. Он заходит в дом, в котором, он уже знает, идет свадьба.

– Извините, товарищи. Я разыскиваю рядового такого-то. Мне сказали: он здесь. Разрешите осмотреть помещение?

– Смотри, парень, здесь никаких вояк нет.

– Спасибо!

– Да что ж, спасибо, садись, выпей за молодых!

Опенько садится и начинает метать одну рюмку за другой.

Ну, это самые мелкие проказы. Более серьезные связаны с кражами, стычками с местными парнями и набегам на Ботанический сад. Самой последней каплей стала вылазка наших солдат в Ботанический сад. Ночью они помяли и поломали посадки уникальных роз. Приехавший в часть сотрудник сада со слезами на глазах говорил о варварстве, когда «тяжелый каблук советского солдата погубил элитные розы». В роту приехал комбат – «батя» и устроил разнос. Я стоял в последнем ряду и пригибал голову – у меня уже отросла порядочная шевелюра, а он мог под горячую руку приказать остричь наголо.

Словом, четвертую роту за учиненный беспредел (тогда, правда, такого выражения не было) из 50-го городка переводят в батальон, расквартированный на северной окраине Алма-Аты, на границе со степью. Мы грузим в машины свое барахло, матрацы и с пением «А нам все равно» едем через весь город.

На новом месте – казарма за стеной военного городка, голый

плац, пропахший мочой и хлоркой, за КПП пыльная степь. Утром нас, раздетых по пояс, выгоняют в эту степь «на оправку» и – бежать кросс, три километра в кирзовых сапогах.

«Деды» готовятся к дембелю, им нужны деньги, чтобы справить парадную форму чуть ли не с аксельбантами. Поэтому они тащат и продают со стройки и складов кто что может: двери, дверные коробки, рамы. Обычно это делается в сговоре с главным охранником склада материалов С. Это хитрый и одновременно простодушный хохол, получивший хлебное место неизвестно за какие заслуги. В солдатскую столовую он никогда не ходит. У него всегда в кармане есть пачка денег. Жизнь он понимает просто: «Ни, Витя, жить и на хражданке можно, надо только сперва вступить в партию».

Несколько человек в роте балуются «дурью». В окрестностях города много зарослей конопли. Раздевшись, они бегают по кустам, а потом соскабливают с потного тела конопляную пленку. Из собранного плана делаются катыши, которые вставляются в самокрутки с табаком. После нескольких затяжек курильщики начинают смеяться беспричинным смехом, перешагивают через маленький пруттик, поднимая ногу, как через забор, и т.п. Вид у них очумелый. В роте шутят: «С чем, чем, а с планом у нас все в порядке!»

Новый ротный, капитан Иванцов, мой «земеля» с Волги, недавно переведен в Казахстан и местных реалий не знает. Он останавливает одного из «планеристов», явно нетрезвого вида: – Ты пьян? – Никак нет, товарищ капитан! – А ну дыхни! Не пойму! Еще дыхни! Ничего не пойму!

Тем не менее, почти все мы – ударники коммунистического труда. В Ленинской комнате молодежь сомлевает под доклады о 100-летней годовщине Ильича. Издается «Боевой листок», выносить который – типографским способом отпечатано – нельзя. Конечно же, несколько таких листов я привез со службы, и один сохранился до сих пор. Придирчиво обсуждается рисунок Ленина с бревном: «Ленин, он за какой конец бревна держался? За тонкий. Попахал бы он сейчас у нас на стройке!»

Моему приятелю Кураксину Иванцов приказывает присматривать за мной, а замполит, капитан Измайлов дает мне специальное задание. Он заочно учится в пединституте, ему надо делать реферат. И он отправляет меня в республиканскую библиотеку, чтобы я набрал материалы и написал статью о Гейне.

Когда я, в своей стройбатовской амунии, с шершавыми и потрескавшимися от работы руками, вхожу под светлые своды читального зала и вижу интеллигентную читающую публику, профессора, раскланивающегося со своей аспиранткой, меня

охватывает острое чувство зависти к этим вольняшкам.

Статью я написал, а год спустя, по запросу КГБ, Измайлов настрочил лживую характеристику.

И НЕДОИМКУ ДАРЮ

Дембель приближается. «Деды» вычеркивают дни в календаре. Даже аппетит у них пропал. Кроме масла в солдатской столовой они больше ничего не едят. На асфальте плаца, на бетонных плитах ограды – везде крупно: «Дембель!» Приблудный пес тоже – Дембель.

Желание вырваться на свободу вовсю эксплуатируется начальством. Так, предлагают самым работающим за первоочередную демобилизацию выполнить «урок», т.е. за месяц выполнить работу, равную по объему трем–четырем нормам. И – берутся. Юра Гутман – из высланных из Поволжья немцев. У него немецкое трудолюбие сочетается с русским размахом и смекалкой. Он один выполняет все отделочные работы в большом здании. Я хочу с ним поговорить по-немецки. Он белозубо смеется: «Ты что! У меня и родители-то уже плохо знают немецкий. А я ничего не знаю. – Но ты же в школе его, наверно, учил? – Учил, но стеснялся. Нет, не знаю».

В нерабочее время, чтобы ничего не видеть в опостылевшем городке, ухожу в степь. Лежу, читаю. Вдруг за спиной, сотрясая землю, проходит тяжелый грузовик. Откуда здесь грузовики? Оглядываюсь – никого. Оказывается, в Алма-Ате 5-балльное землетрясение. Может быть, для меня это было некое предупреждение?

Незадолго до демобилизации я попадаю на «губу». В один из дней ко мне подходит капитан Иванцов и объявляет:

- Я отправляю вас на гауптвахту на 10 суток.
- За что?
- Сами знаете, за что.

Никаких грехов за собой я в последнее время не знал, поэтому долго еще на гражданке ломал голову в догадках. А ларчик открывался просто. Служба моя заканчивалась, в будущем КГБ могла потребоваться моя характеристика. И что же в ней будет написано? Нарушений, взысканий не имел, получил звание «Ударник коммунистического труда»?

«Ну, удружил тебе твой земля!» – посмеялись мои бригадники.

Гарнизонная гауптвахта – крытая тюрьма из нескольких камер с внутренним двориком. Пайка – штрафная. Утром оправка, зарядка – несколько десятков кругов гусиным шагом под

надзором старшины-качка. Иногда нас гоняет толстый младший лейтенант – «микромайор», выпускник вуза: «Из-за вас, бездельников, никак звезду не получу!» Днем несколько человек могут взять на уборку территории военного городка. На эту работу охотно вызываются курильщики – во время уборки можно перехватить курева. Никаких книг, но, судя по тому, что мы переписали адреса друг друга, огрызок карандаша и бумага в камере были. Десять суток под замком показались очень долгими.

А когда я вернулся в часть, узнал неслыханную новость: молодежь избивала «стариков». К этому времени часть из них демобилизовалась (кто за «урок», как Гутман, а от кого-то сами начальники хотели скорее избавиться). И вот в одну ночь все оставшиеся «деды» были жестоко избиты. После этого ни один из них не ночевал в казарме: спали на складах, на производстве, в других ротах. Ко мне сразу же подошли несколько человек: «Виталий, ты не бойся, никто тебя не тронет, мы помним, как ты защищал нас».

Событие подпадало под понятие «политическая диверсия». Остатки роты собрали на собрание. Выступил начальник политотдела то ли полка, то ли дивизии и по-отечески попытался вразумить обе стороны. «Что скажет своим родителям вернувшийся из Советской армии ефрейтор Опенько? Конечно, он не скажет, что его побили его боевые друзья! Он скажет: ударился об угол, или получил травму на производстве». Опенько с подбитым глазом тупо смотрит в пол, и ночевать в казарму не приходит.

Я уже ничего не делаю, слоняюсь по казарме и плачу. Даже читать не хочется. А дембеля все нет и нет. Я остаюсь в части одним из последних старослужащих. И вот свершилось! 4 июня майор Гаврилов делает в военном билете долгожданную запись и выдает железнодорожный билет до Горького. Никаких заработанных за два года денег я не получаю: все якобы ушло на мое содержание. Словом, и недоимку дарю. Да и какие там деньги, когда впереди свобода! Прощай, стройбат!

II. КРЕПКА ТЮРЬМА СТЕНАМИ, ДА ЧЕРТ ЕЙ РАД

*Это что – стоять за правду,
ты за правду посиди!*

МЕЖДУ ДВУМЯ ПОГРУЖЕНИЯМИ

4 июня я выехал из Алма-Аты. В горьковском (Сормовском) военкомате я должен отметиться до 11 июня. Вот уже позади унылые степи Приаралья и Северного Казахстана, прогремел мост через Волгу. В Саратовской области, в Ртищеве, у меня пересадка на Горький. Но за умеренную плату я договорился с проводницей и еду дальше в Москву. К кому? Конечно, к Петру Якиру.

На Автозаводской царит все та же атмосфера открытого общественного клуба, библиотеки самиздата, места составления и подписания различных документов. По-прежнему здесь кормят и поят всех пришедших.

Я запоем читаю самиздат: номера «Хроники», «Мои показания» Марченко, сборник о деле Александра Гинзбурга «Процесс цепной реакции»...

Петр Иванович к этому времени обзавелся такой же курчавой, как и шевелюра на голове, бородой и усами, что очень ему идет. Он напоминает теперь уже не жовиального еврейского гешефтмахера, а какого-то античного бога.

Юлик Ким приносит новый самиздат, Ира то и дело сидит за пишущей машинкой. Увы, нет Ильи Габая, он в это время сидит в лагере по 190-1 статье. И пения Кима под гитару мне в этот приезд не довелось услышать.

Меня спросили о горьковском процессе Павленкова, я ничего толком не знал.

В Горьком в мое отсутствие, в апреле 1970-го состоялся судебный процесс четырех: Владлена Павленкова, Михаила Капранова, Сергея Пономарева, Владимира Жильцова. По ст. 70, ч. 1 и ст. 72 УК РСФСР они получили соответственно 7, 7, 5 лет и 4 года. Жену Павленкова Светлану изгнали из университета, жену Пономарева Елену – из областной библиотеки, подругу Жильцова Надежду Андрееву исключили из университета за две недели до диплома. Преподавателей Виктора Бабаева и Владимира Федорова уволили из университета без права преподавания, полтора десятка студентов выгнали из комсомола. Ранее в Саратов перебрались профессора Пугачев и Борухович. Шепотом

передавался слух, что Горьковское управление госбезопасности составило список 120 неблагонадежных граждан.

В 1968 году уже после моей отправки в стройбат Михаил Капранов с женой Галей уехали в Узбекистан. Там 5 июля 1969 года Михаил был арестован и доставлен в Горьковский СИЗО, где уже сидели по делу о листовках Пономарев и Жильцов. (У Гали Капрановой после ареста Миши умер младший сын, и она с двумя детьми вернулась на родину, в Чебоксары). 3 октября 1969 года арестовали Владлена Павленкова, к этому времени уже не директора вечерней школы, а преподавателя техникума.

С Павленковым и Пономаревым я знаком не был. Сразу же после моего возвращения в Горький Женя Купчинов повел меня знакомить со Светланой и Еленой. От них я узнал подробности арестов и судебного процесса, о книге Владлена « $2 \times 2 = 4$ », утаенной от КГБ, о поездках к мужьям в Мордовские лагеря, об их нынешней постылой работе в детском саду.

Их проблемы и заботы – трудоустройства, сбора посылок для передач, подготовка поездок в Мордовию – во многом становятся и моими проблемами. И еще больше укрепляется ранее возникшее понимание того, что судьба близких родственников политзаключенных едва ли не трагичнее судьбы самих эзков. Осуждение общества, потеря любимой работы, отсутствие средств существования. В положение изгоев попадают и дети, калечатся их судьбы.

Среди прочего Светлана и Елена передали мне: из «их» дела четырех (№ 30) выделены в отдельное судопроизводство дела на Купчинова и Помазова. Поэтому КГБ сейчас достаточно найти любую зацепку, чтобы эти дела были приведены в движение.

Какие к этому времени были у меня планы? Восстанавливаться в университете я даже не пытался: было ясно, что условием восстановления стало бы покаяние. Уезжать из родного города, например в более безопасную Москву или в Саратов к Пугачеву, я тоже не хотел. Я считал, что должен здесь продолжать правозащитную деятельность, должен заменить посаженных ребят. Мне было стыдно, что я на свободе – гуляю по городу, встречаюсь с друзьями, купаюсь в Волге – в то время, как в Мордовских политлагерях сидят Миша Капранов с друзьями и сотни других, известных мне только по «Хронике» людей. (Так, в 1967-м мне было стыдно заходить к родителям моего друга Володи Мокрова: я тогда благополучно учился в университете, а его отчислили и отправили в армию.)

Мои и Купчинова попытки найти новых «бойцов» успеха не имели. После разгрома 1968 и 1970 годов в городе царила атмосфера страха и апатии. Круг, в котором нас понимали, в

котором мы вращались, был узок: помимо Светланы Павленковой и Елены Пономаревой это были Надежда Андреева (при первой встрече она с гордостью показала мне мою же фотографию, сделанную за три дня до отправки в армию), Евгений Молев, Валера Буйдин, Таня Батаева и еще несколько человек.

Разумеется, я встречался со своими бывшими однокурсниками по техникуму и университету, но это были чисто дружеские встречи, «без политики». Евгений Молев передал мне отпечатанный в 1969-м на машинке его жены и переплетенный в книгу «авторский» экземпляр «Государства и социализма». Но ни мою книгу, ни привезенный из Москвы самиздат распространять было почти не среди кого. Вина за вынужденное бездействие грызла меня.

С августа я начал работать инженером-технологом в бюро механизации при объединении «Металлист», где начальником ОТК и секретарем парторганизации был мой отец. Это была типична советская контора. Там я, в частности, был свидетелем интересного спора между технологами и конструкторами: кто из них более полезен производству. Доказав друг другу отсутствие какой-либо пользы, стали спорить о том, кто меньше приносит вреда. Спор выиграли технологи: работяги на их технологические карты просто не смотрели, а вот конструкторы изготовили станок, который не работал, и даже в принципе не мог работать. В бюро я познакомился с Галей Кузьминой, которая с интересом слушала мои рассказы о литературе, Солженицыне, об импрессионистах и задавала серьезные вопросы.

Я возобновил знакомство с Валей Юркиной. По ее просьбе дал ей свою книгу. «У нас сейчас в квартире такая «воронья слободка», что трудно уединиться у себя в комнате, но я попробую перепечатать ее». В начале сентября она сказала мне, что часть книги уже отпечатана.

Октябрь принес радостное известие. Нобелевский комитет присудил премию по литературе Александру Солженицыну. В диссидентских кругах ликование. И так хочется в Москву! Окунуться в кипение споров, прочитать новые книги, познакомиться с новыми интересными людьми. Беру на 18 и 19 октября отпуск без содержания и еду на четыре дня в Москву. Живу в насквозь просматриваемом и прослушиваемом доме Петра Якира.

У Якира, как и раньше, круговорот людей, Юлик Ким с гитарой. Уже существует первая правозащитная организация – Инициативная Группа по защите прав человека, и Якир ее участник и главный связной с иностранными корреспондентами («корами»). В маленькой комнате мать Петра Сарра Лазаревна,

лежа в кровати, слушает западное радио и говорит мне: «Вот умру я, и Петьку посадят». (Так и случилось: в 1971 году она умерла, а в мае 1972-го Петра арестовали.) Из прочитанного самиздата самое сильное впечатление на меня производит повесть Гроссмана «Все течет».

19-го приезжает из Потьмы со свидания с Владленом Светлана Павленкова. Она привозит поздравление Солженицыну от узников Мордовских политлагерей. Петр тут же отдает его корам, и вечером оно уже звучит по радио.

В этот приезд я познакомился с Виктором Красиным и ездил с ним в Новогиреево в его убогий деревянный домик, набитый самиздатом. Знакомлюсь с тихим художником Юрием Титовым и его импульсивной женой Еленой Строевой. Юра в этот период пришел от абстрактного искусства к иконописи. Он показал несколько Спасов, за один из которых, по его словам, его расцеловал Солженицын. (В 1973 году Титов с женой эмигрировали во Францию, в Париж. Но за границей они не нашли себе применения, впали в депрессию. Строева обратилась в советское посольство – ей сказали: покаяйся, визы не дали. В 1976 году она повесилась. Юра Титов умер в 1980-х в доме престарелых.)

С Юрой и Леной на Автозаводской покупаем в магазине шоколад и другие продукты для отправки в лагерь. С ними же и Якиром едем в такси на Рязанский проспект, к Киму. За нами следует черная гэбистская «Волга», откуда нагло ведут фотосъемку. Петр оборачивается, указывая на преследователей, не может сдержать себя, крепко выражается.

– Петр Иванович, я думаю, надо стараться не обращать на них внимания.

– Да, – раздраженно отвечает он, – Когда это повторяется каждый день, попробуй не обращать!

У Кима в квартире мы застаем Владимира Буковского и Анатолия Якобсона. Они работают над каким-то документом и явно не рады нашему приезду. После короткого разговора Якир сухо прощается.

На Полянке, в старом доме, на квартире у «старушки» – Людмилы Ильиничны, матери Александра Гинзбурга, я знакомлюсь с будущей женой Алика Ириной (Ариной) Жолковской и Габриэлем Суперфином. Светлана Павленкова приводит меня в Чапаевский переулок в семью кинорежиссера Юрия Штейна. Юрий Генрихович тоже считается одним из лидеров Демократического движения. Он выговаривает Светлане (не при посторонних): не надо было ей засвечиваться на квартире у Якира, теперь гэбисты точно знают, кто привез зэковское

поздравление из Мордовии. (Ну, а я-то засветился по полной: с Якиром мы еще и фотографировались на балконе.) Пока жена Юры, Вероника (двоюродная сестра Натальи Решетовской, первой жены Солженицына) накрывает на стол, ее двенадцатилетняя дочка показывает мне домашние альбомы с фотографиями Солженицына. Одна из них потом стала очень известной – Александр Исаевич работает в саду, сидя за сколоченным столом. «А этот альбом с дарственной надписью дядя Саня подарил мне на день рождения».

Светлана в этот же вечер уезжает в Горький, попросив меня купить гуся на день рождения подруги.

В один из этих суматошных дней я встречаюсь с Галей Кузьминой, предварительно позвонив ей из уличной телефонной будки. Она независимо от меня на неделю приехала в Москву – погулять и отовариться. Я ей настолько доверяю, что передаю толстую пачку самиздата, разумеется, предупредив о возможных последствиях. Нужно привезти ее в Горький и, если со мной все обойдется, передать мне. (После моего ареста, не зная, как поступить, она принесла бумаги моим родителям, и мама на стиральной доске превратила их в бумажную кашу.).

АРЕСТ

Помимо дел диссидентских у меня был чисто бытовой повод поездки в Москву – им я и отговаривался родителям: надо было привезти мясные продукты. В последний день я добросовестно закупил все, не забыв и заказ Светланы Павленковой. Выехал ночным поездом и рано утром приехал в Горький. Позвонил Павленковым: «Светлана, твое задание выполнил, вечером привезу гуся!» Возможно, прослушивающими телефон гбэшниками это сообщение было воспринято как какой-то шифр. (День ареста был выбран не случайно. По материалам оперативной слежки – прослушке, видеонаблюдению (техника ведь заморская, отличная) – они знали о находившейся у Юркиной книге. А меня надеялись прихватить по приезду из Москвы с якировским самиздатом.)

Наскоро позавтракав, я поспешил на работу, пробыл там до обеда и на обед, вместе с отцом, вернулся домой. Едва зашли в дверь – звонок. И снова, как в мае 1968-го, чертями из табакерки появляются на пороге и тараканами рассыпаются по квартире похожие один на одного коротенькие человечки.

Предъявляют ордер на обыск. Я знаю, что дома у меня ничего нет, но какой удар опять для родителей! Мне предлагается добровольно выдать работу «Государство и социализм»,

подготовительные рукописи к ней и самиздат.

– У меня ничего нет. Ищите.

Перерыли все от туалета до балкона. Улов оказался убогим: забрали мои армейские записные книжки, несколько полупустых блокнотов, «Ученые записки» с адресом Суперфина, адрес Вероники, чистую копировальную бумагу, несколько листов с разными записями.

Но, переговариваясь по телефону, они знают результат обыска у Юркиной, чего не знаю я.

Руководит операцией начальник следственного отдела Горьковского УКГБ майор Александр Миронович Хохлов – тот самый, что жестко вел следствие у «главаря» четверки Владлена Павленкова и который станет моим следователем. Рассеченная губа придает ему вид матерого следака (или бандита). На подхвате сотрудники УКГБ «без особых примет» Шустанов и Киселев.

Хохлов бесцеремонно копается в письмах и читает их. Среди писем большая подборка посланий Надежды Андреевой к Светлане Павленковой. Надежду распределили в Узбекистан, и она с большим юмором и сарказмом описывала местные нравы и свое положение училки неграмотных великовозрастных учеников, обуреваемых сексуальными проблемами. Никакой крамолы в письмах нет, но противно, что они читаются чужими глазами.

Ссылаясь на ст. 171 УПК, я опротестовываю изъятие всех вещей. Заявляю: *«Подобную выемку предметов считаю грубым нарушением Конституции Советского Союза, предоставляющую всем гражданам СССР свободу слова, печати. Считаю, что каждый советский человек имеет право устно и письменно выражать свои мнения и не может нести за это никакого наказания. Такое право предоставлено даже всем гражданам буржуазных государств.»*

Обыск, начавшийся в 13:20, заканчивается в 18 часов. Заканчивается довольно курьезно: один из понятых – сосед Иван Иванович Волков сказался неграмотным (после 53 лет Советской власти!), и за него ставит подпись другой понятой – Панов. (В 1968 году обыск готовили основательнее – понятых привезли «своих» из верхней части города, из элитного дома № 1 на пл. Минина.)

– Одевайтесь, поедете с нами.

На вопрос родителей, когда я вернусь, врут, как обычно: «Долго не задержим».

У подъезда сажают в черную «Волгу», зажимают с двух сторон и везут на Воробьевку. Там заводят в главное здание для оформления задержания. Кстати, только 23 октября прокурору области Сергееву М.А. сообщается об обыске, постановление о

мере пресечения принято тоже 23 октября. Утверждает его генерал-майор Горшков.

НАСЕДКА

После часового пребывания в кабинете Хохлова и моего отказа отвечать на вопросы меня переводят в КПЗ. Расположена она перед переходом из старого «исторического» здания в громадное новое. В ней уже находится один человек, худощавый, интеллигентного вида, при очках. Он пытается начать со мной беседу. Но после ночи в поезде и треволнений дня мне хочется только уснуть. Тем более что я понимаю: первый сокамерник почти стопроцентно должен быть «наседкой». Положив под себя на голые деревянные нары новый плащ, я уснул сном праведника.

Все первые дни после ареста я испытываю чувство облегчения. Во-первых, мне теперь нечего стыдиться, что я на свободе. Во-вторых, с меня сняты все моральные обязательства по организации сопротивления. В-третьих, все становится просто: я буду молчать, а остальное от меня не зависит. (Щемит только вина перед родителями).

Утром по подъему я не хочу идти на opravку. Но сосед говорит: «молодой человек, эта привилегия выпадает только три раза в день. Советую не отказываться».

Представляется он мне Викентием Петровичем. Рассказанная им история такова. Он – начальник строительства. У него обнаружилась большая недостача стройматериалов. Крал, видимо, прораб, а обвинения предъявили ему.

Поскольку прошло только четыре месяца после моего возвращения из стройбата (и это было учтено), я по достоинству могу оценить подробности его рассказа – противоречий нет.

– А вы за что?

– Не знаю. В 1968-м был исключен из университета за самиздат.

– А что это такое?

Сухо объясняю.

– А сейчас за что?

– Не знаю.

И опять лег спать. В этот день меня никуда не вызывают, «томят». Но на следующий день приводят к Хохлову. В кабинете сидит еще один человек. Это прокурор по надзору за следствием Г.П. Колесников. После моего отказа признать вину и давать показания мне предъявляют ст. 190-1 (190 прим).

– Ерунда, – вернувшись, нарочито небрежно говорю я соседу.

– Статья до трех лет. Жаль, лагерь бытовой.

– Ну что ж, Виталий, видимо, нам надо разучивать лагерные анекдоты.

И сразу же рассказывает несколько историй про Укроп Помидорычей, пытающихся быть интеллигентными в условиях лагеря. «Вы уж извините великодушно, а вашу паечку я съел».

На протяжении всех трех суток в КПЗ я отсыпаюсь. Сосед то и дело тормозит меня: «Виталий, хватит спать, давайте поговорим о чем-нибудь!»

Задача, поставленная перед ним, видимо, двоякая: стращать исподволь лагерем, разлагать морально, ну и, конечно, пытаться вытянуть какую-нибудь информацию. Выполняет он ее вполне грамотно. Человек начитанный, он для начала пересказывает мне рассказ Леонида Андреева «Бездна». (Юноша с девушкой гуляют в лесу, рассуждая о высоких материях. На них нападают хулиганы. Юноша трусит, убегает и прячется. Хулиганы насилуют девушку. Когда кавалер вернулся к ней и увидел, что она лежит без сознания, он, оглянувшись, снял штаны и сделал то же самое.) Вот ведь как бывает в жизни, слаб человек, резюмирует рассказ сосед.

Он постоянно напевает песенку Вертинского:

*Разве можно забыть ваши детские плечи,
Этот горький, заплаканный рот...*

Как бы между прочим, спрашивает: не знаю ли я, где можно переплести накопившиеся у него журналы «Америка». Хотя, казалось бы, перед перспективой лагеря, это не должно его заботить.

Вот меня вызывают на допрос, он начинает суетиться: «Меня, наверно, тоже вызовут. Надо подготовиться». И точно. Когда я возвращаюсь, он рассказывает о своем деле. Прораб не сознается, значит, сидеть нам обоим, может быть, в одном лагере. При этом губы у него лоснятся после вкусной еды.

Огрызком карандаша я нацарапал на откосе камеры строчки из стихотворения Некрасова:

*Не говори: забыл он осторожность,
Он будет сам своей судьбы виной.
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой,
Но любит он возвышенной и шире...*

Викентий Петрович очень заинтересовался надписью.

Нацепил очки. Поскольку надпись была сделана высоко, а в камере темновато, он просит меня прочесть написанное. «Да, одно дело – стихи, другое – молодая жизнь».

На третий день после безрезультатного допроса Хохлов объявляет, что мне предъявляется 70-я статья.

– Виталий, вы говорите, это до 7 лет? Это же только подумать – семь лет!

– Теперь, Викентий Петрович, нам не придется сидеть в одном лагере, я буду в политическом, в Мордовии. Может быть, в тюрьме пересечемся.

– Нет. У меня как раз сегодня все закончилось благополучно. Подлец прораб на очной ставке раскололся, рассказал, как и кому продавал материалы. Так что, скорее всего, меня быстро выпустят.

В это время мне приносят передачу от родителей. В ней отваренная утка, привезенная мной из Москвы. Я разламываю ее пополам, по-братски, и протягиваю соседу: – Берите, Викентий Петрович. – Что вы, что вы, Виталий! Не надо, меня ведь должны освободить, а вам – в тюрьму. – Ничего, ничего, берите! Мы ведь с вами пока заключенные и должны всем делиться.

И тут я увидел на его лице краску стыда.

Примерно через час меня с моей половиной утки опять сажают в черную «Волгу» и везут на Арзамасское шоссе, к воротам тюрьмы, напротив главного здания университета. В годы учебы я не раз слышал, как кондуктор объявляет: «Остановка «Университет». Кому в тюрьму, слезайте». Было очень смешно.

ХОРОШАЯ ТЮРЬМА.

МАЛЫЙ СПЕЦ, КАМЕРА № 13

Горьковская следственная и пересыльная тюрьма (СИЗО № 1 или УЗ-62) – несколько добротных кирпичных зданий. Главное из них в плане напоминает незавершенную свастику. Была построена в начале XX-го века на окраине Нижнего Новгорода, аккуратно к 300-летию дома Романовых. Число заключенных в разное время было разным. В 1971 году – сосчитано по пайкам хлеба – три с половиной тысячи. Корпуса и камеры населены по-разному: в следственных камерах по 2–4 человека, в так называемом «спортзале» – до 150, летом заключенные изнывают от жары и сидят там полуголыми.

В шутку местные сидельцы называют горьковскую тюрьму «Дача Морозова». Морозов, один из начальников, сделал много для благоустройства вверенного ему заведения: канализация, отопление. Вместо «параш» в камерах туалет – «толчок», кровати

– «шконки» не деревянные, с клопами, а металлические. Бывалые эки, видевшие всякие пересылки, о горьковской отзываются неизменно положительно: «Хорошая тюрьма, без параш, без клопов».

После вахты и унижительного осмотра: «Откройте рот, нагнитесь» – стрижка наголо и баня. Захват человека тюремной машиной ярче всего описан у Солженицына в «Круге первом», поэтому не буду повторяться. Гражданская одежда, правда, остается на мне. На второй день пребывания в СИЗО сделаны фотографии – фас и профиль, взяты отпечатки пальцев, у эков эта процедура издавна называется «играть на пианино».

Моей первой камерой на три месяца, вплоть до окончания судебного процесса и кассации становится камера № 13 отделения №24, т.н. малый спец (в отличие от большого). В шуточной стенгазете (на листе форматом А-4) «Солнце всходит и заходит» – почетный член редакции О. Бендер – я ее описываю так: «Это уютное помещение 2х4 со сферическим потолком представляет удачное сочетание романской простоты и современного комфорта. Здесь приятно жить и работать. И не боязно».

Небольшое окно расположено высоко в нише (мы ее использовали в качестве холодильника) закрыто решеткой и «намордником». Намордники – чисто советское приобретение, до революции на окнах были просто решетки. Сквозь щели намордника можно видеть полоску неба и тени пролетающих голубей. Желтый электрический свет не гаснет в камере никогда. Всякому засыпающему человеку хочется прикрыть глаза одеялом. Но – нельзя: «Руки поверх одеяла!»

Мой сокамерник Василий Стрельников – молодой парень с Бора. Статья – хулиганство, 206 ч.2. На улице Краснофлотской к нему, слегка поддатому, пристали две девицы легкого поведения, он их грубо отшил. На его беду у девиц оказался друмилиционер, который отвел его в участковый пункт в церковном здании (ныне это Храм Вознесения на Ильинке). По дороге и менту Василий что-то неласковое сказал. «Я думал, ну, оштрафуют, а тут...» История вполне правдоподобная.

Думаю, наседкой Стрельников не был. Просто надо было кого-то держать со мной в камере (в одиночке по закону нельзя) до суда. Из-за меня, видимо, и его простое дело специально затягивалось. Он только тяжело вздыхал. Ничего хулиганского в нем не было.

Друг с другом мы ладили сразу. Оба не курили, держали форточку открытой, в любую погоду выходили на прогулку, где старались делать зарядку или бегать. По очереди подтираем

полы. Выписываем книги из тюремной библиотеки, играем, без особого энтузиазма, в шахматы. Передачами, а их мы могли получать раз в месяц до 5 кг, делимся.

В соседних камерах сидят молодые «бакланы». Там табачный дым стоит коромыслом, от прогулок они часто отказываются. Мы ждем их с нетерпением. Прогулочные дворики малого спеца примерно 10 на 10 метров. Асфальт, бетонные стены с рельефной штукатуркой, сверху металлическая сетка. Скамейка. Встав на нее, можно увидеть крыши ближайших тюремных зданий, трубу завода. Зато вечное небо в постоянных переменах – над тобой, пусть и сквозь сетку.

В соседних двориках гуляют другие заключенные нашего корпуса, иногда это женщины, к нам доносятся их голоса. Они пытаются наладить связь, перебрасывая через стенку «коня». Надзиратель, прохаживающийся по дорожке поверх двориков, пресекает эти попытки. Отводя нас назад в камеру, он дурашливо кривляется и неизменно говорит: «Ну, как, прядок? Нормализация?» Ученое слово «нормализация» – газетный термин после событий в Чехословакии.

Карандаш и бумага в камере разрешены. Мне передали семь школьных тетрадей. Но записи в любой момент могут просмотреть и отобрать. Писем из СИЗО писать нельзя. На кроватях днем тоже нельзя лежать. Впрочем, запретная эта мера зависит от дежурного надзирателя. Еда? В стройбате она часто была не много лучше. Мутный чай отдает деревянной бочкой и совсем не напоминает этот благородный напиток. К неудовольствию корпусного, мы несколько раз пишем отдельные жалобы на плохое качество чая. Лучше он не стал.

Один раз камеру посетил с обходом зам. начальника тюрьмы по режиму, интеллигентного вида майор. Выслушал рапорт. – Почему все говорят: двое, трое заключенных, а не два или три? – По нормам русского языка так говорят применительно к живым существам, гражданин начальник. – На что жалуетесь? – На чай. И прогулка короткая. – Ну, режим поменять я не могу».

СЛЕДСТВИЕ. ГОД 70-Й и СТАТЬЯ 70-Я

Хотя в последний день на Воробьевке Хохлов показал мне бумагу со ст. 70, видимо, это был блеф, желание ошарашить как следует. Первые дни в СИЗО следствие ведется по ст. 190-1. Хохлов, закусив губу, внешне бесстрастно строчит вопросы, а я односложно отвечаю. Как и на допросах в 1968-м году, моя позиция неизменна: я готов сколько угодно дискутировать о своих взглядах, но по моральным соображениям называть лиц,

кому я давал или у кого брал самиздат, в том числе «Государство и социализм», я не буду. Мне и в голову не приходило, что можно вести себя иначе. Назвался груздем – полезай в кузов. В конечном счете, эта моральная позиция оказалась и самой прагматичной.

Ст. 70 официально была предъявлена 2 ноября, и все допросы с этого времени шли в присутствии прокурора Колесникова. Сутуловатый, белесый Колесников – участник войны, используя этот аргумент, пытается оказывать моральное давление. Я в ответ: «Вы ведь воевали с фашистами за свободу? Вот и я за нее».

Допрос протекает однообразно:

Вопрос: Кто давал вам произведения так называемого самиздата?

Ответ: Отказываюсь отвечать по моральным соображениям.

Вопрос: Кто и на какой машинке печатал вашу антисоветскую работу «Государство и социализм»?

Ответ: Отказываюсь отвечать по моральным соображениям.

Вопрос: Кому вы давали читать вашу работу?

Ответ: Отказываюсь отвечать по моральным соображениям.

И т.д.

4 ноября в камере был произведен предпраздничный шмон, изъяты мои записки о ходе следствия. На очередном допросе я заявил, что вообще не буду отвечать ни на какие вопросы, пока мне не вернут бумаги. После чего Хохлов и Колесников стали усиленно интересоваться состоянием моего здоровья: не болит ли у меня голова, хорошо ли я сплю и т.п. Намек на психушку был понят. На следующий допрос я приношу заявление.

«В связи с участвовавшими вопросами о моем здоровье хочу сообщить следующее. Чувствую себя хорошо, головных болей нет, сплю спокойно. Хочу отметить, что среди моих близких и дальних родственников нет людей с психическими заболеваниями (потом вспомнил – а ведь есть! – В.П.). А самое главное – всего несколько месяцев назад я вернулся из рядов Советской армии, где держать нездорового человека было бы, как вы понимаете, крайне негуманно». Отдаю Хохлову.

– Ну, как, такое заявление по существу?

Хохлов крикнул: да, это по существу.

Иногда между допросами случались перерывы. Оказывается, в эти дни Хохлов ездил в командировки в другие города и лично допрашивал свидетелей. Он и еще десяток следователей допрашивали в Горьком и еще в 15 (!) городах Союза моих друзей, бывших сокурсников, сослуживцев по стройбату, студентов, преподавателей и командиров. От Алма-Аты и Мариинска до Одессы и Ужгорода. В Горький для дачи показаний

вытребовали из армии с Камчатки Славу Хилова, из Киева – Игоря Гольдфарба, из Симферополя Владимира Барбуха. Все расходы за их недобровольные поездки и повторные вызовы будут потом взысканы судом с меня – в лагере и после освобождения – 430 рублей, примерно 4 средних зарплаты.

Всего по делу прошло 39 свидетелей, и никто из них не дал обвинительных показаний против меня. Читая некоторые из них, я шутил про себя: такие характеристики годятся для рекомендации в партию.

Но разве могли перевесить их показания такую, например, рецензию маститых идеологических работников:

«Рассуждая о новой революционной волне, автор приводит мысли о свержении в стране существующего строя. Об антисоветском, крайне враждебном нашему обществу характере этих взглядов не следует (!) писать подробно».

Зав. кафедры философии политехнического института

к.ф.н. Суханов

Зав. кафедры научного коммунизма политехнического института

к.и.н. Панкратов

Зав. кафедры русского языка и литературы ВПШ

к.ф.н. Гаранина

Никаких дополнительных материалов против меня у свидетелей Хохлов не наскреб. От очных ставок с Хиловым и Гольдфарбом я благоразумно отказался: меня устраивали их далекие от истины варианты показаний.

И – случилось почти невероятное: я выбил свидание с родителями. Во время следствия свиданий не дают, хотя такое право у следователя есть. Я завалил Хохлова заявлениями с требованием свидания, ссылаясь на УПК, декабристов, Чернышевского (Роман «Что делать?» написан в предварительном заключении, Некрасов получил свидание, забрал рукопись и опубликовал в «Современнике»). Со своей стороны свидания просили родители. Думаю, помогли не Чернышевский и призыв к милосердию, а чисто прагматические соображения. Хохлов просил родителей повлиять на меня («С ним совершенно невозможно разговаривать!» – жаловался он), мать обещала.

20-минутное свидание состоялось в комнате свиданий. Через стекло и под надзором Хохлова. Вид родителей сразу постаревших, осунувшихся, особенно матери, потряс меня, но только больше озлобил против КГБ. Ни мать, ни отец не уговаривали меня, а мой вид и состояние – как они говорили

потом – их немного успокоили. Они рады были видеть меня живым и невредимым, ведь в памяти у них был 1937-й год. Среди прочего я попросил их передать мне французский словарь и несколько книг. (6 января, уже после окончания следствия, в кабинете Хохлова мне были переданы с очередной продуктовой передачей трехтомник Есенина, томики Пастернака и Багрицкого, 7-й том Герцена, УПК, журнал «За рубежом» и «Литературная газета».)

Хохлову же свидание ничего не дало. Зато у него в руках находился главный козырь, который он выложил только в предпоследний день следствия. Это были показания Вали Юркиной, выданные у нее в КГБ, о попытке распространения мной «Государства и социализма» уже после возвращения из армии. Но и здесь я высмотрел зацепку: вновь отпечатанных страниц работы при обыске не было найдено. Нужно было что-то придумать.

МОЙ АДВОКАТ – ПУШКИН

Следствие приблизилось к концу, и в записке к родителям – через следователя, естественно, – я просил для участия в деле пригласить одного из московских адвокатов, имеющих допуск к политическим делам. К этому времени уже были известны имена нескольких юристов, которые достаточно смело вели защиту своих подопечных. (Моему отцу один из доброжелателей с Воробьевки приватно тоже сказал: «Ищите хорошего адвоката. Вашему сыну дадут 7 лет».)

Но почти все они как раз в эти дни участвовали в знаменитом ленинградском «самолетном деле» Кузнецова – Дымшица, которым грозила смертная казнь. Поэтому, несмотря на помощь друзей, родители из Москвы никого не смогли пригласить. На ознакомление с делом (ст. 201 УПК) отец нанял одного из местных юристов – А.А. Орлова. С 24 по 26 декабря, по несколько часов день, мы знакомились с делом.

С первого взгляда Орлов мне не понравился: холодные глаза, брюзгливое выражение лица, что-то следовательское в манерах. На мой вопрос, как нам вместе следует строить защиту, он ответил: – Я считаю, вам надо признавать вину и давать признательные показания. Статья-то ведь до 7 лет.

Ну вот, еще один чекист на мою голову! После ознакомления с делом я пишу: от услуг адвоката Орлова я отказываюсь.

– Ваши родители будут очень огорчены, – с нажимом говорит на прощание Орлов. Ну, да, будут огорчены, так как надо срочно искать другого адвоката. Но оказалось, что Орлов уже взял

авансом 250 рублей сверх официального гонорара и не подумал эти деньги вернуть.

15 февраля, за неделю до начала процесса, меня приводят в следственный блок, где мне представляется новый адвокат – Николай Федорович Пушкин. Знакомимся. Полноватый, сангвинического типа, подвижный говорун. Человек крепко поддающий, он, по этой причине, видимо, находился на дне адвокатского сообщества. Терять ему нечего.

– Ваш коллега советовал мне признавать вину и каяться. А как вы считаете?

Косясь на стены кабинета, он говорит:

– Я думаю, вам надо держаться избранной вами линии защиты. Конечно, я, человек партийный, и не могу разделять ваши взгляды. Но я уверен, что антисоветской направленности у вас не могло быть. У вас замечательные характеристики: секретарь комсомольской организации в техникуме, отец – коммунист. В своей студенческой работе по научному коммунизму вы сделали ошибочные выводы, я с ними не могу согласиться. Но ваши ошибки от неопытности, ведь вы были всего-то студентом третьего курса, и представляют искренние заблуждения. Вот на это я буду напирать в суде.

До начала процесса мы встречаемся еще 2–3 раза. Николай Федорович приходит с мороза. От него уютно пахнет портвейном. Он весел, шутит, настроен оптимистично, и поневоле его настроение передается мне, хотя я трезво понимаю, что он мало чем может мне помочь. Ну, прямо как у Льва Толстого в «Смерти Ивана Ильича»! К умирающему Ивану Ильичу приходит доктор: свежий, бодрый, жирный, веселый с выражением – что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас все устроим. Бодро потирает руки, говорит про мороз, и, кажется, что надо немножко подождать, пока он обогреется и тогда уж все исправит. Илья Ильич знает, что это обман, но невольно поддается ему.

Беседуем мы в следовательском кабинете, с оглядкой на стены, поэтому откровенничать не приходится. Но видно, что я ему явно симпатичен, он охотно мне поддакивает и поддерживает мою версию событий, мои аргументы: «Конечно, конечно, так и будем вести защиту!» Как бы под большим секретом он передает мне новогоднюю открытку от родителей. Думаю, ее передачу он все же согласовал с Хохловым.

На судебные заседания он опять приходит с запахом портвейна, дает мне на несколько минут полистать УПК, но по первому требованию ментов забирает кодекс, хотя его действия абсолютно законны.

Когда я заявляю протесты, он присоединяется к ним, но в целом держится робко. Противоречить прокурору ему не приходит в голову. Все его аргументы это то, что он услышал от меня. Именно их он приводит в прениях сторон. Свое выступление он заключает просьбой к суду ограничиться минимальной мерой наказания по ст. 190-1.

После суда Пушкин совсем исчезает. Две кассационные жалобы в Верховный суд РСФСР я пишу самостоятельно. Московский адвокат Боброва признала их толковыми, но удивилась, почему в их написании не участвовал адвокат.

13 апреля (в этот день над Горьким прогремела первая весенняя гроза) в Москве в Верховном суде мой приговор был изменен: 4 года по ст. 70 заменялись полутора годами по ст. 190-1. (После показаний Вали Юркиной дело развалилось, и, при нормальном судопроизводстве, следовало бы задержанного освободить. Но в СССР такое решение невозможно – иначе выходит, что КГБ и суд зря старались!)

14 апреля меня вызывают в следственный корпус. Радостный Николай Федорович с криком: – Победа! Виталий, наша победа! – бросается обнимать меня.

Конечно, я был рад. Рад за родителей, рад проколу КГБ, рад тому, что обломившись на моем деле, чекисты оставят в покое Женю Купчинова. Но одновременно был и огорчен: вместо политлагеря, где я надеялся встретить многих хороших людей, я теперь попадаю в уголовный.

Николай Федорович этого не замечает. Он торжествует: «Осталось каких-то 12 месяцев! Через год встретимся, посидим в ресторане!»

Когда через год я вернулся из ИТК и через какое-то время позвонил в коллегия адвокатов, мне там сухо ответили: «Пушкин у нас уже не работает».

БУМАГИ КЛОЧОК В СУД ВОЛОЧЕТ

*Начальнику управления внутренних
дел*

*Горьковского облисполкома
т. Левину И.Е.*

*На 21 января 1971 г. на 10 часов назначено к
слушанию уголовное дело по обвинению Помазова
Виталия Васильевича по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.*

*В связи с рассмотрением данного дела Горьковский
областной суд просит обеспечить охрану общественного
порядка в здании областного суда.*

В эти же дни в суд приходит курьезная телеграмма от Барбуха: = *выехать не могу. тчк. после тяжелой болезни жены нет грудного молока. тчк.* =

Я предполагаю, что суд продлится 2–3 дня и будет закрытым. Накануне первого дня в камере я пишу три одинаковые крохотные записки на листочках не больше билета в кинотеатр: «Передайте Вале Юркиной, пусть она говорит, как было на самом деле: что книгу она получила от меня перед моим уходом в армию». Скручиваю записки в тонкие трубочки так, чтобы можно было незаметно зажать их между пальцами правой руки.

Утром при подъеме меня забирают «Без вещей!» для этапирования в областной суд. В общий накопитель («отстойник») меня не сажают, а помещают отдельно в бокс («собачник») и держат в нем до посадки в милицейский фургон. Пройдя между автоматчиками с собаками на поводу, залезаю в автозэк. Здесь меня тоже сажают в отдельный узкий ящик – бокс. Милицейский фургон останавливается на задворках здания областного суда среди мусорных ящиков, битого кирпича, щебня. Забрызганная известкой дверь закрыта. Конвойный долго бегаёт за ключами. На мое счастье, почти весь январь 1971 года стояла оттепель, капало с крыш. Иначе я бы околевал в металлическом боксе без возможности движения.

По запутанным переходам, заставленным стремянками, ящиками, стеклом, меня с черного хода заводят в зал. Собственно, это маленькое служебное помещение с тремя столами и двумя парами скамеек. На совещание суд уходит за клеенчатую дверь с надписью «Партком». В углу плачет мать, единственный допущенный в суд представитель публики. Передавать еду (в день суда заключенного поднимают в 5 часов, в шесть он получает черпак пшенной каши на воде, и это – на весь день до вечера, когда в 8–10 часов он получит миску рыбной баланды) не разрешают, и даже оборачиваться к ней мне нельзя.

В «залу» ведет длинный Г-образный коридор, заткнутый на противоположном конце пробкой из гэбэшников и милиции.

В первый день охрана допускает оплошку: меня ведут по общему коридору, в котором толпятся мои родственники и друзья. Я радостно со всеми здороваюсь, обнимаю отца и сую в его непонятливую руку записку, потом за руку здороваюсь с братом Игорем и тоже сую записку. Конвой бросается к нам, но тут подбегает Светлана Павленкова и целует меня. (Жест этот, на

мой взгляд, вполне естественный, потом породил много толков.)

Я радуюсь: всех увидел и передал очень важные записки. (Умница Таня Батаева по просьбе родителей встретила на Автозаводе с Валею Юркиной, объяснила, как ей надо вести себя на суде, почему нужно отказаться от данных под давлением показаний.)

На все последующие заседания меня проводили в зал, пробив стену (!), не по основному коридору, а по переходам. Никто из публики увидеть и услышать меня уже не мог. Но конвойным – русским ребятам – уши не заткнешь. Постепенно от заседания к заседанию они все больше располагались ко мне. Краем уха я слышал их споры обо мне, которые велись шепотом.

СТЕНОГРАММА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

21 января – 2 февраля 1971 г.

Стенограмма составлена на основе записей, сделанных в зале суда. Чисто процессуальные моменты и связанные с ними вопросы, а также незначительные реплики опущены.

Экспозиция:

Шестеро конвойных солдат, два милиционера. Сугуловатый, с быстро бегущим назад лбом и белесыми щупающими глазами прокурор Г.П. Колесников. Узкогубый, с зимним победоносцевским лицом – судья Н.Е. Харитонов. Заседатели: М.И. Логиничев и К.И. Соловьев – один со восторженно-испуганным выражением только что разбуженного человека, за весь процесс он задал два-три вопроса, написанные ему на бумажке, к концу окончательно сконфузился и надел галстук; другой – осанистый с массивным лицом Алексея Толстого, в больших роговых очках, опираясь на палку, шествует всегда впереди суда, шумно дышит, бурно реагирует на инциденты, круто напирая на «о», задает вопросы и, осердясь, пристукивает палкой. Это он «объяснил» подсудимому, почему его судят закрытым судом: «Вы своИ идеи хОтите проПагандирОвать?! Нам публики не надО. Мы сами – нарОд!» На вопрос, к какому же слою, классу народа он себя причисляет, с невыразимым достоинством ответил: «Я – старый большевик!» Так мы и будем его именовать впредь.

Из обвинительного заключения явствует, что подсудимый «обвиняется в том, что в 1967–1968 гг. во время обучения на историко-филологическом факультете Горьковского университета

он систематически знакомился и занимался распространением антисоветской клеветнической литературы так называемого «самиздата»: «Письмо Раскольникову Сталину», Обращение «К мировой общественности», «Письмо 24-х школьников» и др.» «Под влиянием такой литературы Помазов написал и размножил в 1968 г. работу «Государство и социализм», направленную на подрыв и ослабление советской власти... и весной 1968 г. распространил ее в виде отдельной книги...»

«После возвращения из армии вновь принял меры к распространению своей работы...». «Обвиняемый... на протяжении всего следствия отказывался от дачи показаний, мотивируя отказ этическими соображениями и незаконностью своего ареста», «в содеянном не раскаялся», «пытался затянуть следствие подачей необоснованных ходатайств».

В течение двух дней при закрытых дверях разбирается сама работа. Потом отсутствуют вызванные в суд свидетели. 25-го января начинается допрос первых свидетелей.

Допрос свидетеля Барбуха В.Н.

Судья: Свидетель Барбух, почему вы не явились по первому вызову?

Барбух: Я уже объяснял в телеграмме: больна жена и трехмесячный ребенок.

Судья: Вы знаете, в чем обвиняется Помазов?

Барбух: Насколько мне известно, в написании работы «Государство и социализм». Впервые о ней я услышал в апреле 1968 года от студента нашей группы, члена университетского комитета комсомола Купчинова. Он сказал: «Помазов пишет интересную работу».

Судья: И вы не поинтересовались у самого Помазова, что он пишет?

Барбух: Нет. Я очень щепетилен в таких вопросах. Позднее первую часть этой работы мне дал в Ленинской библиотеке студент Калягин, охарактеризовав ее как «ценную, но спорную». Работа состояла из обширных выдержек из Маркса–Энгельса–Ленина и комментариев и рассуждений автора. В выводах, которыми Помазов сопровождал эту часть работы, он утверждает, что наша советская действительность не соответствует положениям классиков марксизма в социалистическом обществе.

Судья: Сколько экземпляров работы было у Калягина?

Барбух: Не помню.

Судья: На допросах в 1968 году вы отвечали по-другому.

Барбух: Сейчас я уже не помню.

Прокурор: Кто вам печатал самиздат и что именно?

Барбух: По моей просьбе печатала Валентина Юркина. Что конкретно – сейчас я не помню.

Судья: Имели вы с Помазовым разговор о работе?

Барбух: Нет. Не успели. Вскоре начались вызовы в КГБ, потом я, Купчинов и Помазов были исключены из университета. Помазова сразу призвали в армию, а я уехал домой, в Симферополь.

Допрос свидетельницы Юркиной В.А.

Юркина: Работу «Государство и социализм» я получила от Помазова в мае 1968 года на хранение...

Прокурор: Позвольте! На допросах в КГБ вы говорили, что получили работу в 1970 году, чтобы печатать ее!!

Юркина: Я говорила неправду.

Прокурор: Почему вы лгали?!

Юркина: Я говорила в КГБ сначала то же, что говорю сейчас, но мне не верили...

Прокурор: С вас брали подписку за ложные показания?

Юркина: Да.

Прокурор: Почему же тогда вы лжете? И какие ваши показания изволите считать правдой?!

Юркина: Правда – то, что я говорю здесь. Я говорила это и в КГБ, но эти показания не записывали. Требовали сказать, что я брала работу в 1970 году: «Все равно мы докажем это, и вам будет хуже». В этот день я вышла из больницы. Меня допрашивали 10 часов подряд, отвели в камеру и на другой день снова допрашивали 10 часов. У меня было плохо с сердцем. Мне говорили: «Мы знаем, что вы печатали!...».

Прокурор: Кто вам поверит! Что вы сочиняете!

Юркина: Я не могу доказать – это не записывалось, но я говорю правду.

Прокурор: Ваши показания в КГБ больше похожи на правду.

Юркина: Напротив. Они даже плохо согласовываются друг с другом. У меня и машинки-то не было...

Прокурор: Почему же вы сказали неправду?

Юркина: Я устала. Мне стали задавать такие вопросы, которые как бы содержали в себе ответы. А потом по этим вопросам составили связный текст.

Прокурор: Но ведь вы подписывались под тестом!

Юркина: Да, я подписывалась... я боялась...

Прокурор: Почему вы там боялись, а здесь не боитесь?

Юркина: Потому что там мне диктовали, а здесь спрашивают.

(Прокурор еще долго пытается каверзными вопросами

«уличить» свидетельницу, но безрезультатно – Юркина, глотая одну таблетку за другой, продолжает стоять на своем.)

Прокурор: При обыске в 1968 году вы выдали «Письмо Раскольниковца», «Последнее слово Буковского», «Крысы режима» и другой самиздат. Кто вам давал эту литературу?

Юркина: Володя Барбух.

Прокурор: Почему же через несколько дней после обыска вы снова взяли самиздат?

Юркина: Я не считала книгу Помазова самиздатом и не собиралась печатать ее.

Прокурор: Сколько раз вы виделись до этого с Помазовым?

Юркина: Два раза.

Прокурор: И этого оказалось достаточным, чтобы вы взялись хранить работу?

Юркина: Да. Он произвел хорошее впечатление.

Судья (обращаясь к подсудимому): Вы что, согласны с оценкой деятельности Сталина, данной в письме Раскольниковца?

Помазов: Да.

Судья: Значит, решения пленума 1957 года вас не удовлетворяют, для вас не закон?

Помазов: Решения пленумов выражают только точку зрения руководства партии на тот или иной вопрос, но не являются еще законом. Но были и другие решения, например решения XXII съезда.

Судья: Вы знакомы с оценкой деятельности Сталина, данной в «Правде» в 1969 году?

Помазов: Да. Но мне ближе оценки XXII-го съезда.

Судья: Да что, собственно, вас так волнует культ личности! У вас в семье ведь никого не репрессировали!

Помазов: Никого. Но нельзя обходить молчанием период, когда в отношении миллионов людей была нарушена элементарная законность...

Судья: Да вас-то что, собственно, это волнует! Пусть эти люди сами за себя скажут!

Помазов: Они уже никогда и ничего не смогут сказать. Они мертвы и даже не все реабилитированы.

Судья: Кого надо – реабилитировали!

Помазов: Я считаю, что незаконно репрессированы все.

Судья: И Троцкий? И Зиновьев? Враги народа?

Помазов: Все.

Судья: Чем, собственно, вас Советская власть обидела? Учились бы себе в университете...

Помазов: Я хотел только, чтобы и дети колхозника, получающего ныне 12-рублевую пенсию, имели эту возможность.

Судья: Вот-вот! А что вы сделали для этого?

Помазов: Немного: написал эту книгу, отбыл два года в строительных батальонах и, вот, стою перед вами.

Допрос свидетеля Левина А.Я. (доцент кафедры философии ГГУ)

Судья: Потрудитесь встать перед судом как следует – здесь вы не у себя на занятиях. Объясните, почему вы не явились по первой повестке.

Левин: Я не получал ее: в этот день не был дома.

Судья: Что вы можете сказать по делу?

Левин: Зимой 1967–68 годов я несколько раз присутствовал на заседаниях дискуссионного клуба, где среди других выступающих активно выступал и Помазов. Темы? Обсуждение фильма «Твой современник», «О роли интеллигенции в современном обществе», «Экзистенциализм». Но, как выразился один из наших преподавателей: «Я три раза прихожу – темы разные, а кончается все вопросом о демократии».

Судья: На допросе в КГБ вы говорили, что слышали высказывания Помазова о цензуре?

Левин: Да, хотя точно не помню, что говорил именно Помазов, так как было несколько аналогичных выступлений, в которых говорилось о существовании в нашей стране цензуры и о том, что ее не должно быть, что Ленин писал только о временном ограничении свободы слова.

Судья: Ну и что вы на это отвечали?

Левин: Мы, преподаватели, конечно, дали должный отпор. Суть наших ответов сводилась к тому, что в современных условиях отменять цензуру нельзя. Помазов или еще кто-то другой приводил высказывания Маркса о цензуре.

Судья: О какой цензуре говорил Маркс?

Левин: О прусской цензуре.

Судья: О прусской цензуре! Следовательно, Помазов сравнивал нашу цензуру с прусской?!

Левин: Нет, он просто зачитывал Маркса.

Судья: Что говорил Помазов об интеллигенции?

Левин: Он рассматривал интеллигенцию как особый класс, выросший в условиях научно-технической революции. Что конкретно он говорил, я не помню.

Судья: А о культе личности?

Левин: Я хорошо помню только, что Помазов задавал вопрос «В чем заключается гарантии, что репрессии не повторятся?» Да, в чем гарантии.

Прокурор: На допросе в КГБ вы говорили, что с Помазовым

«было трудно спорить». Почему?

Левин: Из-за недоверия к старшему поколению. Я даже сказал: «Если вы не хотите слушать старших, то зачем я здесь?».

Старый большевик: Кто сОставлял прОграмму дискуссииОннОгО клуба?

Левин: Я не знаю.

Старый большевик: Ну, как же это получается! Вы – представитель кафедры философии, не знаете, кто распоряжается в клубе? Эдак всякий будет говорить, что ему вздумается! Очень странно!

Левин: Видите ли, этот клуб студентов существовал от комитета комсомола, и, в принципе, конечно, каждый мог высказаться. Но всегда присутствовали преподаватели, которые могли дать квалифицированный ответ.

Старый большевик: Ну и что же этот клуб, существует до сих пор? И студенты высказываются?

Левин: Нет, нет, с 1968-го не существует, это я могу вам точно сказать.

Допрос свидетеля Морохина В.Н. (декан историко-филологического факультета ГГУ)

Судья: Свидетель, встаньте как следует и не опирайтесь на стол. Не забывайте, где вы находитесь. Что вы можете сообщить суду?

Морохин: Помазов учился на факультете с 1965 года. Перед поступлением учился в техникуме, экстерном сдал за 10 классов на серебряную медаль, работал на заводе. С первого курса по своим способностям был на голову выше однокурсников. За успешную учебу был переведен на индивидуальный план и свободное посещение лекций...

Судья: Вы слышали о работе Помазова «Государство и социализм»?

Морохин: Да, да. В мае 1968 года после исключения Помазова собирался партактив и деканы всех факультетов. Нас информировали, что некоторые студенты читают и размножают самиздат – клеветническую антисоветскую литературу, а Помазов написал работу: то ли «Государство и социализм», то ли «Социализм и государство».

Судья: А раньше о работе Помазова вы слышали?

Морохин: Нет.

Судья: Что же это вы не знаете, чем занимаются ваши студенты?

Морохин: Но студент бывает на факультете 6–7 часов, а что он делает в остальное время, я не могу знать. Кроме того,

хозяйственные заботы: то крыша течет, то ремонт. У меня их 500 человек, разве уследишь, что каждый делает. Конечно, контролируем по возможности, но руки до всех не доходят.

Судья: А на заседаниях дискуссионного клуба вы не присутствовали?

Морохин: Нет, ни на одном. Клуб в главном здании университета, а тут еще свои дела... Нет, не присутствовал.

Судья: Странно, странно. А у вас на факультете не было дискуссионного клуба?

Морохин: Нет, нет. У нас не было. Просили, но мы не разрешили.

Прокурор: Что вы можете сказать о личности подсудимого?

Морохин: Я филолог, Помазов – историк, ни одной лекции я у них не читал...

Прокурор: Но Помазов был редактором газеты, за идеологический сектор отвечал, в приемной комиссии участвовал. И вы с ним нигде не сталкивались?

Морохин: Только по административной линии.

Прокурор: Значит, о каких-либо нездоровых высказываниях Помазова сведения до вас не доходили?

Морохин: Нет.

Прокурор: И вы не можете утверждать, что он «высокомерно вел себя с товарищами», «болезненно реагировал на замечания преподавателей»?

Морохин: Нет.

Прокурор: Но я зачитываю имеющуюся в деле характеристику, которую подписывали вы. Это ваша подпись?

Морохин: Да, да. Сейчас я припоминаю. Но дело вот в чем: составляла характеристику секретарь парторганизации факультета Воробьева. Она историк и лучше знает историков. Я ей доверяю.

Помазов: Свидетель Морохин, вам давали читать произведения самиздата, названные вами антисоветскими?

Морохин: Нет. Характеристику этих произведений мы узнали от представителей госбезопасности. Безусловно, мы доверяем им.

Допрос свидетеля Гольдфарба И.С.

Судья: Почему вам приходится посылать три телеграммы, чтобы вы явились в суд?

Гольдфарб: Меня не было в эти дни в Киеве. Я ездил в Новосибирск.

Судья: Зачем?

Гольдфарб: По личным делам.

Судья: По каким личным делам?

Гольдфарб: По сугубо личным.

Судья: Знаете ли вы, в чем обвиняется Помазов?

Гольдфарб: Да. Дело в том, что Помазов написал работу...

Судья: Расскажите о вашем знакомстве с Помазовым.

Гольдфарб: С Помазовым я познакомился в дискуссионном клубе. Он там выступал вместе с другими историками. Встречались в Ленинской библиотеке, в университете. Работу он дал по моей просьбе. Многие положения ее показались мне спорными, но антисоветской ее не считаю. Обсудить мы ее не успели, так как Помазова я видел после этого только один раз – в вестибюле Управления Госбезопасности.

Прокурор: В протоколе 1968 года содержится ваше признание, что переданные Помазовым два экземпляра предназначались для тайной отправки в Москву. На следствии в 1970 году вы утверждаете, что разговора о переправке работы в Москву не было?

Гольдфарб: Да, такого разговора не было.

Прокурор: Вас предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний. Какими же вы прикажете считать показания 1968 года?

Гольдфарб: Тогда я был в болезненном, нервном состоянии. Сейчас я еще раз утверждаю, что разговора о переправке книги в Москву не было.

Прокурор: Все-таки сколько же экземпляров работы вы получили?

Гольдфарб: Один.

Прокурор: А в 1968-м говорили – два! Два или один?!

Гольдфарб: Один экземпляр. С ним было несколько разрозненных листов второго экземпляра.

Судья: Какого цвета был шрифт того и другого экземпляров? Они были напечатаны через черную или красную копируку?

Гольдфарб: Я не могу этого сказать. Я дальтоник.

Судья: О политике с Помазовым вы разговаривали?

Гольдфарб: Нет. Мы говорили о поэзии Ахматовой, философии, Эйнштейне, экзистенциализме...

Старый большевик: Как же вы не касались пОлитики, раз говорили о сОциализме!

Гольдфарб: Мы говорили об экзистенциализме. Это такое философское течение.

Прокурор: Почему вы отдали папку с работой Помазова Ворониной?

Гольдфарб: Она подруга Тамары – девушки, с которой я дружил. Тамаре не отдал потому, что у нее могли сделать обыск.

Прокурор: Вы не опасались, что Воронина может отнести

работу в органы КГБ?

Гольдфарб: Нет. У нас это не принято.

Прокурор: Что вы еще отдали Ворониной?

Гольдфарб: Папку с самиздатом: письмо «К мировой общественности», «Последнее слово Буковского» и другие...

Прокурор: И «Новый класс» Джиласа?

Гольдфарб: Да, и Джиласа.

Прокурор: Эти вещи давал вам ваш научный руководитель Тавгер?

Гольдфарб: Да. Но все это не имеет никакого отношения к Помазову.

Прокурор: Где вы сейчас работаете, учитесь?

Гольдфарб: После исключения в 1968 году с 4-го курса «За поведение недостойное звания советского студента» был призван в армию и только в конце прошлого месяца демобилизовался. Пока не работаю, ухаживаю за больным отцом.

Судья: Вы свободны. Можете идти.

Гольдфарб: Я хочу остаться в зале.

Судья: Суду вы не нужны. Покиньте зал.

Гольдфарб: Согласно закону я имею право остаться в зале суда после дачи показаний!

Судья: Идите, или я прикажу вывести вас.

Помазов: Я решительно протестую против вывода свидетеля! Согласно УПК он имеет право оставаться в зале.

Адвокат: Я присоединяюсь к протесту своего подзащитного.

Судья делает указание милиционерам, Гольдфарба уводят.

Допрос свидетельницы Ворониной В.В.

Воронина: В начале мая 1968-го года студент нашей группы Игорь Гольдфарб попросил меня взять на хранение две папки с листами машинописного текста. Я взяла. Папки лежали в столе. Недели через две я узнала, что в нескольких институтах Горького появились листовки, и что нескольких наших студентов-физиков, в том числе и Гольдфарба вызывали в КГБ.

Судья: От кого вы узнали о листовках?

Воронина: Все это говорили. На комитете комсомола нас информировал секретарь Китаев.

Судья: Ну и что же вы сделали?

Воронина: Сожгла хранившиеся в папке листы.

Судья: Почему?

Воронина: Я испугалась...

Судья: За кого? За Гольдфарба? За себя?

Воронина: Нет. За отца. Он у меня старый коммунист.

Судья: Почему же вы не отнесли папки в КГБ?

Воронина: Не считала нужным.

Старый большевик: Ну, как это так! Повсюду разговоры об антисоветских листовках, Гольдфарба вызывают, а вы сожгли папки – и концы в воду?! Это же полная потеря бдительности!

Воронина: Совершенно верно. Я не имела бдительности.

Судья: Читали вы листы?

Воронина: Нет.

Судья: Даже когда жгли?

Воронина: Я только мельком просмотрела. Там было много высказываний Маркса, Ленина и особенно бросилось в глаза критика Сталина. Я поняла, что опасно хранить такую литературу...

Судья: ...и сожгли?

Воронина: Да, сожгла.

Старый большевик: Неправдоподобно как-то все это получается, не верится!

Воронина: Мне и в госбезопасности не верили, но это правда.

Судья: Ну и что же решила комсомольская общественность, когда стало известно о вашем поступке. Что решило курсовое бюро?

Воронина: Я сама была секретарем курсового бюро. Решением комитета комсомола меня исключили с формулировкой «за политическую беспринципность».

Допрос свидетеля Алексеева В.А.

Судья: Свидетель Алексеев, вы студент университета?

Алексеев: Нет. Весной 1970 года я исключен с 3-го курса истфака по частному определению суда над Павленковым Капрановым и другими с формулировкой «За недостойное поведение, несовместимое со званием советского студента».

Судья: Где вы работаете?

Алексеев: Кочегаром в ЖЭК.

Судья: Почему приходится прибегать к приводу вас в суд?

Алексеев: А уезжал на месяц к родителям и повестку не получал.

Судья: Подсудимого вы знаете?

Алексеев: Да. С Помазовым учился на одном факультете. Он на 3-м курсе, я – на 1-м. Впервые увидел на комсомольском собрании факультета. Выбирался новый состав бюро. Все были недовольны старым секретарем и требовали избрать Помазова. Лично с ним не знаком.

Судья: За что исключен из университета Помазов, знаете?

Алексеев: Да, за работу «Государство и социализм».

Судья: Откуда знаете?

Алексеев: Так информировал нас в 1968 году представитель КГБ Савельев. Он назвал работу антисоветской.

Судья: Кто дал вам изъятый у вас экземпляр?

Алексеев: Студент Вячеслав Хилов, однокурсник Помазова. Хилова я знаю, так как он был в составе приемной комиссии, которая принимала у меня экзамен. Потом, как-то еще на 1-м курсе он узнал о моих спорах на семинарских занятиях по истории КПСС, подошел ко мне и сказал: «Зачем тебе это надо? За это уже не одного выгнали».

Судья: Как Хилов охарактеризовал работу?

Алексеев: Сказал, что очень интересная вещь.

Судья: Где он передал вам работу?

Алексеев: На факультете.

Судья: Когда?

Алексеев: В мае 1969 года.

Судья: Почему же вы не выдали книгу органам госбезопасности, зная ее оценку?

Алексеев: Я не собирался распространять ее, а просто хотел с ней познакомиться.

Судья: Кому вы давали книгу?

Алексеев: Как-то один из наших студентов увидел ее у меня. Заинтересовался и взял читать.

Судья: И вы просто так отдали? И ничего не сказали?

Алексеев: Да, просто отдал и ничего не сказал.

Старый большевик: «Просто дал», «просто взял и ничего не сказал»! Как это получается?! Едва знакомы с человеком – берете у него антисоветскую книгу и даете первому знакомому?

Алексеев: Почему-то здесь, в суде, представляют, будто мы прятались, конспирировались. Да нет же! Все вещи самиздата читались и передавались, как и любая другая литература.

Судья: Кто еще читал работу?

Алексеев: Студент 5-го курса Жильцов. Он спросил: «О чем эта работа?» Я сказал: автор доказывает, что после смерти Ленина наше государство перерастает в бюрократическое, тоталитарное, а теория коммунизма – в догму...

Судья: Ну и что ответил Жильцов?

Алексеев: «Это не надо и доказывать».

Прокурор: Что вы выдали сотрудникам КГБ при обыске кроме работы «Государство и социализм»?

Алексеев: «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе» Сахарова.

Прокурор: Где вы хранили эту литературу?

Алексеев: Дома, под диваном.

Прокурор: Что вам сказал Хилов, когда узнал, что вы выдали книгу?

Алексеев: Сказал: «Дурак».

Допрос свидетеля Помазова В.А. (отец подсудимого)

Судья: Вы член партии?

Помазов: Да, с 1942 года 10 лет был секретарем заводской парторганизации.

Судья: Значит, вам, как секретарю, приходилось работать с молодежью?

Помазов: Да, конечно.

Судья: Как же это получается? Вы воспитываете молодежь, а мы судим вашего сына за антисоветскую пропаганду?

Помазов: Видите ли, Виталий учился всегда отлично, преподаватели и друзья отзывались о нем хорошо. Он был секретарем техникумовской комсомольской организации, в университете...

Судья: Вы слышали о его работе «Государство и социализм»?

Помазов: Да, меня информировали в КГБ в 1968 году.

Судья: А до этого вы знали, что он пишет?

Помазов: Нет.

Судья: После исключения в 1968 году разговаривали вы с сыном, пробовали убедить его?

Помазов: Но, во-первых, мне трудно с ним спорить: он больше знает. Во-вторых, его тогда сразу же взяли в армию. Повестка пришла на второй день после исключения.

Зачитываются показания Хилова В.М.

Поведение Помазова в университете я бы назвал безупречным. Работу «Государство и социализм» он дал мне по моей просьбе в личное пользование. Распространять не просил. Некоторые положения ее мне кажутся спорными, но антисоветской ее не считаю. Никаких критических замечаний автору я не высказывал. Помню только, что советовал дополнить экономическую часть. Предъявленный экземпляр я действительно дал студенту Алексеву. Почему не взял обратно, не помню. Что я сказал Алексеву, узнав о выдаче работы? Что-то грубое. Кажется, – «дурак».

Зачитываются показания Дудичева В.М. (однокурсник Помазова, позднее инструктор Советского РК ВЛКСМ, во время процесса – мастер кирпичного завода)

Помазова я знал как эрудированного студента. Выделялся своей подготовленностью на семинарских занятиях по

теоретическим вопросам. Усиленно изучал Маркса, Ленина. О Ленине отзывался положительно, с уважением, часто оперировал выдержками из его произведений. Но политику партии после 1924 г. понимал не совсем правильно, особенно резко выступал против личности Сталина. Доказывал, что мы в своем экономическом развитии отстаем от развитых западных стран. При этом ссылаясь на данные, опубликованные в советских изданиях. Говорил о нарушении ленинского принципа, по которому зарплата советских и партийных служащих не должна превышать зарплату рабочего. Лично он честный человек.

Судебные прения (резюме)

Прокурор Колесников Г.П.: ...Граждане судьи! Я рассматриваю действия подсудимого как особо опасное преступление, направленное на подрыв и ослабление Советской власти. Работа «Государство и социализм» носит явно антисоветский характер. Распространение Помазовым работы среди других лиц подтверждено показаниями свидетелей и самого подсудимого. Подсудимый не считает свою работу антисоветской, отказался назвать лиц, получивших его работу, не признал себя виновным и даже здесь, в суде, продолжал пропагандировать свои антисоветские измышления. Все это усугубляет его вину. Действия подсудимого следует квалифицировать ст. 70 ч. I. УК РСФСР. Я прошу суд назначить мерой наказания лишение свободы сроком на 5 лет.

Защитник Пушкин Н.Ф.: Работа носит теоретический характер. Она не была предназначена для нелегального распространения – брошюра вышла под фамилией автора на титульном листе, была предназначена для обсуждения ее студентами и преподавателями в дискуссионном клубе. С работой ознакомилось всего несколько человек, которым она была дана по их просьбе. Хотя многие положения ее ошибочны, автор не имел цели подрыва и ослабления Советской власти. Работа написана два года назад. За изготовление и передачу ее другим лицам автор был уже наказан в 1968 году – исключен из комсомола и университета и направлен в нестроевую часть. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, факта нового распространения работы в 1970 году не было. Прошу суд ограничиться минимальной мерой наказания по ст. 190-1 (денежный штраф).

В последнем слове подсудимый виновным себя не признал, выступление прокурора назвал речью «озлобленного человека», выводы – противоречащими собранным по делу доказательствам.

Зачтение приговора. Происходит уже в настоящем зале областного суда, поблескивающим позолотой тяжелых литых гербов и мрамором столов.

Сначала в зал пускают публику: родственников, нескольких друзей, судебных. Конвой из шести солдат на этот раз остается за дверью. От публики подсудимого отделяет только шеренга раскормленных эмвэдэшников. Он улыбается и машет рукой.

«Не поворачиваться! Не поворачиваться!»

«Встать! Суд идет!»

«Именем Российской Советской Федеративной... судебная коллегия приговорила: ПОМАЗОВА Виталия Васильевича признать виновным по ст. 70, ч. I. УК РСФСР, на основании которой подвергнуть его лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительно-трудовой колонии строгого режима...»

Тихо-тихо. Только слышна капель первой в этом году оттепели.

22 февраля 1971 г.

После отказа Юркиной от своих досудебных показаний, т.е. после того, как из обвинительного заключения выпал главный аргумент – распространение книги в 1970-м году, судебное заседание прерывается на три дня. Суду надо что-то придумать: дело разваливается! Получается, что в 1971-м меня судят ровно за то, за что исключили из университета в 1968-м и на два года изолировали в стройбате. Конечно, у КГБ есть многочисленные оперативные данные прослушки и просмотра, но в суд их не предъявишь! Поэтому в суд вызывают дополнительно свидетелей: декана Морохина и преподавателя философии Левина. Только в пятницу, 29 января состоялось очередное заседание, 1 февраля – прения сторон и последнее слово, 2-го – вынесение приговора.

Зачтение приговора проходит в открытом режиме. Публики довольно много: кроме родственников и друзей много работников суда и посторонних. Конвой не разрешает оглядываться, но я все равно вижу родителей, брата Евгения, Женю Купчинова, Галю Кузьмину (ее в рабочее время откомандировали от отдела, чтобы она потом все рассказала) и многих других. Хотя приговор вполне ожидаемый, все равно холодная лапа сжимает сердце.

ОТ ПРИГОВОРА ДО КАССАЦИИ

После приговора Василия Стрельникова в камере я уже не нахожу. Нового сокамерника не подсаживают. Но я не протестую.

Мне есть чем заняться. Пишу две кассационные жалобы, в школьной тетради записываю сосвежа стенограмму процесса и читаю книги. Ну, где как не в тюрьме читать «Воскресенье» и «Войну и мир»! По моему заказу приносят и «Дон Кихота» – дореволюционное издание со штампом «Тюрьма НКВД».

Люди, непривычные к умственному труду и размышлениям, тяжело переносят заключение в малолюдной камере, тем более – в одиночке. Им нечем занять себя. Придумываются всякие игры из спичек, из мякиша хлеба. Самодельные карты. И – «Скорее бы в лагерь!»

Но и я начинаю испытывать приступы тоски. Пока шло состязание со следователем, был некий азарт игры, уверенность, что ты все делаешь правильно.

После суда понимаешь: как бы ты умно себя ни вел во время следствия, какие бы разумные аргументы ни приводил в судебном заседании, игра все равно идет в одни ворота. Сколько хотели дать срока, столько и дали. (Впрочем, нет, веда я себя по-другому, начин дават показання – и себе бы сроку добавил и других посадил. С точки зрения КГБ, я, безусловно, свои 7 лет заслужил не меньше, чем Павленков и Капранов: написание «антисоветской» работы, попытка создания нелегальной организации, распространение самиздата и отказ от дачи показаний.)

Более всего жжет боль за родителей. Сколько я доставил им горя. До суда и перед кассацией мой отец написал несколько подробных заявлений Генеральному прокурору СССР, в Верховный суд РСФСР, на очередной 24-й съезд партии. Он верил, что именно это помогло при кассации, я его не разочаровывал. Перед судом в Горьком и перед кассацией он неоднократно ездил в Москву нанимать адвокатов. Поэтому кассации я рад не столько за себя, сколько за родителей.

После кассации я имею право на свидание. Подписывает разрешение на свидание судья Харитонов – я еще числюсь за судом. Когда он узнает от матери об изменении приговора Верховным судом, то возмущается: «Это несправедливое решение!»

На свидание я беру, на всякий случай, тетрадку с записью судебного процесса. И мне удастся ее передать! Конечно, если бы свидание проходило в политической зоне, ничего бы не вышло. Но и в тюремной комнате свиданий стол разгорожен высоким стеклом (пластиком), под столом сплошная перегородка, в торце восьмиметрового стола сидит и зорко наблюдает за всем надзиратель.

Меня привели в комнату свиданий, когда он выводил оттуда

очередную партию родственников, чтобы пригласить другую. Напротив меня, за перегородкой остались только двое: парень из хозобслуги с мамой-старушкой в плисовом салопчике. У нее был такой благостный, добрый вид, что я решил: эта не предаст. Быстро обогнув стол, я сунул ей тетрадь и выпалил: «Сейчас напротив меня сядут мои родители. Передайте им после свидания эту тетрадь!» Старушка испуганно посмотрела на сына, он ей кивнул. Я вернулся на место. Вся операция заняла несколько мгновений.

Надзиратель ввел новую партию родственников. Отец с матерью сели напротив меня, рядом со старушкой, которая поглядывала на них. Перебивая шум голосов, я сказал им: «Возьмите при выходе у бабушки тетрадь». О суде и следствии у меня других выражений, кроме как «фашисты» не было. Родители успокаивали меня. После кассации они воспрянули духом. «Потерпи, сынок, только год потерпеть осталось».

Через день меня перевели в общую камеру человек на двадцать. Первое впечатление: все сидящие здесь самые обычные люди, которых ты ежедневно встречаешь в быту, на улице, на производстве. Кража у государства при социализме простым народом таковой не воспринималась. Почти все «несли» что-нибудь с производства. Но одного из ста «несунов» сажали.

Вот старик. За два мешка отрубей с мякиной (8 рублей) получил с приятелями на троих 1, 1,5, 1,5 года. Овсянников, 33-летний рабочий, унес с завода набор слесарных инструментов. Три года, направляют на «химию» (на стройки народного хозяйства). Поляков Евгений – два с половиной года за вынос железок с Автозавода. Юра – тунядец. Не работал четыре месяца. «Брат у меня коммунист, работает в автопарке, пошел и заявил, что я тунядец». Коля – хулиган (ст. 206). Стащил у председателя колхоза кожаные перчатки. Тот позвонил по телефону в милицию. Тогда Коля взял и закинул телефон в реку.

Второе наблюдение – все настроены резко антисоветски. Поэтому мое обвинительное заключение и приговор зачитали еще до лагеря. Из «моего» Есенина восторженно цитируют:

*Да, время. Ты не коммунист?
– Нет. – А сестры стали комсомолки,
Такая гадость, просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки...*

Вообще о «коммуняках» говорят только презрительно. О несправедливости власти – как о чем-то само собой разумеющемся.

В камере в ходу грубые развлечения. Устраивают «велосипед» – между пальцами ног спящего втыкается самокрутка и поджигается. Заставляют приседать по 150 раз, выпивать 2–4 чайника воды и т.п.

Коноводит Юра Самозванец. Горластый, жеребчливый, с фиксами. Работал в овощном магазине. В камере он главный устроитель «самосвалов». Переливает у постели спящего из кружки в кружку воду: «Поссы, Гена, поссы!» И так полчаса. Гену, по кличке Арзамас, посадили мать с женой.

Большинство в камере охотно ходит на хозработы. Чистим картошку. Бригадир – Юра Самозванец, выковыривая глазки, травит скабрзные анекдоты.

С особым удовольствием ходим на разгрузку хлеба.

Вечер. Огромная луна. Под арками голубые тени. Теплая плоть и запах свежeweпеченного хлеба. На хлебозаводе всегда кладут в машину дополнительно несколько белых буханок или батонов. Законная доля разгрузчиков. Засовываем хлеб за пазуху.

В очередной раз разгрузка днем. Как впервые, ярко, выпукло видишь красные кирпичные здания, белую стену, голубое небо, верхушки деревьев на Бугровском кладбище, сизый верх тельешки.

Но через два дня, 9 мая, меня отправляют на этап. Рано утром: «С вещами на выход!»

Спускаюсь в муравьиную кучу отстойника. Меня уже не отделяют от всех, и я могу наблюдать и слушать в толпе весьма колоритных людей. Кроме «несунов», хулиганов и бомжей здесь много людей с тяжелыми статьями. От грабителей до убийцы-расчленителя Маркизова (Полноватое и бледное от долгого тюремного сидения лицо, папка с рисунками, выполненными карандашом и ручкой (портрет Есенина до сих пор хранится у меня), – и примитивное мышление). Тут и зэки-долгосрочники, едущие на пересылку. Среди них преобладают два типа. Одни взрываются как порох от любого случайного слова, открытые части тела их обычно в коросте, они ожесточенно расчесывают их. Другим – хоть кол на голове теши, бровью не поведут.

Все эти десятки людей в течение нескольких часов бродят с места на место, толкуют, курят, ссорятся. Стриков мало. Зато есть 13–14-летние мальцы. «За что ты здесь? – За убийство...»

И только ближе к вечеру начинается погрузка в воронки. Везут по городу. В щели, перебивая бензиновую гарь, пробивается запах раскрывающихся тополевых листьев. Состав формируют на запасном пути под мостом Комсомольского шоссе. Две шеренги автоматчиков в полушубках, с овчарками. Столыпинский вагон, полное купе. Погрузка идет долго.

Наконец состав подгоняют к Московскому вокзалу. Наши вагоны прицеплены к почтово-багажному поезду. На платформе бывшие зэки и «химики». Они знают время и место отправки таких поездов. Подходят к вагону и бросают в открытое окно пачки папирос, кричат пожелания, о чем-то спрашивают. Конвойные – я узнаю ребят, сопровождавших меня в суд, – не особо этому препятствуют. Их сержант, проходя, уважительно мне кивает. Наши документы лежат у них в конвертах, на которых написаны места назначения. Кому-то удается узнать, что состав идет до Сосногорска в Коми («оттуда рукой подать до Полярного круга»). Состав тронулся, мелькнули пролеты моста через Волгу. Куда меня привезут?

Утро 10 мая. 4 часа. Часть нашего этапа высаживают на станции Шерстки. Поселок в 300 километрах к северу от Горького, на самой границе с Кировской областью. В городе уже начали распускаться листья, а здесь ни травинки, ни былинки, в лужах крепкий лед, на земле иней.

Автоматчики с собаками сопровождают этап до зоны. Это рядом. Зона старая, деревянная, в инее. Подумалось, этакое Берендеево царство.

Как позднее я узнал, колония в Шерстках существовала с 1929-го, лагерь – с 1933 года, принимали и раскулаченных, и «Кировский поток».

О Шерстках есть упоминание в «Архипелаге»: *«...Заволжским жителям около Буреполомского и Унжского лагерей платили за каждого пойманного по два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селедки. В военные годы селедку иначе нельзя было достать, и местные жители так и прозвали беглецов селедками. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно бежали: «Мама! Селедка идет!»*

Во время моего пребывания ИТК в Шерстках – зона общего режима, а перед этим за три месяца – особого.

Меня распределяют в 5-й отряд. Отныне мой адрес п/я УЗ-62/12. Вместо «гражданки» выдают телогрейку с биркой, на которой краской выводится фамилия, кирзовые сапоги, шапку-«пидорку». Уже на следующий день выводят в рабочую зону. Рабочая зона – за полотном железной дороги. Из нее видны проходящие поезда. Работа, в общем-то, не тяжелая. Наша бригада делает ножки-подставки для телевизоров – были тогда они огромными ящиками. Соседняя бригада – детские санки, еще одна – деревянные вешалки и т. д. Правда, зимой нас выгоняют на разгрузку вагонов с тяжелыми бревнами – «баланами». Рабочий день 8 часов, в две смены. В воскресенье выходной.

При проходе на зону и обратно – личный обыск, «шмон». Сначала, как и в тюрьме, прикосновение чужих и грубых рук кажется оскорбительным, но потом привыкаешь и почти не обращаешь внимания.

Изготовление ножки – это обточка заготовки на токарном станке, шпаклевка, зачистка, покраска. Поскольку производство вредное, по Трудовому кодексу нам полагается выдавать молоко. Изредка мы его получали.

Преимущество старой, далекой от высокого начальства зоны очевидны: режим мягче («Законы наши дурны, но спасает дурное

их исполнение». Пушкин.) На территории растут деревья, кустарники, трава, есть даже клумбы и грядки с цветами (их до нас разбили еще эки особого режима). А есть зоны, где все до травинки выполото, и кроме голой земли и асфальта ничего нет.

Конечно, утренние и вечерние построения, надзиратели с досками, на которых они пишут, а потом соскребают цифры. И вечно счет у них не сходится, начинаются пересчеты. И кто-то после съема угрелся и уснул в рабочей зоне, поэтому ворота на выход из зоны не открывают, и мерзнувшая толпа материт гада, ублюдка, суку, козла.

Словом, читайте «Один день Ивана Денисовича».

У каждого отряда есть свой офицер – ротный, а из эков – старший по барaku. Барак разбит на кубрики. В кубриках в два яруса установлены металлические шконки. Между ними тумбочки. Стульев нет, поэтому все сидят на кроватях. Все постельное белье – серое.

Днем не утихает радио. Никто его не слушает, но на предложение выключить все дружно протестуют: нужно, чтобы что-то давило на барабанные перепонки.

Топит печи и убирается в бараке шнырь. Должность считается блатной, часто на ней работает инвалид. Шнырей и старших по барaku не без оснований подозревают в близости к куму – начальнику по режиму, оперу. Есть и заместитель оперуполномоченного – полкума или куманек – Баранов.

Начальственная пирамида начинается с «хозяина» – начальника колонии майора Репина. Ниже стоят начальник по режиму, дежурные помощники начальника колонии (ДПНК) майор Беспалов («Культия»), ст. лейтенант Полутаржицкий, замполит капитан Кузнецов, отрядные (у нас капитан Махалов), полкума Баранов, надзиратели в зоне (самый вредный – Савельев по кличке Бандера), надзиратели (контролеры) на вахте Мамаев (дед Мамай) и Полтора Ивана.

Им одним с 800 эками не совладать, но на то есть СВП – совет внутреннего порядка, «красноповязочники», «козлотня». Это люди, набранные обычно из проворовавшихся начальников и других добровольцев, желающих освободиться по половине срока или выйти «на химию». Это низовое звено – главные враги остальных эков, поскольку им надо любым способом выслужиться перед начальством колонии.

На «химию» выходят рядовые эки, у которых нет нарушений и небольшой срок. Работа на стройках народного хозяйства (Автозавод, Дзержинск) тяжелая, жизнь в общежитии разгульная, поэтому большая часть «химиков» возвращается в ИТК. При этом срок пребывания на «химии» – хоть год, хоть два – не

засчитывается. Многие, понимая это, сразу же едут к себе домой, гуляют от души две-три недели, потом с нарядом милиции возвращаются в колонию. «Я все равно на химии не удержался бы, а так дома побывал, погудел на воле!»

Основные статьи на нашей зоне общего режима 89 – хищение государственного имущества и 144 – кража – более пятидесяти процентов, 10–15 процентов – хулиганы, примерно 10 процентов – шофера. «Политических» – я со своей 190-1 статьей и молодой баптист (ст.142), он был в другом отряде и бараке, вел себя замкнуто, и мы с ним не пересекались.

Переводом с «малолетки» приходят 18-летние ребята с тяжелыми статьями: убийство, изнасилование, грабеж. Все они рады попасть на взрослую зону, поскольку на «малолетке» царят жестокие нравы, всевозможные ограничения и унижения, да еще учеба в школе и засилье тупой политинформации.

Политинформации есть и у нас. Проводит их в Красном уголке обычно отрядный или замполит Кузнецов. Ходить обязывают, но все идут довольно охотно, ожидая какое-нибудь развлечение, и обычно не разочаровываются.

Главное воскресное развлечение – кино. (Здесь я впервые увидел «Белое солнце пустыни» и не был им очарован: в неволе особенно чувствуешь ложь, поэтому лживая картинка большевистской цивилизации трудового Востока заслонила художественные находки фильма.) Но воскресенья и особенно праздники отравлены шмонами: ищут самодельные кипятильники, ножи, книжки-самodelки из библиотечных книг, карты. Для этого заключенных с матрасами выгоняют на улицу.

В праздники устраиваются концерты самодеятельности, участники получают небольшие поощрения в виде дополнительной пайки или двух рублей на ларек. Номера и исполнители бывают неплохие. Так, одному плясуну дружно хлопали, долго кричали «Бис!». Но он вышел, раскланялся: «Еще сплясал бы, да харчи не те!»

Харчи известно какие. Утром пайка хлеба и черпачок 20 гр. сахара. Каша-шрапнель, без масла, а иногда и без соли. В обед – баланда без мяса в алюминиевой миске и на второе опять каша. Вечером картошка с кусочком рыбы. Самое вкусное блюдо – самодельные, из теста, макароны, сваренные в мясном бульоне.

Ну и – ларек. Из заработка (60–70 рублей) половина идет на содержание лагерной системы, 28 рублей на питание, остальные – на оплату судебных издержек, алименты или выплату ущерба. Если что-то после этого остается на счету или поступят деньги от родственников, можно раз в месяц отовариться в ларьке на 7 рублей (на строгом режиме – на 5, на особом – на 4 руб.). За

перевыполнение плана можно дополнительно отовариться еще на два рубля. Деньги эти безналичные, но на указанные суммы можно приобрести в ларьке: грузинский чай 1–2 пачки, две буханки белого хлеба (в лагере хлеб только ржаной), маргарин, слипшиеся конфеты-подушечки, задубелые пряники, самые дешевые папиросы и сигареты.

Отсидевшему половину срока заключенному положена пятикилограммовая посылка раз в четыре месяца и две килограммовые бандероли в год. Но все эти «блага» лишь для того, у кого нет нарушений режима. За нарушение можно лишиться и очередного свидания.

Наличные деньги тоже попадают на зону, стоят они в несколько раз дороже номинала. Через контролеров и расконвоированных эков на них можно достать с «воли» чай и даже водку.

Чтобы выжить в таких условиях, несколько человек – друзей, «кентов» – объединяются в семьи. Каждая семья состоит от 4–5 до 10–12 человек. Совместно решается, что брать в ларьке, как делить полученную кем-то из членов семьи посылку. Куришь – не куришь, а сигареты «Памир» надо брать на всех.

Дискриминации по возрасту, сроку пребывания, национальности в лагере нет. Девяносто процентов заключенных – русские, новичок ты или давний сиделец, значения не имеет: ты, может быть, сидишь давно, но срок у тебя четыре года, а приходит новичок – у него 10 лет. Кому легче? Старая лагерная поговорка: «Каждому свой срок долог!» Пожалуй, самые большие сроки в нашей зоне у шоферов: совершил аварию с жертвами – 7–10 лет.

Как водится, в зоне есть свой шут, свои «герои» – завсегдатаи БУРа (барака усиленного режима). Есть свои стукачи и презируемые всеми «опущенные» – пассивные гомосексуалисты. Активные – ходят гордо. Хотя тех и других немного. Зато хватает – природа требует! – онанистов. «С Дунькой Кулаковой забавляется», – шутят про таких, но зазорным занятие не считается. Особая группа – «нюхальщики» – молодые ребята, нюхающие ацетон. Из куска наждачной шкурки свертывается трубка, куда вставляется смоченная в ацетоне вата. «Нюхальщиков» видно по распухшим покрасневшим носам.

Почти в каждом отряде есть своя гитара и один-два гитариста. Поется лагерный фольклор и ранние песни Высоцкого.

Лагерная валюта – пачка чая. На чай можно выменять всё, в том числе судьбу человека. Сколько начальство ни боролось с кипятильниками, бесполезно. В свободное время семья садится в кружок и по два-три глотка пьет чифир, передавая горячую

кружку из рук в руки. Ценится и кофе, особенно растворимый – «шустряк». Но в начале 1972-го его в передачах запретили. Спитой чай – нифеля, вторак – пьют по-бедности.

Редкий зэк не имеет клички, «кликухи», производной от его фамилии, профессии, внешних данных или места проживания.

КАЖДОМУ СВОЙ СРОК ДОЛОГ

В своей бригаде я сразу получил полуснисходительную, полууважительную кличку Студент. Моя семья, сложившаяся к окончанию срока, состоит в основном из «расхитителей социалистической собственности». Это Слава Рожков из секретного Арзамаса-16, три года за вынос железок с завода. Григорий Глушков и Виктор Глинин (Ганс) – оба «несуны», образованный, самолюбивый алиментщик Володя Забродин. На соседних койках – тунядец с Сенной площади Володя Святухин (Святуля), канавинский вор-ларечник Боря Семенычев, мучающийся желудком работяга Китаев (тоже 89-я), цыган Олег Туваев (Мора).

На производстве вместе со мной шпаклюют и шлифуют ножки двое пожилых мужиков. Василий Павлович Куликов, рассудительный крестьянин, сидит за два кубометра дров. (Я с ним года четыре переписывался и в 1976-м посылал из Серпухова учебники для его внуков.) Павел Васильевич Рыбицын-Тюменков уже пенсионер, повздорил со своей старухой, та вызвала участкового, и хулигана оформили на два года, как ни просила потом раскаявшаяся бабка отпустить его. Из-за этой истории над ним постоянно подтрунивают. Здесь же театрал с Бора Володя Маринин (Марина), горбоносый Вадим Шахназаров (Шах), сидит за кражу вещей из общежития.

Очень суетится звеньевой Ваня Радышев, мордвин. Он шофер, сидит за ДТП. Повез в район бидоны с молоком, посадил в кузов несколько девок и 80-летнюю бабку. На глинистом пригорке машина перевернулась. Все целы, кроме бабки. 8 лет. Срок ему кажется ужасным, непереносимым. Все мысли и разговоры об амнистии или «химии». Письма из дома жгут ему душу.

Переписка на общем режиме не ограничена. Я получаю множество писем. Кроме родителей и брата Игоря (другой брат, Евгений, служит в ГДР) мне пишут Светлана Павленкова, Елена Пономарева, Таня Батаева, Женя Купчинов, Борис Терновский.

Особенно стараются наши женщины. Помимо подробных, живых, сердечных писем с бытовыми и общественными новостями – и эзоповским языком – с новостями диссидентскими, они присылают мне открытки и даже целые книжки. Так, Таня Батаева

прислала в письме только что вышедший, первый за 50 лет сборник рассказов Тэффи, а в другом письме тоненькую книжечку Исикавы Такубоку.

Среди серых стен бараков и серых бушлатов моему глазу не хватает красок, и я прошу присылать импрессионистов, Ван Гога, Кустодиева. И мне их исправно присылают целыми наборами открыток. Не говорю уже о стихах, ими были наполнены письма в обе стороны. Помню, Светлану потрясло совпадение: почти день в день она получила от меня и от Владлена из Мордовии одни и те же строчки Пастернака:

*Хотеть в отличие от хлыща
В его существованье кратком
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.*

А Лена Пономарева на Новый год прислала такое четверостишие:

*Сваляв большого дурака,
Сегодня вы не с нами,
Но Русь гордилась все века
Таковыми дураками.*

И как злободневно звучат в это время строки Пастернака:

*Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже – жертвы века.*

Цензор Цветаева (жена отрядного), молодая голубоглазая женщина, с милым русским лицом, по должности обязана досматривать и читать все присланное заключенному. Человек деликатный, она через некоторое время стала отдавать мне все письма нераспечатанными. Ничего противозаконного в них не было, а читать интимную переписку она не захотела.

На производстве я приладилась учить французский: на стенку ежедневно вешаю листок с десятью новыми словами и поглядываю на него во время шпаклевки или шлифовки ножек.

Почти все свободное время я провожу в библиотеке. К сожалению, многих книг не хватает – это зэки бывшего перед

нами особого режима (особняк, «полосатики») увезли их с собой. Контингент был читающий. Я видел в старых ведомостях: у одного было выписано 78 наименований газет и журналов. По недосмотру администрации были выписаны зарубежные издания – журналы социалистических стран. Уже после перевода особого режима в другой лагерь они продолжали целое полугодие 1971-го поступать к нам на зону.

Читаю, делаю выписки в свои ученические тетради. Пожалуй, никогда до этого я так напряженно не размышлял о смысле жизни, о Боге, о философии истории, о происхождении мира и цивилизации.

Летом можно было, укрывшись за бараком от надзирателей, полежать с книгой на траве. Вообще перед надзирателем следовало вставать и снимать головной убор. Но в нашей зоне это правило строго не соблюдалось, так что полежать на земле можно было безнаказанно.

В лагере я впервые начал серьезно относиться к своим стихам. Здесь я сочиняю первые миниатюры по образцу японских хокку и танка. Несмотря на внешнюю несвободу, творчество давало минуты гармонии и единения с миром.

Совсем другой вид связи с миром дают свидания.

На личное свидание на два дня ко мне приехала мать. Мой внешний вид и настроение ее успокоили. А глядя на серые лица эков, бредущих из рабочей зоны, она сказала: «Наши работяги на заводе не лучше выглядят».

В июле в Шерстки приехал отец. Он надеялся получить внеочередное общее свидание, и получил бы, если бы не моя дурость. По просьбе моих «кентов» для него была перекинута записка с указанием, куда можно положить еду – «подогрев». Он ее не увидел, и камень с запиской на железнодорожном полотне подобрал патруль.

Меня не наказали, но отцу в свидании было отказано.

Летом я иногда взбираюсь на крышу нашего цеха и смотрю на деревеньку за зоной. Затея сопряжена с риском: помост убрали с зимы, и теперь торчит только ненадежный остов лесов. Да и ШИЗО можно заработать – за попытку к бегству. Зачем эку лезть на крышу как не высматривать пути побега!

Северная обезлюдившая деревенька, несколько изб с забитыми окнами. Но – дождь серебряный над ней, темно-синее облако, трава изумрудная. Чуть тронутая желтизной зелень огородов и цветные пятна рубашек. Проехал мотоцикл. Дымок выхлопа голубой и курчавый, как на палехской шкатулке. Вся в черном старушка топчется на луговине. Что-то делает, а не видно. Колдует? Вот сейчас махнет рукой – и все, как в сказке, растает...

Кроме меня на крышу цеха или на кучу опилок залезают другие зэки. Но смотрят они в противоположную сторону, на проходящие поезда и «ловят сеансы», увидев на площадках женщин.

«Шпана, – глядя на них, ворчит поляк Бутырский, – только о пи**е думают. У нас в Польше говорят: «Дай бог Польшу от моря до моря», а у вас в России: «Чтобы у соседа дом сгорел». Вообще он довольно нудный мужик, получил кличку Молоко – он постоянно спрашивает, когда мы, наконец, получим положенное молоко.

И – свершилось: вместо молока, которого мы не получали месяца два, каждому бригаднику выдали по литровой банке сметаны! А что с ней делать? Сразу не съешь, хранить негде. Кто-то предлагает: «А давайте собьем масло!» И вот мы, полтора десятка человек, сидя на койках, ложками часа два-три взбиваем сметану. И – ура! В результате на дне каждой банки 250 гр. масла. А тут еще ларек подоспел. Отоварились белым хлебом и пряниками. Намазываем масло на кусок хлеба и смеемся: «Эх, не хватает только американских корреспондентов! Посмотрели бы, как живут советские заключенные!». Посмеялись, а потом все погрустнели: дни летят, а срок как бы не убывает...

Зима 1971–72 гг. выдалась очень морозной. Толстый дым выдавливался из труб, как загустевшая краска. Между бараками никого не видно, все забились в теплое помещение. Выскочит кто-нибудь в туалет и тут же обратно. Поэтому дощатая уборная зимой и снаружи вся в желтоватых потеках мочи. Минус 35°C. А тут надо разгружать состав с бревнами. За работу в воскресенье дают отгул. Пригодится к освобождению. Я иду – и чуть не ломаю ногу: напарник неудачно двинул ломом бревно. Но обошлось – отделался ссадиной.

И вот апрель. В литровой банке на окне барака ветки тополя с листьями. Боря Семенычев рвет струны гитары:

*Весна еще вначале, еще не загуляли,
Но сердце так и рвется из груди,
Но вдруг приходят двое с конвоем, с конвоем.
Оденься! – говорят, – и проходи!*

Незадолго до освобождения меня приглашает к себе на беседу зам. начальника по режиму – полкума – Баранов.

Один глаз у него подбит. Мы, зэки, от расконвоированных знаем, что он гуляет от своей жены, что недавно захаживал в соседний поселок к одной даме. Там его мужики и побили.

– Ну, что, Помазов, как думаешь жить на свободе? Новых

глупостей не наделаешь? Ты парень молодой, у тебя все еще впереди. А на свободе, знаешь, как хорошо!

Мне очень хочется съязвить насчет его походов на свободу. Но сдерживаюсь.

– Глупостей? Не наделаю.

(Ох, зря я зарекаюсь. Столько их еще сделаю.)

ГОЛОСА ИЗ ХОРА

Эта глава составлена из картинок, сцен лагерного быта, разговоров, обрывков фраз – без комментариев автора.

– Ну как, земля, сочтемся?

– На том свете угольками горячими!

– Мало? Прокурор добавит!

–Э-эх, спиноеды!

– Кто там свистит? Гонять свистунов по шконкам!

– Замозолил сигарету, старый чихирист!

«Толковье» в коридоре:

– Я никогда не видел на гражданке такого неба...

– Я не имел совести...

– Два года спишь рядом – и не знаешь, что за человек.

– Будешь в зону подниматься? (из БУРа)

– Н-е-е. Врагов много.

– Сколько сроку осталось?

– Флягу молока допить.

– Собрать бы все рапорты – и дров не надо печи топить!

«За перекаливание печи лишить ларька и очередной передачи»
(из приказа).

– Придешь с работы (на «малолетке») в холодную казарму, а он тебе час – секунда в секунду ху**ет про Ленина! Здесь за четыре месяца больше прочитал, чем там за три года. Но –

веселее: турниры, телевизор. В тумбочке, однако, ничего нельзя оставить. Бьют их, крысятников, но не переводятся. В карцер имеют право сажать только на 10 суток, а раскрутить могут хоть на сто.

На политзанятии:

– Думаете, зря приглашает нас Югославия? Думаете, зря мы ездим в индокитайские народы? Зря английский империализм устраивает провокации? Нет, не зря!

Святуля:

– Не выгоняли бы утром на зарядку, сам бы делал. А так – нате вам!

Выдача сменного белья в бане. Макаров (он же Камбала, Одноглазый, Агроном – сельский хулиган, оторвал телефон у председателя и закинул в пруд): – В чем же я пойду?!

Старший барака Ганин: На вот дырявые кальсоны.

Федя Маслов, бомж по кличке Москва, уныло бубнит: Дай и мне...

– А где твои? Променял на нифеля? Еще ответишь за это!

– Кальсоны я не получал.

Борис Белов, шофер. Срок ему – семь лет. Переживает страшно. Заходит ко мне в надежде услышать что-нибудь про амнистию.

– Ну, как, что-нибудь нам будет?

– Будет, обязательно будет.

– В этом году?

– И в этом.

– Хоть ты меня поддержал.

Борис Таланов во время шпаклевки глядел-глядел на тоскливые физиономии окружающих и рассмеялся: – Ну и преступники! Какие же мы, к черту, преступники!

Китаев мучается желудком. В санчасти соды нет, присланную в заказном письме не отдают (как бы чего не вышло!). Мастер на производстве сжалился, принес соду (разумеется, в нарушение режима). – Ну, теперь я живу!

В шпаклевочной Марьяна (Маринин) разрисовывает платок – «марку» – цветными стержнями. Потом рисунок закрепляется в солевом растворе. Сюжет: под деревом девушка, перед ней море с

громадным лайнером, вдалеке маяк. Называется – «После шторма».

– В тюрьму ворота широкие, а назад, ох, какие узкие.

– Разменял третий десяток, ну, потом раскрутился, и дали пыжа (расстрел).

Святуля влезает на второй ярус шконки.

– Ну и неуклюжий ты!

– Нет, я очень уклюжий!

Капитан Махалов ведет политзанятия:

– Вместо того, чтобы пьянствовать, изучайте (на свободе) директивы съезда!

Статья из «Агитатора» об успехах строительства социализма на Кубе. Сто тысяч безработных кубинцев «принудительно привлечены к общественно-полезной работе».

– То есть посажены в лагерь?

– Ну, не знаю, как там конкретно. Производство выросло в два раза!

Рассказывает о вольной жизни завсегдатаев тбилисских подвальчиков и духанов: – Этих бездельников тоже было бы неплохо привлечь.

– А вы сами-то верите в коммунизм?

– Верю!

– Конечно. А что вам еще говорить!

– Семь лет работал на кума, а узнали только в последние месяцы. Считался в доску свой. Жил в лучшей семье. Четыре БУРа оттянул. С водкой не раз попадался. Все семь лет от звонка до звонка оттянул и все время стучал. Узнали – сначала никто не поверил: «Чтоб Симоха стучал...» Он из БУРа на зону уже подниматься не стал. Дело прошлое, убили бы. Два последних месяца у кума отсиделся.

Законы «малолетки»:

За подлянку считается: курить «Приму» – из-за красного цвета коробки, поднимать оброненные деньги, хлеб, сигареты, мыть голову, тело и ноги одним и тем же мылом.

Все не устоявшие – «чушки», «чухна», их за людей не считают и издеваются как только могут.

Плакаты:

Надо уметь сливать свою жизнь с общественной жизнью!

С чистой совестью – на свободу!

Знай и помни всегда – в твоих руках твоя судьба.

Признание вины – половина исправления. Умел ошибаться, умеи и исправляться.

Ваня – лагерный шут. Горбатый, однорукий дурачок. Срок получил «за покушение на жизнь представителя власти». Стоял он с мужиками у пивного ларька за своей законной кружкой пива. Подошел милиционер и берет без очереди. Все смолчали. А Ваня вывернулся:

– Ты что лезешь без очереди?!

– А иди ты...

– Ах та-ак! Я маленький, горбатенький, ловконький... Кэ-эк садану ему по башке кружкой! А что он без очереди лезет.

Ваня бреется.

– Мне не стыдно и порезаться – я одной рукой.

Бритву открывает о голый живот.

– Вот хожу без рубашки, грязная она, а новую не выдают. А мне бы девчонку подходящую – я маленький, горбатенький, симпатичненький.

Цыган Коля Машиновский. Сидит за исконное цыганское ремесло – конокрадство. Но служил в армии, работал шофером. Рассказывает, как не попал на химию. Сидит комиссия из трех человек и решает, кто достоин отправки на химию, кто – в лагерь.

– Ну, как, Машиновский, осознал свою вину?

– Конечно.

– Вот недавно Сличенко приезжал в Горький, слышал, наверно? Не пришлось тебе увидеть?

– Ну, что ж, говорю, – в следующий раз увижу.

– Кем работал на гражданке?

– Шофером.

– Машину тебе не дадим, а что если лопату побольше?

– Ну, думаю, пойду на химию. Повеселел. Говорю:

– С удовольствием.

А прокурор: – Предлагаю на стройки народного хозяйства не отправлять: перед арестом не работал, пил.

На зоне нашли ему подходящую работу – пахать «запретку». Воры такую работу отказываются делать.

Куликов:

– Эх, Витя, суд – это одна формальность. Если

характеристики хорошие, они и не вспоминаются. Зато если плохие, тут уж прокурор взвывается: «тунеядец, пьяница». Обвинить во что бы то ни стало! Если на тысячу одного оправдают, прокурор считает себя оскорбленным.

– А-а, адвокат! Он ничего не сказал. У меня самого речь была вдвое длиннее. Народные заседатели сидят, как пешки.

– Не «как», а именно – пешки!

– Сколько запросил прокурор, столько и дают, а то и больше. А отправят или не отправят на химию, и вовсе зависит от того, с какой ноги встал судья. В зависимости от того, нужно или не нужно отправлять партию людей, найдет причины: «Характеристики отрицательные». А они положительные. «Пил!» А я не пил вовсе.

Пожар в токарном цехе. Приехало начальство. Зашли трое в шпаклевочную.

– Чего сидишь?!

– Работа такая, сидячая.

– Что, спрашиваю, развалился?!

– Спина затекает. Устает в одном положении.

– Если устает, работай стоя или на коленях!

Бригадиру Маслову надо вырваться на «химию». Начальнику цеха хочется провести уборку помещения в нерабочее время. И вот Маслов заявляет: «Завтра, в выходной, выйду с бригадой на уборку». Это – «почин пятого отряда». Вечером узнаем мы, вторая смена. «Ну, как, ребята? Надо поддержать почин. Вся колония откликнулась и выходит». (А мы-то, «инициаторы почина» еще не знаем о своей «инициативе» – а уже вся колония откликнулась!) «Ведь вы же советские люди!»

Плакат:

При зачистке помни: твоя норма 4898 ножек.

Утро. В баню ведут арестантов БУРа. На завалинке барака – ближе подходить нельзя – сидят человек пятнадцать: посмотреть на своих и сделать «переброс» («перелом»). Дверь в баню захлопнулась, подбегают к окну и знаками показывают, где заначка. Не увидели! Общее разочарование. «Перелом» – 6–10 пачек «Памира». Утро чистое, свежее, после небольшого дождя. Поблескивает чистый деревянный настил. И ощущение: мы-то вольные, свободные люди, а они – бритые арестанты.

Слава Рожков о ШИЗО:

– Как-то ненормально, неуютно, людно. Четыре стены. Как начнут шесть человек бить пролетку – только ветер по камере!

Боря Семенычев:

– Студент, кнокни (угости), что ли, землячка!

Он же, радостно улыбаясь, рассказывает, как, дело прошлое, собрав снаряжение, садились в мотоцикл и ехали куда-нибудь в поселок бомбить магазин:

– Пока лезешь, боишься, а там уже чувствуешь себя хозяином!

Он же рассказывает: учительница завещала школьному кабинету физиологии свой скелет. – Вот не стал бы продаваться! Вдруг бессмертие существует. А тут кто-нибудь мой мосел открутит!

Большая семья из-за постоянных внутренних тренировок распалась. «Хотим разойтись по масти. Слишком разные люди. С кем останешься? С земляками?»

Василий Павлович Куликов:

– Собрались мужики на заработки в Сибирь: «Хоть там-то заживем по-человечески».

– А ты что, Василий, али не едешь с нами?

– Нет, мужики. Подумал я – ведь и в Сибири тоже Советская власть. Через год воротились не солоно хлебавши.

– Я же вам говорил.

Бригадиров Воронина и Борисова «кинули» на комиссии. «Пока не наведете в бригадах порядка, на химию не пойдете. Через одного дышат ацетон, в ШИЗО 47 человек сидят!»

– Вот им плохо, что бригадиры стараются, из шкуры вылезают. Сейчас они ядро. Отправить на химию Воронина, Борисова, Сатдыкова – кто козлятничать будет?

Соловьев. Деревенский парень. Крупногубое умное лицо. Трудяга. Сидеть без дела не привык. Курить не уходит. Шлифовщики на него обозлены: из-за него норму увеличат. Выговаривают ему. Высмеивают. Он смущается, оправдывается, отводит глаза.

– Сначала, ох, как дико в тюрьме показалось. Детишки, думаю, там без меня, а я тут...

– А я долго не мог привыкнуть в тюрьме ходить в уборную. Стыдно как-то. Столько народу...

– Тот прав, у кого больше прав!

– И пьет он через соломинку мою кровь первой группы!

Плакаты:

Если что-нибудь делаешь, делай хорошо.

Равняйся на коллективы высокопроизводительного труда и примерного поведения!

Повышение производительности труда – важнейшая общенародная задача.

Выполнение норм выработки – твой вклад в общенародное дело.

Каждый способный к труду заключенный обязан трудиться и выполнять нормы выработки.

Пропал любимец – дымчатый кот. Какое-то время спустя на крыше барака нашли его останки. На 16-й зоне съели собаку.

Зэки дразнят нерусский конвой:

– Ну, как, французы? Куда идешь? – Сыр, масло. – Что везешь? – Махачкала.

После изгнания шныря из барака Мишин предложил: «Давайте я буду шнырем». Страсти разгорелись: – Падла, не топил совсем! Где топил? В 12 часов была такая же, как и сейчас! – Дров нет. – А кто за тебя таскать будет? Ух, козел! – Что ругаете шныря, если печка такая, не натопишь. – Да он и не топил! Вот падла, кровь пьет.

«Хозяина» – начальника лагеря майора Репина перевели в Управление. Толковье среди зэков: – Своя рука у него там есть – все Управление стоит на ножках Репина.

Слава Рожков:

– Знаешь, чего мне сейчас не хватает? ШИЗО. Выйдешь оттуда – новости, приколы. Месяц летит незаметно.

– Заходят ко мне, закурить предлагают. «Послушай, возьми на себя две квартиры?» Ну, кому нечего терять, те берут. Я отказался. Московские тюрьмы переполнены, клопы. Если на химию попал сразу после суда, потом еще можешь выйти снова. Этапировали нас через Ярославль, Вологду. Вологодская тюрьма маленькая, еще с Екатерины. Ни заправки тебе, ни уборки, кормят

таким пойлом.

Женская колония на Автозаводе.

– Сроки большие: 5, 10, 15 лет. С одним–двумя годами очень мало. Очень много сидит за убийство. Кормежка гораздо лучше, чем у нас: первое и второе на завтрак и на ужин. Вот они наливаются соком и пасут друг друга. Мы там выполняли слесарную работу под конвоем автоматчиков. Иначе разорвут на куски. Вот так мы сидим, так – они.

– Ну, наверное, щупал?

– Тех, кто помоложе, конечно.

Девушка-баптистка (ст. 142). Срок три года, за веру. В камере, на Большом спецу, сидит с двумя воровками и цыганкой.

– Красивенькая такая. Я, когда баланду разносил, всегда задерживался у их камеры. Все пробовал разговаривать с ней.

– Ну и что?

– Так, немного. Сидит, потупившись, и все вышивает.

– Глаз соломой не заткнут – уже красавица. Я ей такое написал – от радости все голяшки о.....а.

Володя Бычков (Бычок):

– Еду я как-то в электричке в Дзержинск. Смотрю: девчонка напротив сидит симпатичная. Думаю: как познакомиться. Тут какой-то пьяный подсел с женой и давай к ней приставать. Я встал и к-э-э-к врежу ему, а потом за шиворот и выволок на платформу.

– И не боялся? А если бы у него – разряд, или стоял бы покрепче?

– Я все взвесил сначала. Ну, потом подсел к ней, познакомился. Проводил ее. Ходили два месяца. А потом наскучило. Очень уж у нее все просто. А в жизни не так.

Мамай, старый надзиратель, рассказывает об особом режиме – особняке, бывшем перед нами. Хвалит. В изоляторе сидели всего 5–6 человек. План все делали. «Вы нам только чай завезите – каждый месяц будет перевыполнение». Крысятники считались у них хуже козлов. Нерусских много было: кавказцев, латышей. Латыши крысятников били не раз. Изобьют, положат на крыльцо санчасти, нажмут звонок и уйдут. Одного избили до смерти. Так и не нашли, кто.

Уезжали – много заначек в рабочей зоне оставили. Утром

объявляют: «На этап!». Они все давай проситься в зону: «Гражданин начальник, то да се надо...» – «Нельзя!» Волосы на ж...е рвали. Потом долго еще находили чай, деньги. Самая большая заначка чая 13 кг 800 гр.

Никто не козлит так, как вы, общий режим. На ментов пишут! Меня ведь не е...т, что ты ацетона надышался, но твой же сосед меня и вложит. А у особняка – он идет к оперу поговорить о семье, а за ним уже двое в дверь смотрят. На пальцах разве что мог оперу показать.

Хороших книг увезли из библиотеки полные мешки. «Вычитайте, – говорят, – из личных денег стоимость. А книги не отдадим!» И так и сяк пробовали, а этап отправлять надо.

Бомж Федя Маслов, кличка Москва. Отрядный, капитан Махалов, показывает, как он умывается: двумя пальцами трет глаза. Федя заходит ко мне: «Я к вам пришел навеки поселиться, чтобы найти у вас приют. Ну, как Студент, может, угостишь чем-нибудь земляка?» Намазывает хлеб маргарином, довольный: «Ты только корми меня, я тебе столько нараскажу».

Слава Рожков:

– В Арзамасской тюрьме камера – конюшня. Заходим мы в камеру, а их, малолеток, на нарах, как гороху. В обед им дополнительно выдают два пирожка. Не принесли – они давай колотить в дверь мисками, стучать, кричать. У всех срока по 8–10 лет – и хоть бы что. Отдай им два пирожка, и все тут! Рядом лежат два почти пацаненка. «А вы за что, голуби? Ограбили, что ли, кого? – Не-е, 102-я (убийство). – Какая?! – 102-я. – Кого? – Бабку». Она им какую-то херню не дала.

– Спросил у больного здоровья!

– Да у тебя вывеска – за три дня на мотоцикле не объедешь!

– Эй, ты, узкоплечный! Дай я тебе всю маковку до крови исцелю!

– Смотри, Студент! Прикинулся вещмешком. Будешь шконки на ушах выносить!

– Павел Васильевич! Не испытываешь желания поработать?

– Да нет уж, я, пожалуй, в бараке останусь.

– Ну ты жульман!

– Гы-ы, я службу понял! Я свое еще на гражданке отработал!

– Ну, гнилой! Прогнил насквозь!

– С понтом – приезжий! Ничего не знает! Все воры, один он сирота!

– Да будь я у тебя в армии сержантом, слезами обливался бы!

– Ты меня не знаешь.

– Знаю я тебя, трусоват ты. Не иди мне здесь 77-я «прим», а только 15 суток, я бы тебя каждый день мацал!

– А я... я бы убил тебя!

Стенды в культкомнате:

9-я пятилетка в действии

Жизнь отряда № 5

Моральный кодекс строителя коммунизма

24-й съезд КПСС

Газета «К новой жизни!»

Карта полушарий

Список руководителей секторов:

СКО – совет коллектива отряда

СВП – совет внутреннего порядка

СБС – санитарно-бытовой сектор

ООС – общеобразовательный сектор

ПМС – политмассовый сектор

СМС – спортивно-массовый сектор

Замполит Кузнецов:

– Ни-ч-ч-его, ни-ч-ч-его не делают!

Глядит вверх и быстро-быстро моргает глазами.

– Вы дадите вешалку?

– Какую вам, гражданин капитан, веревочную?

– Плечики мне нужны, плечики. Будет план?

– Нет!

– Ни-ч-ч-его не делают!

Звонит куда-то по телефону:

– Вы нам тут какого-нибудь передовика производства пришлите. У нас совершенно план проваливается. Пусть выступит, расскажет. А то у нас ну ни-ч-ч-его не делают!

Приводят парня с наколкой, раздевают.

– Вот, смотрите: ни-ч-ч-его не делают, только колются! Коннов, вы колетесь?

– Нет.

– Ты, Ноздренко?

– Да, есть у меня одна наколка.

– Вот, вот! Ни-ч-его не работаете. Куда ты положил трусы? Убери сейчас же эти лохмы! Ну, что? Вывести вас на улицу в таком виде?

В это время приносят новую стенгазету.

– Ну, что ты принес?! Ни-ч-ч-его не работают! Вот купил для библиотеки сто книг. Как только подмерзнет дорога, привезу. Но если будете делать из них книжки лагерного пошиба, все отдам в вольную библиотеку. Как только дороги подмерзнут. Все отдам. Ни-ч-ч-его не смотрите, не храните. Все отдам.

Политзанятия:

– Докладывает заключенный Помазов.

– Не надо – «заключенный». Это слишком оскорбительно. Просто: дежурный такой-то.

Особый режим, надолго и прочно оторванный от большого мира, устраивался на зоне по-хозяйски. Разбили клумбы, грядки, подкармливали всякую живность. Например, в столовой жила старая, уже совсем седая крыса Машка. Постучат по полу – она выходит, знает, что никто ее не обидит. Кота Ваську научили выполнять всякие команды. «Васька, Репин!» – кричат. Он замяучит – и в дверь. В бараке, в нескольких местах, уходя, выцарапали надписи: «Ребята, не обижайте дымчатую кошку» (Эту ту, которую съели). Общий режим пришел, все порушил. – Особо-общий – вот как нас прозвали!

Зима 1971 года. Шерстки. Встречаются два этапа: общий режим, только что принятый конвоем с поезда, и особый, который в освободившемся «столыпине» отправляют дальше на Север, в Коми. «Общий» конвой согнал с дороги и посадил в снег. «Особый» оцеплен конвоем вдвое гуще, офицер идет с пистолетом в руках. «Особый» – здоровые ребята с узлами, гитарами. Кричат новичкам: «Не давайте им (надзирателям) воли, а то они вам на шею сядут!»

Эпос города Бора:

Двое подрались, один порезал другого, потом сговариваются, как возмещать расходы.

– Костюмчик попортил? Плати. Рубашечку? Плати. Шкуру? Шкура нарастет. Полтора месяца больницы? Плати.

В общем, заплатил он мне рублей 400. И в ресторан пригласил. Выпили, потом друзьями стали. Я порезал – тоже платил. Приходит ко мне: «Ну, как, Володя, сделаемся? Костюм – незаметно, а за рубашечку плати!» Открываю шкаф – у меня там

новенькие нейлоновые рубашки: «Бери любую».

Рассказывает Слава Рожков:

– КПЗ в Арзамасе. В соседнюю камеру посадили мальчонку. Одного. Сначала свистел, потом затянул песни, и так до вечера. Надзиратель зашел в камеру и приказал замолчать. Запустил в него коробкой домино. Вязать его, а он – кусаться, а потом галстук на шее надзирателя затянул так, что тот чуть не задохнулся. Закрыли его – он в дверь колотить. «Ребята, мальчонку вам дадим, вы уж тут его приструните». Юра, здоровяк – штангист: «Давайте. Я его мигом успокою». Заходит пацаненок: белобрысый, сероглазый, жметя к двери. Подвинулись на нарах. «Садись!» – «Вы не беспокойтесь, дяденьки». Дали ему матрасик: «Ложись!» – «Спасибо, я здесь в уголке пальто постелю». Постелил аккуратно свое пальто в крапинку и свернулся.

Утром рассказал свою историю. Зовут Стасик. Отца, матери нет. Есть только сестра. Работает здесь же в КПЗ надзирательницей. «Ментовка». Этот Стасик уводил велосипеды. На следствии: «Сколько украл?» – «Два, дяденька». – «Только два?» – «Два». – «А это чья работа?» Сознался: шесть. А там новые свидетели. Еще раз сознался: одиннадцать. «Так, черт возьми, сколько всего?!» – «Шестнадцать».

Вышел на прогулку, увидел свою сестру и ну кричать ей: «Ментовка! Ментовка!» Опять посадили в одиночку. Еще и прогулка не закончилась, смотрим: дым повалил из его окна. А это Стасик свое пальто в крапинку поджег! Возвращаемся с прогулки – а он в нашей камере, лежит спокойно на нарах.

С «особого» исправляющегося иногда переводят на строгий режим. Радышев сидел с одним из таких. Больше всего его поразило то, что тот имел свою миску и будильник.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Очень это неприятно, когда рано утром тебя будит надзиратель со словами: «С вещами! На этап!» Куда? Через три дня мой срок заканчивается. Я специально отработал зимой три воскресенья на разгрузке баланов. И эти три дня у меня – выходные! И я все приготовил для достойных проводов из зоны! В последней бандероли родители прислали мне, по моей просьбе, несколько пачек болгарских сигарет ВТ и полкилограмма растворимого кофе. Кофе к этому времени к передаче уже запрещен. Но старший по бараку Ганин переговорил «с кем надо», и они получают свою долю, а я свою.

Но главное – куда и зачем меня отправляют?! Мотать новый срок? Вполне возможно. Ведь у гэбэшников осталось много неиспользованных в деле оперативных материалов. Да и в зоне я кое с кем разговаривал довольно откровенно.

Однако делать нечего. Быстро-быстро со своей семьей и соседями завариваем кофе. Раздаю сигареты. Прошу освобождающегося сегодня Борю Семенычева передать открытку родителям, чтобы они не ехали 22-го встречать меня за 300 километров в Шерстки. «Передашь? – Бля буду, передам!»

И вот я уже стою на вахте. В руках у меня авоська, растянувшаяся до земли от книг, тетрадей, писем. Предстоит шмон. Контролер дед Мазай, старый, многоопытный надзиратель: «Бумаги не пропущу! – Но это же все письма, они прошли цензуру, а книги мои, без штампов! – Ничего не знаю!»

На мое счастье идет цензор Цветкова. Я прошу ее подтвердить мои слова. «Да, да, я все это проверяла, можно пропустить».

И Мазай пропускает меня с моими драгоценными бумагами.

В столыпинском вагоне до первой остановки я сижу в купе один. Но в Буреполоме в мое купе вваливаются несколько мужиков. Все они едут в Горьковскую тюрьму, а дальше, – кто в больничку, кто на пересылку. Угощаю их последней пачкой ВТ. Обсуждаем с ними мою ситуацию и приходим к выводу: да, скорее всего, хотят на меня завести новое дело, иначе зачем за три дня до освобождения дергать с зоны.

И еще одна мысль, пустяковая вроде, свербит: я уже отрастил на голове волосы на два пальца, а в тюрьме обязательно погонят в баню и остригут наголо.

Вот уже на горизонте поднялся синей полосой правый берег Волги с Городом наверху. Вот медленно проезжаем Московский вокзал. Состав еще долго маневрирует на запасных путях среди вспухших от весенней воды болот и озер. Уже начинается смеркаться. Наконец появляется конвой, овчарки, воронки. Едем по городу, пытаюсь в щелки вентиляции сориентироваться, по каким улицам нас везут.

За нами захлопываются ворота тюрьмы. «Предбанник». Во время шмона, после личного досмотра, сержанты бросают на стол сетку с бумагами.

«Мужики! Ну только что в зоне все шмоняли. А через три дня, – тут я показываю на свою слегка обросшую волосами голову, – я освобождаюсь, опять шмонять будете!»

«Ладно, проходи!»

Надзиратель приводит меня в камеру на Большом спецу. Я в ней один. На следующий день жду вызова на допрос или беседу.

Не вызывают. Выводят на прогулку. Прогулочный дворик здесь – крошечный сектор, сторона окружности метров пять. Кроме стен тюрьмы из него ничего не видно. И ничего не слышно. На другой день меня опять никуда не вызывают, и я успокаиваюсь.

22 апреля. Суббота. 5:30 утра. «С вещами!» По пустым коридорам спускаемся в «предбанник». Офицеров не видно. Одни сержанты. Досмотр. Опять мои бумаги на столе. Я притворно взмолился: «Ребята! Три дня назад в зоне шмонали, потом снова здесь на входе. Сколько можно возиться с макулатурой?!»

Ленивые, похмельные ребята с макулатурой возиться не хотят:

– Ладно, забирай!

Мне выдают справку об освобождении. Смотрят в нее:

– Слушай, тебя не по случаю дня рождения Ильича освобождают?

– Нет, по окончании срока.

– Ну, ступай!

– Как? А деньги на дорогу? Мне положены деньги на проезд.

– Какие деньги? В справке ничего нет.

– Должны быть. Я в лагере зарабатывал. Да в любом случае должны быть. Что мне, пешком идти?

Ребята мнутя.

– А куда тебе ехать? Где живешь?

– Вообще-то недалеко, в самом городе. Московское шоссе. На два автобуса нужно 12 копеек.

И вот эти похмельные сержанты м-е-дленно шарят у себя по карманам и на троих набирают медью 11 копеек.

– Ладно, как-нибудь доберусь.

Прохожу через узкую дверь проходной и вхожу в сияющий под солнцем, чистый после ленинских субботников, с утра малолюдный город. Напротив сверкают главные здания университета.

Решаю, что надо сначала доехать до площади Минина, к Светлане Павленковой и Елене Пономаревой, которые также ждут сегодня моего возвращения, оттуда позвонить родителям. Сажусь в полупустой автобус. На мне телогрейка со снятой биркой, кирзовые сапоги, ватная шапка. Похоже, никто не обращает внимания.

Ульянова, 12. Поднимаюсь на третий этаж, звоню в дверь. На пороге Светлана. Голова после ванны обмотана полотенцем. По лицу пробегает целая гамма чувств: испуг, недоумение, узнавание, радость. Обнимает меня и кричит сыну: «Витька! Беги скорей за тетей Леной!» Появляется сонная Елена: «Ну, вот, ты все нам испортил! Мы тебя хотели на вокзале с цветами

встречать!»

Меня усаживают за стол: «Ешь, не спеши. Мы сейчас вызовем такси».

Я звоню домой и слышу прерывающийся голос матери: «Приезжай скорее!» (Мую открытку они получили – не подвел Боря Семенычев.)

В такси со Светланой и Еленой подъезжаем к нашему дому, прощаемся до вечера. Я заторможенно стою перед подъездом. С балкона мне машет мама: «Скорей поднимайся!» Ей, видимо, не хочется, чтобы соседи видели меня в эковской одежде.

Днем идем в больницу к отцу, он после тяжелого инфаркта. «Теперь твой приезд – для него лучшее лекарство».

Вечером в нашей тесной хрущевке собираются родственники, друзья, соседи.

В этот день все мы счастливы. И еще не знаем, кого и какие испытания ждут впереди...

P.S.

В начале июня я подал заявление в областное УКГБ с просьбой вернуть мне из моего уголовного дела техникумовский диплом. 13 июня диплом мне выдал Сергей Савельев, уже капитан. Я покосился на звездочки:

– Быстро растете, гражданин начальник.

Он обиделся.

– Вы что, думаете, для нас главная цель – посадить кого-то, чтобы проверить дырку для ордена? Нет, если дело доходит до суда, значит, мы где-то недоработали, не провели необходимых профилактических мер. Но в крайних случаях приходится принимать жесткие меры.

– То есть в моем случае?

– Да. Вы ведь, по сути, работали на иностранную разведку.

– На какую же?!

– На британскую.

– Это как?

– Сами посудите. Ваши взгляды, несомненно, сложились под влиянием Пугачева, Пугачев находился под влиянием Оксмана, а Оксман работал на английскую разведку.

– Каким же образом?

– Под псевдонимами X, Y, Z он опубликовал в британской прессе несколько антисоветских статей.

– И о чем же статьи?

– О положении в советской литературе. Статьи антисоветские. Видите, какая цепочка прослеживается!

В Прокуратуру РСФСР
от Помазова Виталия Васильевича

ЗАЯВЛЕНИЕ

2 февраля 1971 года я был приговорён Горьковским областным судом к 4 годам исправительно-трудовых лагерей строгого режима по ст. 70 УК РСФСР. Определением судебной коллегии верховного суда РСФСР приговор изменён: ст. 70 переквалифицировала на ст. 190-1, срок снижен до 1,5 лет.

Основанием для обвинения явилась написанная мной в 1967–68 гг. книга – социологическое исследование «Государство и социализм». Книга под моим именем была напечатана в нескольких экземплярах и роздана студентам и преподавателям Горьковского госуниверситета.

Работа состояла из трёх основных разделов. В первом были систематизированно представлены и прокомментированы теоретические положения Маркса, Энгельса, Ленина о становлении, развитии и отмирании социалистического государства, о его формах, устройстве государственных институтов, о положении различных классов и общественных групп при социализме.

Во втором разделе анализировался реальный социализм таким, каким он сложился в нашей стране к концу 1960-х годов: экономика, социальная структура, принципы управления, функционирование партийного и советского аппаратов, суда, армии, милиции. При этом указывалось на существенное расхождение между теоретическими представлениями о будущем обществе и реально сложившейся общественной системой, между теорией марксизма и некоторыми положениями принятой в 1961 г. программы партии. Как следствие такого расхождения приводились отрицательные явления, те самые, которые сейчас свободно обсуждаются в советской печати.

В третьем разделе прослеживались исторические

факторы, причины и социальные механизмы, обусловившие такое развитие общества, обсуждалась возможность и необходимость коренных перемен в экономике, общественной жизни в сторону их демократизации.

Все основные мысли этого исследования родились на семинарах по научному коммунизму и истории партии. Желание изложить их в специальной работе было вполне естественно: в факультетском бюро ВЛКСМ я отвечал за идеологическую работу. Единственными цитируемыми авторами были Маркс, Энгельс, Ленин. Вся статистика приводилась исключительно по советским источникам. Ни один из 39 свидетелей по моему делу не указал на какие-либо противоправные высказывания или действия /наоборот, были даны самые лестные характеристики/.

Несмотря на это моя книга была охарактеризована областным судом как «антисоветская», Верховным судом переqualифицирована в «клеветническую», хотя и написанную «без умысла на подрыв и ослабление» власти /хотя по самому смыслу клевета как раз и предполагает умысел, сознательное искажение правды/. Маленькая деталь: за распространение книги я уже был наказан – исключён из университета, отправлен в стройбат, отслужил 2 года – и никаких новых обстоятельств в моём «деле» к моменту суда не появилось.

Я не признал себя виновным, полагая, что в цивилизованном обществе свобода слова является естественным правом каждого человека. Прав я или ошибаюсь, хороши или дурны мои взгляды – я имею право на их выражение. Это право закреплено в Конституции, провозглашено во Всеобщей Декларации Прав Человека /ст. 19/.

Прошло полтора десятка лет. Давно погашенная, но тянущаяся за мной по анкетам судимость мешает мне заниматься общественной и литературной деятельностью, не раз препятствовала в получении работы, жилья, прописки. На протяжении всего этого времени я ощущаю на себе липкую паутину гэбэишного сыска. Из года в год вызываются на нигде не узаконенные «беседы» мои знакомые, знакомые моих знакомых: у них выясняют, с кем я встречаюсь, о чём говорю, что читаю, рассказывают небылицы обо мне /

десятки высокооплачиваемых людей так «работают», «приносят пользу» своему Отечеству/.

И вот наступило «время долгожданных перемен», время «всеобщей гласности», «нетерпимости к недостаткам», и выяснилось, что на протяжении двух последних десятилетий «наблюдался застой в экономике и общественной жизни», допускались «бюрократические извращения», что многие лица, занимавшие крупные государственные и партийные посты /вплоть до министра МВД Щелокова и члена Политбюро Романова/, «нарушали законность», «принципы социалистической морали», что теперь надо «восстанавливать социальную справедливость», коренным образом перестраивать экономику, управление, психологию людей.

Как сказал поэт: «Лицом к лицу лица не увидеть. Большое видится на расстоянии». С этого расстояния и выясняется: я был осуждён за мысли и идеи, которые высказаны на XXVII съезде и развиваются в последовавших постановлениях и газетных выступлениях. Разница только в том, что я их высказал на 18 лет раньше и в более сжатом, последовательном, связном и теоретически обоснованном виде. Так, в своей книге я исследовал феномен гос. бюрократии на всех уровнях, её место и роль в нашем обществе, её отрицательное влияние на экономику, культуру, общественную жизнь. В работе было статистически проиллюстрировано снижение темпов роста советской экономики и предсказан последовавший застой, была указана связь между недостаточностью демократии в управлении и общественной жизни, с одной стороны, и научно-техническим отставанием, общественной апатией, алкоголизмом, коррупцией, нерациональным использованием природных ресурсов – с другой.

Оговорюсь: я вовсе не претендую на какую-нибудь пальму первенства. Средний российский интеллигент 20 лет назад и сейчас понимал и понимает действительность глубже и имеет куда более основательные суждения по общенациональным вопросам, чем многие снятые и неснятые члены ЦК.

В 1960–70 годы появились тысячи писем, проектов, докладов, памятных записок, исследований, обращенных к властям и соотечественникам. Их авторы, не дожидаясь «времени долгожданных перемен», критиковали местные злоупотребления, остро ставили вопросы

общенационального значения. Многие из них поплатились за свою критику работой, карьерой, свободой. Сошлюсь только на несколько публикаций «Литературной газеты», рассказавших нам о сломленной судьбе комсорга одесской мореходки Николая Розовайкина /«ЛГ», 19 янв. 1983г./, о мытарствах бакинского замполита Намеда Алиева /«ЛГ», 2 апреля 1986 г./, о бессонных тюремных ночах узбекского педагога Дильмуратова /«ЛГ», 18 сент. 1985 г./.

Почти как цитату из собственной работы 18-летней давности читаю в сегодняшней газете: «... Дело вовсе не в конкретной личности, которая занимает конкретное кресло. Сама должность, кабинет, кресло должны быть под постоянным общественным контролем, открыты для критики, подвержены общественному взгляду, немыслимы без гласности. Гарантия – в демократических преобразованиях нашего общества, в перестройке управления экономикой. Гарантия – в невозможности жить по законам корпоративной морали, при которой должность и занимаемый пост сами по себе являются индульгенцией за безнравственные поступки и негласной надбавкой к зарплате в виде благ и преимуществ, недоступных простому смертному, а не в том, что того или иного руководителя лишат индульгенций и надбавок. Гарантия, наконец, в создании такой общественной атмосферы, при которой донос считался бы самым позорным из человеческих пороков» /«Лит. газета», 16 июля 1986 г., Ю. Щекочихин, «Комментарий к прошению о помиловании»/.

Хочу продолжить дальше: подлинной гарантией демократических преобразований явился бы пересмотр всех уголовных дел, в которых было нарушено право граждан на свободу слова, совести. Такой гарантией было бы исключение из уголовного кодекса РСФСР статей 70 и 190-1, противоречащих статье 50 Конституции СССР, международным правовым обязательствам Советского Союза (Кроме Всеобщей Декларации Прав Человека к ним относятся Пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный нашей страной в 1974 г., 3-я часть Заключительного Хельсинкского Акта и другие) и позволяющих всякую неугодную критику, всякое несогласие подгонять под ярлыки «антисоветский», «клеветнический».

В качестве одного из первых шагов прошу Верховный

суд РСФСР и Прокуратуру РСФСР пересмотреть моё дело с целью РЕАБИЛИТАЦИИ за отсутствием в моих действиях состава преступления. Полагаю, что положительный или отрицательный ответ на это частное заявление будет весьма показателен для оценки всего происходящего в нашей стране.

13 августа 1986 г.

В Прокуратуру СССР
от Помазова Виталия Васильевича.
Московская обл., г. Серпухов,
ул. Красный текстильщик, 12, кв. 27,
раб. телефон 2-28-67

ЗАЯВЛЕНИЕ

13 апреля 1971 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР определила мне наказание в 1,5 года лагеря общего режима по ст. 190-1 УК РСФСР /изменив Приговор Горьковского областного суда от 2.02.71: четыре года по ст. 70/.

Основание для обвинения: социологическое исследование «Государство и социализм», написанное в 1967–68 гг. мной, студентом 3-го курса историко-филологического факультета Горьковского государственного университета.

Виновным себя я не признал, полагая, что научные построения могут быть правильными или неправильными, но никак не клеветническими. А свобода слова является естественным правом каждого человека, правом, закрепленным в Советской Конституции.

С 1968 года не прошло и 20 лет, как выяснилось: я был осуждён за мысли и идеи, провозглашенные

на XXVII съезде и последовавших пленумах ЦК, XIX-й партконференции.

В начале перестроечной «оттепели» я подал /13.08.86/ в Прокуратуру РСФСР подробно мотивированное заявление на реабилитацию.

Заявление из Прокуратуры РСФСР было переправлено в Горьковскую прокуратуру. Оттуда зам. прокурора области В.П. Петров, не листнув даже моего дела (это видно из ответа: он ссылается на показания свидетелей, хотя ни один из 39 свидетелей не подтвердил следовательно-судебной версии, из-за чего дело развалилось, и замена 4 лет по ст. 70 на 1,5 года по ст. 190-1 просто спасала «честь мундира»), а справившись о нём, скорее всего, телефонным звонком в областное ГБ, бестрепетно отписал: оснований для реабилитации не имеется.

На основании его ответа /от 8.10.86/ составлен ответ Прокуратуры РСФСР от 14.10.86 (ст. советник юстиции А.Я. Пахмутов). В результате я получил такую привычную в родной стране отписку, «по форме правильно, по существу – издевательство» /Ленин/.

Прошло ещё два года. Прошли пленумы Верховного суда, осудившие, в частности, практику подобных отписок. В печати /«Известия», «Огонёк», «Московские новости»/ выступили видные юристы и правоведы и компетентно растолковали, что ст. 190-1 является антидемократической /не юристам это было ясно с самого начала – группа ученых и известных деятелей культуры в письме в Верховный Совет протестовала против введения этой статьи в УК сразу же в 1966 г./ и будет изъята из нового УК, а ст. 70 пересмотрена или также изъята.

Естественной справедливой и законной мерой при этом была бы реабилитация всех людей, осуждённых только за то, что они выступали против порядков, установленных в нашем Отечестве кунаевыми, щелоковыми, брежневыми, рашидовыми. /Эти люди начали дело перестройки тогда, когда многие нынешние перестройщики успешно делали карьеру, упрочняя застой/.

В ожидании такого разумного гуманного акта восстановления справедливости для всех я воздерживался добиваться личной реабилитации. К сожалению, наша Фемида не спешит, а восстановление

справедливости даже в одном взятом случае будет на пользу всех, поэтому: прошу пересмотреть мое дело /с запросов всех материалов в Прокуратуру СССР/, отменить приговор 1971 года за отсутствием состава преступления и РЕАБИЛИТИРОВАТЬ.

Копии моего заявления 1986г. в Прокуратуру РСФСР и копии ответов прилагаю.

28 августа 1988 г.

В Горьковское УКГБ
В Прокурату СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ

9 декабря 1983 года на квартире моего друга Павленкова Игоря Константиновича был произведён обыск. Но надуманному поводу /хранение опасных медикаментов/ обыск формально проводили сотрудники МВД, фактически за ними стояло Горьковское УКГБ. Были изъяты магнитофонные ленты /Высоцкий, Галич/, части видеомэгнитофона, радиодетали и – главное – книги, бумаги, записные книжки. 15 декабря Павленков покончил жизнь самоубийством.

Позднее почти всё изъятое было возвращено семье. За исключением книг и бумаг. На заявление вдовы Павленкова Самохваловой И.Е. было отвечено: книги, бумаги, записные книжки находятся в УКГБ в «деле Павленкова» и возвращены никак не могут быть, т.к. содержат «антисоветчину».

В то недавнее печально памятное время растяжимая формулировка «антисоветское» накрывала всё, что в данный момент было неуютно центральным или местным властям: обычно наиболее талантливые художественные произведения, исторические и

социологические исследования.

Не прошло и пяти лет, как выяснилось: то, что в брежневщину и андроповщину квалифицировалось как «антисоветчина», сейчас – классика. Изданы и издаются «крамольные» /срока за распространение давали!/ «Котлован» и «Чевенгур» Платонова, «Жизнь и судьба» и «Всё течёт» Гроссмана, «Скотский хутор» и «1984» Орвела, «Мы» Замятина, «Слепящая тьма» Кёстлера, произведения Л. Чуковской, Р. Медведева, В. Набокова, В. Шаламова. Выходят или объявлены к печати произведения недавно уехавших из СССР авторов: В. Некрасова, И. Бродского, С. Соколова, В. Войновича, Н. Коржавина. На подходе Авторханов и Солженицын.

И никакой катастрофы не случилось. А дышать легче стало.

Среди книг, изъятых у Павленкова, несколько принадлежат мне: «Доктор Живаго» Пастернака, «Факультет ненужных вещей» Домбровского и «Крутой маршрут» Е. Гинзбург. Произведения эти опубликованы в советских журналах /«Доктор Живаго» в «Новом мире» № № 1–4, 1988 г., «Факультет» в «Новом мире» 8–11, 1988 г., «Крутой маршрут» в «Даугаве» и «Юности»/. Тексты напечатаны один к одному, никаких редакционных комментариев в изъятых книгах нет. Никаких оснований изымать их 5 лет назад не было, держать в УКГБ сейчас – тем более.

Прошу вернуть мне мою собственность. Помимо художественных достоинств названные книги обладают материальной ценностью – стоят денег, немалых. До начала текущего года книги, насколько мне известно, находились в Горьковском УКГБ. В настоящее время я просто опасаюсь, что их растащат сотрудники Управления. /Так, изъятая 7 лет назад у моего знакомого Вадима Цветкова книга по истории еврейского народа, изданная до революции и, естественно, никак уж не могущая быть «антисоветской», ему не возвращена и в настоящий момент, видимо, украшает чью-то домашнюю полку./

Прошу вернуть мне мои книги /за счёт УКГБ/ по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Красный текстильщик, 12, кв. 27, – или передать в Горьком Самохваловой И.Е. по адресу: ул. Загорского, 5-Б, кв. 9.

В случае отрицательного ответа буду вынужден воспользоваться новым законом, дающим право

обжаловать незаконные действия должностных лиц. Полагаю, что и остальные книги и бумаги должны быть возвращены наследникам владельца: вдове и детям. Удивляюсь, почему до сих пор это не сделано. Конечно, всякие устроения приходят в провинцию с опережением, а смягчения – с большим запозданием, однако идёт четвёртый год перестройки, пора и КГБ перестраиваться.

Примеры такой перестройки имеются: Читинское Управление КГБ сотрудничает с неформальным объединением «Мемориал» в установлении памятника жертвам репрессий, передало списки репрессированных в 30-е годы, Минское УКГБ оказало содействие в расследовании на местах массовых расстрелов в 1937–39 гг., в Москве многим гражданам возвращены изъятые ранее книги, архивы.

К сожалению, не везде и не всем хватает сообразительности, инициативы /не говорю о такте/ в подобных делах. Объясняется это, видимо, тем, что многие люди умели только /за приличную зарплату/ «держать и не пущать», а теперь в этом нет нужды и, надеюсь, никогда больше не будет.

9 сентября 1988 г.

Виталий Помазов

<i>Рецензия работы «Государство и социализм»</i>

Содержание работы позволяет сделать вывод, что обвинение автора в клевете на советскую действительность, по моему мнению, не имеет оснований.

Работа отличается определенным догматическим толкованием ряда идей классиков марксизма-ленинизма,

а порой и просто ошибочными положениями.

Общий уровень работы говорит об эрудиции и способностях автора.

Д.и.н., профессор, зав. кафедры н.к. ГГУ

З.М. Саралиева

16.12.88

ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР

Москва, пл. Куйбышева, д.3/7

26.01.90. № 301пс89пр

г. Серпухов, Московской области

Гр. Помазову В.В.

Сообщаю Вам, что Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 22 ноября 1989 года протест прокурора РСФСР, в котором ставился вопрос об отмене приговора Горьковского областного суда от 2 февраля 1971 года и кассационного определения в отношении Вас, оставлен без удовлетворения.

Начальник Секретариата Президиума

Верховного Суда РСФСР

Т.А. Амелина

ПРОКУРАТУРА РФ

Москва, К-9, Пушкинская, 15-а

05.05. 1992 г. 13/511-70

г. Серпухов, Московской области
Помазову В.В

Уважаемый Виталий Васильевич!

Ваше заявление о реабилитации рассмотрено.

Установлено, что к уголовной ответственности по обвинению в антисоветской деятельности в 1971 году Вы были привлечены необоснованно и на основании Закона РСФСР от 18.10.1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» по делу Вы реабилитированы. Справка о реабилитации высылается.

Выражаем сочувствие в случившемся и сожаление о запоздалом наступлении справедливости.

Приложение: справка на 1 л.

Прокурор отдела по реабилитации

А.К. Воробьев

СКАЖЕМ СПАСИБО И ЭТОЙ СУДЬБЕ

НА ПЕРЕПУТЬЕ

*Я вернулся в мой город,
Знакомый до слез*

Из пятерки нижегородцев, посаженных по политическим статьям, я вернулся первым. Неудивительно, что я оказался в центре нашего небольшого диссидентского круга, и мне было оказано много сочувствия и внимания. Университетские мои друзья были кто где. Женя Купчинов зимой трудился в газовой котельной, а летом ездил на шашки. Таня Батаева недавно вернулась в город из глухого района области (где радио «Свобода» не глушилось, и она слушала сообщения о моем процессе) после распределения. Валера Буйдин работал электриком в троллейбусном парке, Виталий Дудичев – мастером на кирпичном заводе. Борис Терновский, которого летом 1968 года исключили из университета за обсуждение с тремя политеховцами чешского манифеста «2000 слов», восстановился на заочном отделении истфила. Можно было догадываться, на каких условиях. Работал он на хлебозаводе и с гордостью говорил: «Мы когда отправляем машину в тюрьму, всегда кладем дополнительно 3–4 буханки белого хлеба».

У Светланы Павленковой появились новые подруги – Наташа Макарова и Наташа Кригсман. Светлана и Елена Пономарева по-прежнему работали в детских садах и горько шутили о своей работе: «Два притопа, три прихлопа».

Брат Светланы Миша Панкратов, исключенный в 1968-м из медицинского, жил в Москве и только что женился на Елене Семека, востоковед, умнице, интересной женщине. Светлана познакомила меня с Мишей в 1970-м после моего возвращения из армии, но тогда мы не успели завязать дружеских отношений. Миша с женой в мае приехали на Светланин день рождения, и мы быстро нашли общий язык. В мае же на несколько дней приехала из Чебоксар жена Михаила Капранова Галина. В Чебоксарах КГБ ее тогда не очень теснил, она работала в школе, и, может быть, поэтому и в силу характера была бодрой и энергичной.

С последним концертом перед отъездом из Союза в Горький приехал Мстислав Ростропович, билеты было трудно достать, но специально для меня Наталья Кригсман достала билет в первых рядах. «Тебе нужно обязательно пойти и преподнести цветы – это будет символично». Я постеснялся, и цветы вручила Надежда Андреева со словами: «Спасибо вам за Солженицына».

Ростропович был тронут.

После первых встреч, расспросов и душевных, за полночь разговоров и новых знакомств забрезжило серенькое рядно будней. Свобода оказалась неполной. Во-первых, я был официально предупрежден, что за мной устанавливается полугодовой милицейский надзор. Во-вторых, надо было рассчитаться с родным государством за судебные издержки. Из 430 рублей по суду за мной оставались невыплаченными 313. Спасибо родителям, в четыре приема к концу июня «долг перед родиной» был погашен.

Вскоре по возвращении мы с Виталием Дудичевым съездили прибраться на Бекетовском кладбище могилу Володи Бородина, который умер зимой 1972 года. А через несколько дней Дудичев, пришедший с женой Ириной к Павленковым, был изгнан из квартиры, так как Надежда Андреева узнала в нем одного из комсомольских функционеров, которые прорабатывали ее в 1968 году.

После эйфории первых дней наступило очень неудобное состояние притирания к гражданской жизни. Многого надо было начинать с нуля. Например, работу. Куда идти с «волчьим билетом»? В котельную, как Купчинов. Но отопительный сезон начинается с октября. И ставка 60 рублей в месяц – не деньги.

6 мая я получил паспорт, и через месяц после освобождения, приказом от 25 мая меня приняли, временно, грузчиком на Горьковский химический завод что на Московском шоссе. В первый же день в душе пожилой работяга, оглядев меня, спросил: «Ты армейский или хозяйский?» «Хозяйский». Других расспросов не последовало.

Рабочий день грузчиков обычно начинался так. Бригадники приходили утром с помятыми лицами и дрожащими руками. До 9 не работали, курили и ждали открытия «Серого магазина» на Московском шоссе. В 9 прибежал гонец с бутылкой политуры. Содержимое ее выливалось в литровую банку с водой. Туда же бросалась горсть соли. После тщательного перемешивания на дне банки оседал ком грязи. Мутно-желтая жидкость издавала резкий запах, но никого это не смущало. Содержимое банки разливалось по площадкам и склянкам и опрокидывалось во внутрь. Лица пьющих мгновенно розовели, покрывались крупным потом, руки переставали дрожать. Бригада приступала к погрузке.

И все же, лежа на спине в кузове грузовика, без опасения измарать телогрейку, я наконец-то испытывал чувство свободы.

Большой участок рядом с управлением Химзавода был огромной свалкой макулатуры. Это было время, когда граждане за «Трех мушкетеров» или «Королеву Марго» потрошили

дедовские библиотеки. Толкнув ногой первый же тюк, я вынул из него два тома посмертного издания Льва Толстого с неразрезанными страницами и еще несколько раритетов. Прибежал, ругаясь, охранник, но я нагло представился корреспондентом «Ленинской смены» и посетовал, что пропадают редкие издания. Он осекся и стал рассуждать, что да, действительно...

При расчете в бухгалтерии управления я оставил книги на минуту на подоконнике в коридоре, а когда вернулся, их уже не было. Расчет же я получал потому, что Женя Купчинов уговорил меня и моих братьев поехать в «левый» студенческий отряд в Якутию, где он был комиссаром. О том, куда и зачем едем, надо было молчать.

Вместе с другими липовыми стройотрядовцами из Горького мы на АН-24 долетели до Москвы, из аэропорта Быково перебрались во Внуково, полдня просидели там, изнывая от жары, и вылетели на прокаленном Ил-18 в Якутск. Стояло жаркое лето 1972 года. Под крылом самолета на всем протяжении полета висела пелена дыма. В Якутске тоже пахло гарью. Солнце почти не заходило, стояла духота, но на глубине двух штыков лопаты начиналась вечная мерзлота.

Работали мы в поселке, куда на катере добрались по Лене. Нас сразу же предупредили о нежелательности контактов с бомжами, которые в случае чего могут и ножами полоснуть. (Бомжей в европейской части России тогда практически не было. Они либо сидели по 209 статье УК за бродяжничество, либо высылались в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.) Летом перебивались случайными подработками и кражами, а в суровые сибирские зимы забивались в подземные теплоцентральи.

Основным строительным объектом было здание ангара. В три смены шло бетонирование фундамента. То и дело случались какие-то неполадки. Довольно скоро стало ясно, что обещанных больших денег мы не заработаем.

Недели через полторы после приезда ко мне подошел хмурый Купчинов и сказал, что КГБ пронюхал о моем местонахождении, и лучше бы мне вернуться в Горький. Он выдал деньги на обратный билет и напутствовал: «Кто бы тебя ни расспрашивал, горьковчан здесь нет».

В якутской гостинице меня подселили к какому-то крупному комсомольскому штабисту, и мне пришлось неумело врать ему, что я из минского политехнического института...

Во Внуковском аэропорту, дожидаясь автобуса на Быково, я чуть не попал в переплет. Сидевший со мной дюжий северянин, сначала участливо расспрашивал меня «за жизнь», а узнав, что я

еду из стройотряда, и, видимо, решив, что «лох» при хороших деньгах, предложил выбраться из душного зала и прогуляться. Мы прогулялись перед зданием аэропорта, но потом он стал настойчиво предлагать пройтись подышать в дубовую рощу. «Нет, мне надо вернуться, меня будет разыскивать знакомый». Он был явно раздражен.

Так что вернулся я с заработков не солоно хлебавши, но живой.

*Служить бы рад,
прислуживаться тошно*

В Горьком Наташа Макарова и Наташа Кригсман стали уговаривать меня поступить в институт Оргснаб, в котором они работали.

– Кто же меня примет туда с моей анкетой? – Ерунда! Какие анкеты. Институт – складского хозяйства. А главное, начальник отдела кадров хороший человек и добрый знакомый.

То ли начальник ОК оказался действительно очень добрым знакомым, то ли невнимательно глядел в мой паспорт, но в августе я был принят на должность инженера отдела перспективного развития Проектно-конструкторского технологического института «Оргснаб».

Некоторая пикантность моего нового места работы заключалась в том, что здание института непосредственно примыкало к ограде тюрьмы. Так что при желании я мог в одно из окон увидеть крышу малого спеца, а в другое – главное здание университета.

Оргснаб был типичным советским институтом, воспетым Ильфом и Петровым в «Золотом теленке» в образе «Геркулеса». Одна из причин безработицы в Советском Союзе состояла в том, что сотни тысяч людей за весьма скромные зарплаты сидели в подобных институтах и лабораториях, формально что-то делали, но их деятельность никак не была связана с живой жизнью. Складское хозяйство существовало само по себе, ПККиТИ «Оргснаб» – сам по себе. Просто говорить это вслух при посторонних было неприлично.

Отделы, каждый по своей тематике, ежегодно делали доклады и отчеты, их печатали в нескольких экземплярах, переплетали в дерматиновые корочки с золотым тиснением, один экземпляр ставили на полку в отделе, один – в библиотеку и еще один отвозили в Москву. Производству они были не нужны.

Зато в институте бурно кипела профсоюзная и общественная жизнь, отмечались все праздники и дни рождения хороших и милых сотрудников. Поскольку механизация и автоматизация баз снабжения теоретически должны были неуклонно расти, то это отражалось в ежегодных графиках, и кривая роста уже упиралась в 100 процентов. Реально же все нормальные люди представляли, что все на местах делается «от пупа», а все исходные данные –

туфта.

Приходить и уходить из института надо было вовремя, а в остальное время изображать работу или заниматься общественной деятельностью. На Новый год отделы поздравляли друг друга, направляли делегации, писали открытки.

Не утихали пересуды. Иногда совсем абсурдные. Сухой осенью 1972-го горели заволжские леса, и наши дамы во главе с парторгом отдела всерьез рассуждали о том, что поджигают их, скорее всего, старообрядцы.

Институтом покойно руководил пожилой директор – добрый и приятный в отношениях с сотрудниками Вольский. Главный инженер Виталий Николаевич Ефимов тоже был мягок с подчиненными. Руководитель нашего большого отдела Юрий Павлович Овсянников, всегда модно одетый, щеголеватый, поглядывал на сотрудников (с высоты своего оклада) слегка высокомерно, но, без сомнения, был человеком неглупым. Поговаривали, что за ним тянулась какая-то давняя история, которая тормозила его карьеру. Будучи пионервожатым в лагере, он увлекся старшеклассницей и пострадал за этот роман.

В нашем отделе народ был разношерстный: от «выпускницы кулинарного техникума» до талантливого физфаковца Юзика Сигала, который написал кандидатскую, но из Горького его посылали на защиту в Москву, а из Москвы в Горький. Юзик – киевский еврей, скорее он был похож на рыжеватого костромского или вологодского мужика и, как и другие мужчины нашего отдела, выпить водочки в праздник, в отличие от меня, не отказывался.

Хотя мы с ним работали в разных группах, нам как-то было поручено, независимо друг от друга, вывести кривую развития нашей отрасли на 15 или 20 лет вперед. Я выводил свою методом доморощенной статистики, а Юзик экстраполировал исходные данные в математической программе. К моему удивлению, наши кривые совпали. Работа была отпечатана, переплетена, украшена золотым тиснением и поставлена на полку. (Незадолго до своего увольнения я полистал ее и случайно обнаружил в своих расчетах арифметическую ошибку, которая все данные увеличивала или уменьшала в два раза.)

Первый свой день рождения на свободе я отмечал дома. Собралось человек пятнадцать: Володя Мокров, Женя Купчинов, Валера Буйдин, Елена Пономарева, Таня Батаева, Светлана Павленкова, обе Наташи. Борис Терновский, мои братья... Борис принес небывалую тогда и дорогую редкость – настоящий коньяк «Камю-Наполеон», а Наташа Макарова сочинила оду:

*Когда Креститель Иоанн
Христа крестил из Иордан-
реки (Не ежьтесь, Там мороз
Лишь в этот год) – А если роз
Без терниев вам захотеть,
И в вечном лете попотеть,
То полный, господа, вперед,
Туда, на реку Иордан.
В полет, душа. Где чемодан?
Простите это отступление.
Бишь, заплутались мы в веках.
Не о крещенских холодах,
Возговорим о дне Рождения.
Виталий наш! Родились Вы
(Вас славно жизнью нарекли).
Вы – наша жизнь, душа, дыхание,
Мы без ума от братских уз.
О, всеми ты, гармонь, мехами
Воспой наш дружеский союз!
Виталий – жизнь. О, brevis vita!
Но вечна, безупречна свита.
И шелестящею толпой
В Аид сойдем мы за тобой.
Но если уготован рай,
Его, Виталик, выбирай!
Мы, несмотря на все грехи
(Пуст жизнь плоха, плохи стихи),
И в рай пойдем, тебя любя,
Кто отлучит нас от тебя?*

Все в этот крещенский день были преисполнены друг к другу любви и дружбы...

Барственный Овсянников с некоторым недоумением наблюдал за мной и однажды снизошел и спросил: «Вы что, собираетесь на 105 рублей здесь всю жизнь прожить?» Я не собирался. Не из-за рублей, конечно. Просто из-за невозможности заняться в рабочее время чем-либо полезным. По примеру Купчинова и других я решил осенью устраиваться на газовую котельную, чтобы иметь свободное время для чтения и других занятий. Тем более, что зарплату газооператоров с этого года подняли в полтора раза.

Обстоятельства ускорили принятие этого решения. Вскоре

после начала 1973 года в институте появился новый директор К. – бывший секретарь одного из райкомов партии. За ним числились разворованные 150 тысяч рублей, по тем временам крупная сумма. От греха подальше его списали в нашу тихую гавань. Он глянул окрест себя, и душа его уязвлена страданием стала: не институт, а какой-то приют диссидентов и сионистов. И начал действовать.

Но сначала гроза прогремела над головами начальников. Я видел нашего недавно столь гордого Овсянникова со слезами на глазах. Новый директор устроил погром. На собрании он заявил: «Есть работы, которые даже в готовом виде, когда откроешь – волосы дыбом поднимаются! И в 80 процентах вина в этом Овсянникова и Ефимова». Обратился к Вольскому: «Можете ясно сказать, что у нас есть, чего нет?»

Вольский с явным удовольствием, мол, посиди в этом дерьме, развел руками: «Да ничего нет. Площади складских помещений занижены. По паспортным данным – одни площади, заказчик привозит другие, мы меряем – третьи. А какие они в действительности, никто не знает...»

8 марта группа наших сотрудников отмечала в ресторане «Нижегородский». После вечера у гардероба я окликнул Юзика, чтобы взять у него номерок. Тут же к нам подскочил бойкий кудрявый молодой человек: «Если ты Юзик, то почему ты еще здесь?!»

К этому времени Юзик уже понял, что его кандидатскую будут футболить до бесконечности и пора эмигрировать. Проблема была с семьей. Жена Елена (русская) нигде не работала, ехать не хотела, ребенка не отдавала. В конце концов где-то через год они уехали. (Через какое-то время Елена, не найдя себе призвания, вернулась одна, и горьковские газеты с ее слов с удовольствием расписывал плохую жизнь на Западе, а потом она вновь эмигрировала. Юзик первоначально уехал в Израиль, но уже давно профессор престижного Принстонского университета).

Еще во время работы в Оргснабе он познакомил меня с семьей своего покойного учителя – Цветковыми-Сегал. Старший их сын Дима (Вадим) вольнодумствовал, создавал свою философскую систему и опасался попасть в психиатрическую больницу.

В Оргснабе я познакомился со своей будущей женой Татьяной Косткиной: они с подругой после Нового года пришли в наш отдел проходить практику. В этом же году она окончила ВМК университета и распределилась младшим научным сотрудником в Институт физики высоких энергий в поселок Протвино

Московской области.

До лета в Оргснабе я не дотянул. Начались мелкие придирики. Да и не хотелось мне подводить своих протеже. В начале апреля я получил расчет – 60 рублей. На все эти деньги я купил для мужчин вина, а для женщин отдела – цветы, полностью разорив цветочный магазин на пл. Лядова (последние цветы пришлось взять в горшочках).

В декабре, когда я уже работал на котельной, расстроенная Наташа Макарова – а она работала в орготделе Оргснаба – сказала, что в отчетах за год, в графе «текучесть кадров» я числюсь уволенным за пьянство.

Год назад, проезжая по проспекту Гагарина, я поинтересовался, что же теперь на месте Оргснаба? Оказывается, очередной банк.

И КОЧЕГАРЫ МЫ, И ПЛОТНИКИ

В августе я поступил на курсы газооператоров, а с 15 октября начался отопительный сезон. График работы – 12 часов в день, 12 часов в ночь, и двое суток свободные. Два котла «Универсал» и три сменщика, которых я почти не вижу. Моя котельная отапливает консерваторию в самом центре города. В двух шагах ходьбы от улицы Ульянова, где живут Павленковы и Пономаревы. В полуподвальном помещении помимо рабочей площадки – бытовка, в которой можно вскипятить чай, а ночью немного подремать. На стене цветная репродукция фотографии уютного немецкого городка.

Здесь, в основном в ночное время, я от руки переписал в трех экземплярах стенограмму своего судебного процесса, обвинительное заключение по делу Павленкова, Капранова, Жильцова и Пономарева и еще несколько документов. И прочитал множество книг, в том числе и самиздата.

А днем и вечером принимал гостей. Валера Буйдин забегает пофилософствовать за кружкой крепкого чая, Светлана Павленкова после работы, прогуливая в парке собачку Джульку, принесет что-нибудь перекусить, опущенная снегом Света Николаи занесет из издательства, что находится тоже рядом, за кремлевской стеной, новую книгу. Заходит с доберманом на поводке Борис Терновский. Юзик Сигал, до своего отъезда, приводит Диму Цветкова: посоветоваться, как ему себя вести в случае угрозы принудительного лечения. Купчинов заходит редко, ему своя котельная надоела.

Свои выходные я использую для довольно частых поездок в Москву. Туда везу материалы для «Хроники», назад – самиздат. После выхода «Архипелага ГУЛАГ» я привез в Горький несколько экземпляров книги в виде типографских распечаток по 16 книжных страниц на листе, которые переплел Дудичев.

Центральным же местом сбора «наших», или, как потом брезгливо обзывали горьковские газеты – салоном, – была квартира Светланы Павленковой. Здесь справляли дни рождения, Новый год и другие праздники, собирались посылки едущим на свидание в лагерь, обсуждались проблемы этих поездок. Сюда приезжала из Правдинска Надежда Андреева с письмами от Жильцова, из Чебоксар – Галя Капранова с известиями о Михаиле. Все ощущали себя одной большой родной семьей, делились последним, предлагали помощь и дарили друг другу подарки: книги, пластинки, что-нибудь из одежды, сувениры.

Кроме «диссидентского круга» здесь часто бывают друзья

Светланы: Юлия Максимова, сестры Ирина и Наташа Елизаровы, Нина Травницкая, Марк Тарасов, Владимир Серебренников (увы, он сдал ГБ взятую для прочтения одну из частей книги Владлена), брат Владлена Игорь Павленков. (Игорь после ареста брата до суда ежедневно приходил к Светлане, и потом – через день-два.) Надежда Андреева привела прилипшего к ней, вожатой, в пионерском лагере подростка Колю Лепехина. Сирота, дитя Московского вокзала, он стал для Светланы и Елены незаменимым помощником, палочкой-выручалочкой.

Зимой 1973 года появляется, после 6-летней отсидки по делу ВСХСОН, искусствовед Николай Иванов, родители которого жили в Горьком. Николай Викторович сидел в одной зоне с Владленом Павленковым, с уважением относится к нему. Он поражен несходством характеров эмоциональной Светланы и рационального Владлена. Увидев в семейном альбоме фотографию, на которой Владлен, стоя по колено в воде, читает газету, Николай воскликнул: «Вот в этом он весь, вся его суть!»

В лагере они постоянно спорили: Владлен – атеист и поклонник Салтыкова-Щедрина, а Николай – ортодоксальный православный монархист и поклонник Достоевского. «Согласитесь, Николай Викторович, что религия – моральная узда для простого народа, но никак не руководство для образованного человека» – вот его позиция!» – кипятился Иванов.

С Николаем Ивановым мы потом встречались и в Москве, на квартире Лени Бородина, он рассказывал о поездке в Питер, и полночи мы проговорили о литературе, Достоевском, Солженицыне. В частности, я доказывал, что Солженицын – писатель близкий по уровню таланта Толстому и Достоевскому (спор происходил еще до выхода «Архипелага»), а Николай, прочитавший «В круге первом», утверждал: да, занятно, но до Достоевского далеко.

Позднее Иванов поселился поближе к православному центру Загорску, в деревеньке из десятка домов Брыковы Горы. Я приезжал к нему из Протвино на александровской электричке и шел по морозу от ст. Арсаки 6 километров. А зимой 1977–78 годов он вместе с вернувшимся из армии Колей Лепехиным приезжали с ночевкой в наше общежитие в Протвино.

Более узкой компанией собирались у Бориса Терновского. Он жил в старом фонде рядом с оперным театром вместе с мамой, которую называл муттер. Он перешел работать в торговлю, имел деньги, покупал антиквариат. Наряду с этим интересовался философией, делал выписки афоризмов в общие тетради, собирал марки и коллекционировал артефакты, связанные с Третьим рейхом, занимался фотографией. Почти все хранящиеся у меня

фотографии 1972–74 годов сделаны им.

В мае 1973-го мы с ним и моей будущей женой Татьяной совершили поездку по Прибалтике, этому советскому предбаннику Запада. В Таллине у Татьяны жила подруга Татьяна Ланская, та для нее сняла номер в гостинице «Кунгла», а мы с Борисом ни в одной гостинице не получили места. После двойной порции кофе в Мюнди-баре мы две ночи не могли уснуть, да и негде было, просидели ночь на автовокзале.

В Риге, поселившись на квартире в Юрмале, конечно, пошли на концерт в Домский собор. Я купил пластинки с записями Гарри Гродберга и – чем очень гордился – два чайных сервиза (в Горьком не было) – один для родителей, другой для Светланы Павленковой.

В Литве побывали в Вильнюсе и Каунасе. Самые сильные впечатления у меня остались от готического костела Св. Анны и музея Чюрлениса, у Бориса и Татьяны – от каунасского Музея чертей.

Назад возвращались через Москву, где я отправился по своим диссидентским адресам.

6 июня 1973-го из Мордовских лагерей вернулся первым из «нижегородской четверки» и был радостно встречен Володя Жильцов. Лагерь выковал из него настоящего мужчину. Общее впечатление надежности, основательности и доброты. Такой русский богатырь. С тетрадью стихов. Но год под надзором он должен был провести на родине в Елатье. Работал там грузчиком в сельпо. А что дальше – он еще не определился.

С января 1974-го начались отъезды за рубеж. Проводили Наташу Кригсман с мамой, пожилых родителей профессора Тавгера (в 1968-м его вытурили с физфака, он уехал в Новосибирск, защитился и вот теперь эмигрировал).

В апреле из Чебоксар приезжала Галя Капранова. КГБ добрался до ее работы, «Видимо, придется уходить, куда, не знаю». Миша, по ее рассказам, весь ушел в религию, отстранившись от всего остального.

Летом, после моего посещения Саратова, в Горький на два-три дня приезжал Пугачев, остановился он у своих друзей. Мы встретились, он опять предлагал писать работу по декабристам, снова приглашал в Саратов. Я дал ему «Август Четырнадцатого», через сутки он вернул, прочитав том, со словами: «Не понимаю, почему эту книгу нельзя было у нас напечатать!»

В это же лето я получил от него письмо:

Дорогой Виталий Васильевич!

Сердечно благодарю за Ваше письмо и поздравительную телеграмму. Очень рад был получить от Вас весточку. Извините, ради бога, что отвечаю с опозданием. Немного болел, немного разъезжал, немного мелкой суеты, отнимающей много времени.

Я буду в Саратове с 1 по 12 августа на приемных экзаменах и с 9 по 11 июля (у меня 2 года со дня смерти мамы – 10 июля). Вторую половину июля буду в Ленинграде (адрес – Ленинград, Д-11, до востребования).

Получили ли Вы мой оттиск «Пушкин и Чаадаев» (из сборника «Искусство слова»)? Из Вашего письма не понял это.

Думаете ли Вы заниматься историей? Через год, в 1975-м, 150-летие со дня восстания декабристов. Поскольку Вы занимались Герценом, может быть, стоит написать статью «Герцен и декабристы»? Брать Герцена не как историка декабристов, а как публициста, сознательно идеализировавшего декабристов (как Мишле революционеров Франции), чтобы использовать их как агитационное знамя. Об этом почти не писали.

Но можно взять и декабристскую тематику непосредственно. Одна из неизученных тем – процесс декабристов. Конечно, это тема большая (о ней посмотрите в статье Ю.М. Лотмана о Мордовченко в нашем историографическом сборнике – я вышлю его Вам.). Но можно взять одного декабриста, например, Пестеля. Когда-то появилась работа Павла Сильвонина «Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом». В 1975 году все журналы охотно возьмут декабристские статьи.

Пишите и приезжайте. С лучшими пожеланиями.

Ваш В. Пугачев

3. 07. 1974.

3 июня освободился Сергей Пономарев. Из Елатьмы приехал в Горький, пока еще не насовсем, Володя Жильцов. Большой компанией поехали за Волгу на Дрязгу, фотографировались на Ивановском спуске и на фильянке (такое название речного трамвая укоренилось в Горьком) с чайками над головой...

В Мордовских зонах сидело много украинских националистов, Сергей и Володя переняли от них несколько песен и артистично их исполняли дома и на улице. Как-то

вечером такое исполнение услышали ребята из общежития водного института и начали аплодировать.

Работать Пономарев (а потом и приехавший Жильцов) начал разнорабочим, почтальоном.

После приезда Сергея я стал заходить в их квартиру на Ульянова, 4 – вплотную к зданию истфака. В узких, с высокими потолками комнатах, заставленных стеллажами с книгами, преимущественно поэзией, слушали рассказы Сергея про Донатыча, т.е. Андрея Синявского (они сидели на одной зоне и общались – филологи же!), стихи Елены, споря по поводу новых книг и фильмов. Только что вышел фильм «Калина красная» с лагерной темой, вызвавший неоднозначные оценки среди эзков.

3 октября мы с Борисом Терновским шли по улице Фигнер мимо типографии и на газетном стенде увидели некролог. «Смотри, – повернулся ко мне Борис, – умер твой Шукшин». Похоронен Шукшин был в Москве на Новодевичьем кладбище. Я хотел попасть на похороны, но из-за неудачного для меня графика дежурств не смог это сделать.

Недреманное око Горьковского УКГБ не выпускало меня из поля зрения. Мой шапочный знакомый Уланов, копируя в университетской фотолаборатории самиздат, был отслежен, задержан и дал показания на меня и еще нескольких знакомых. УКГБ были и другие источники информации, в том числе работала прослушка.

27 декабря я женился. Свадьба была в Протвино. Но только 7 мая 1975 года я рассчитался с предприятием тепловых сетей (ПТС) и переехал в Московскую область. При расчете мастер нашего участка сказал мне: «Ты на меня не обижайся. Я несколько раз выдвигал тебя на премию, но ни разу начальство не утвердило». Обижаться мне не приходило в голову.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

*За делом и в Москву невелик
поезд*

Поехал в Москву за песнями

Следствием теплых отношений, сложившихся у меня с Мишей Панкратовым и его женой Еленой Семека, стало то, что, приезжая в Москву в 1972–73 годах я обычно останавливался у них. Они жили недалеко от метро Добрынинская в трехэтажном доме, выходящем на Садовое кольцо (дом давно снесен и на его месте троллейбусная остановка).

Приезжал я из Горького утренним поездом, рано. Часа полтора-два сидел на вокзале или ходил по городу. Приезжал на Добрынинскую к 9 и все равно будил хозяев – ложились они далеко за полночь. Елена делала утренний туалет, а мы с Мишей выводили погулять дряхлого эрдельтерьера Питера.

Елена Сергеевна Семека, востоковед, буддолог, к.ф.н., работала в Институте востоковедения, где была уже на грани увольнения. Автор «Истории буддизма на Цейлоне», «Дела Дандрона» и соавтор нескольких книг о Ю.Н. Рерихе, она стала неблагонадежной после подписания в 1968 году письма в защиту Александра Гинзбурга. Умная и смелая, она была одним из немногих людей, через которых самиздатские рукописи и документы правозащитников передавались на Запад. (Тогда я об этом мог только догадываться.)

В доме частыми гостями были друзья: Борис Шрагин, Юрий Глазов (сослуживец, которого уволили из института), Павел Литвинов, поэт Наум Коржавин... Западные коллеги и корреспонденты, преимущественно итальянцы, приносили научную литературу, «тамиздат», лекарства (Елена Сергеевна страдала сильными головными болями, проходившими только от привозимых лекарств. «Я из-за одной головной боли готова эмигрировать», – иногда в сердцах говорила она).

В мой апрельский приезд 1973-го Лена и Миша пригласили меня поехать с ними в Пушкино к о. Александру Меню, о котором я тогда мало что знал. Елене, как востоковеду, он ранее дал на рецензию очередную свою книгу (объемный машинописный фолиант), в котором восточные религии рассматривались как предтечи христианства.

На электричке доехали до Пушкино и пешком дошли до Новой Деревни. Здесь о. Александр служил в небольшой

церкви XVII века.

Шли недели Великого поста. Мы попали на проповедь по окончании службы. Я увидел, как жадно и заинтересованно прихожанки ловят слова своего пастыря. Проповедь была о смысле поста и воздержания. Речь была простой, доходчивой, почти светской. После проповеди к нему подходили пожилые женщины, спрашивали советов, и он что-то им тихо отвечал.

Только через какое-то время он смог подойти к нам, извинился и отвел в домик при церкви. Поблагодарил Елену Сергеевну. Рассказал о своих бытовых заботах. На вопрос об эмиграции сказал, что не собирается уезжать: «Я же православный священник, здесь моя паства. Потом, мне подняться – это семья шесть человек и все окружение»...

Самым частым гостем у Лены и Миши был Наум Коржавин, которого все ласково звали Эммочка. Совершенно некрасивый, но обаятельный. Он в это время был в тягостных сомнениях – уезжать или не уезжать. Уезжать очень не хотелось. В Москве у него была аудитория, поклонники. С другой стороны, отовсюду он был исключен, его не печатали. Семью кормила красавица жена Любаня.

Свое отношение к Советской власти он уже недвусмысленно выразил в стихах:

*А у нас эта в прошлом потеха.
Время каяться, драпать и клясть.
Только я не хотел бы уехать,
Пусть к ним едет Советская власть!*

*Пусть к ним едет, поборникам цели,
Пусть ликуют у края беды
И товарищу Дэвис Анджеле
Доверяют правленья бразды.*

В машинописном экземпляре «Советская власть» была заменена пробелом.

Читая очередное сообщение «Хроники», он кипел: «Это же не власть – бандиты! Блатные! С ними нельзя играть по правилам. Они их признают только до тех пор, пока им выгодно. А начинают проигрывать, эти суки кричат: «Правила меняются!» Слово «суки» в его словаре было не ругательным, а нейтральным.

Осенью, после вызовов в КГБ, он решился и подал заявление на выезд в Израиль к несуществующим родственникам. 6 октября

началась «Война судного дня», и Эммочка кричал, вбегая в квартиру друзей: «Сегодня наши сбили семь наших самолетов!» Как раз в это время он получил разрешение на выезд, и Любана быстро управилась с упаковкой вещей.

Проводы были типичными для того начавшегося времени массовых отъездов. В 2–3-комнатную московскую квартиру набивалось до сотни людей: друзей, добрых знакомых и полужнакомых. Тут «патриоты» могли соседствовать с «сионистами», правозащитники с радикалами. Мебель сдвинута с мест. Сидеть не на чем. Все разговаривают стоя, выпивая и жуя бутерброды, разложенные по столикам и шкафам. Выходят курить на площадку. Тут и спорят, и целуются, и обмениваются адресами...

Пришел Александр Галич, спел несколько песен и откланялся. Когда он уходил, я вышел на площадку и поблагодарил его. Спросил: – А вы – не уезжаете? – Нет, я остаюсь. (В 1974-м и он уехал.)

В конце вечера Эммочка сидел на полу в одной из комнат и совершенно немusыкальным голосом – очень смешно – пел свой знаменитый *«романс «Памяти Герцена» по одноименному произведению В.И. Ленина: «Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло...»*

В середине октября у Лены и Миши был проведен обыск. В это время они жили, после переселения с Добрынинской, в новой квартире на ул. Вавилова, 76. Формально обыск проводила милиция. Повод: Михаил Панкратов подозревается в подделке документов. В квартире было полно людей (Литвинов, Шрагин и другие), которые как раз принесли документы для передачи на Запад.

«Милиция» почему-то долго топталась в передней, в это время в комнатах жгли бумаги, а «резидент» выпрыгнул в окно, оставив на вешалке свое пальто. В прихожей остался портфель Шрагина, набитый самиздатом. Все отказались признать вещь своей. Тогда Миша заявил: «Поскольку я хозяин дома, считайте, что это мой портфель!»

В апреле того же 1973 года я познакомился с Александром Гинзбургом. Его семья жила в Москве, на ул. Волгина, 13, а он на день-два вырывался из-под надзора из Тарусы. Мы столкнулись на лестничной площадке, когда он вывозил в коляске на прогулку своего первенца Саньку. В квартире, увешанной картинами Оскара Рабина и Валентины Кропивницкой, жена Алика Арина пожаловалась на трудности одинокого жилья Алика в Тарусе и, узнав, что я собираюсь перейти в газоператоры, высказала идею: может, стоит мне перебраться в Тарусу, жить у А. Гинзбурга и

найти с ним общую работу в той же котельной.

В середине мая, после поездки в Прибалтику, я вновь побывал на Волгина, а потом вместе с Ариной на Б. Полянке в коммунальной квартире двухэтажного дома у «старушки», Людмилы Ильиничны (Ее муж, известный архитектор Сергей Чижов, был расстрелян в 1937-м, Александр Ильич получил фамилию и отчество матери). Здесь я застал отправляющуюся на свидание в лагерь к своему мужу Галину Гаврилову (Геннадий Владимирович Гаврилов, бывший флотский офицер, сидел в одной зоне с Павленковым). Галину Васильевну затоваривали московскими продуктами. Здесь же помогал в сборах еще совсем молодой Александр Даниель, который должен был сопровождать Гаврилову в Мордовию. Гавриловой я подарил для передачи в лагерь альбом Чюрлениса, привезенный из Литвы, по своему опыту зная, как в зоне не хватает красок.

В те же майские дни я заехал на Автозаводскую. После ареста в мае 1972 года Якира Юлик и Ира перебрались сюда с Рязанского проспекта. В квартире как раз читалось и обсуждалось капитулянтское письмо Якира к Сахарову, доставленное из Лефортова. Кто-то спросил, будет ли на письмо какая-нибудь реакция Сахарова. «Ну кто же на такие письма оттуда отвечает!» – сказал Юлик.

Процесс Якира и Красина начался 27 августа, шел почти неделю, закончился известной пресс-конференцией для иностранных журналистов, частично транслируемой по телевидению. Власти очень надеялись на большой эффект мероприятия. Но он был смазан заявлением Инициативной группы, выступлениями Солженицына и Сахарова, которые шли по всем «вражьи́м голосам».

В ответ началась травля Сахарова. Появилось печально известное письмо сорока академиков. В провинции, в том числе и в Горьком, собирали аналогичные письма, и кое-кто успел их подписать, но сверху дали отмашку – прекратить кампанию. Может быть, отчасти потому, что Игорь Шафареви́ч, Владимир Войнович и Владимир Максимов, а потом и Солженицын предложили выдвинуть Андрея Дмитриевича на Нобелевскую премию мира, и идея была подхвачена за рубежом.

20 октября из Москвы пришло известие о самоубийстве Ильи Габая, выбросившегося из окна 8-го этажа. Мы, нижегородцы, сбросились деньгами, и 23-го я, после ночного дежурства, должен был улететь на похороны, но был задержан в горьковском аэропорту все тем же Савельевым, отвезен на Воробьевку и после профилактической беседы отпущен. Деньги жене Ильи Гале мы переслали почтой.

28 декабря в Париже в ИМКА-ПРЕСС вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ», взрели на полную мощность все глушилки Советского Союза. После кампании травли «литературного власовца» Солженицына 13 февраля 1974 года выслали из страны. Я, как и многие, воспринял его высылку как сигнал к усилению репрессий. Для подстраховки отнес один экземпляр стенограммы моего судебного процесса Диме Цветкову, у которого он через несколько лет был изъят при обыске.

Еще один экземпляр я летом передал в Москве Адели Найденович для напечатания в самиздатском журнале «Вече», который редактировал Владимир Осипов. Но в октябре, после выхода девятого номера журнала Осипова арестовали (за свои патриотические публикации он получил на суде в древнем русском городе Владимире 8 лет по ст. 70), и рукопись пришлось срочно забрать.

В марте Миша Панкратов и Елена Семека подали заявление на выезд и мгновенно получили разрешение и – неделю на сборы. Ранее они посетили семью Солженицына и застали ее в легкой растерянности: среди прочих предотъездных дел надо было по телефонной просьбе Александра Исаевича выслать ему его привычные личные вещи: куртку, головной убор и т.д. Все эти вещи должны были пройти дезинфекцию и быть снабжены разными справками. «Что надо делать?» – спросила Лена и быстро принялась за оформление всех процедур.

От них хотели побыстрее избавиться, но у Лены была проблема с сыном от первого брака. Ему не хватало несколько месяцев до 18 лет, а отец не давал разрешения на выезд. Была и другая проблема: старика Питера сложно было вывезти из-за массы бюрократических препон. Друзья предлагали оставить собаку в Москве. Но Миша сказал: «Это будет предательство!» В конце концов все уехали и поселились в Бостоне.

Весь 1974-й продолжались отъезды. Уехали Павел Литвинов, Александр Галич, участник демонстрации на Красной площади Владимир Дремлюга, писатели Виктор Некрасов и Владимир Максимов (в сентябре он уже подготовил в Париже первый номер журнала «Континент»).

Но после того, как Сергей Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович взяли на себя ответственность за выход «Хроники текущих событий», после долгого перерыва выход ее возобновился. Расширился обмен самиздатом, и во все большем количестве по разным каналам в страну потек тамиздат: журналы и газеты «Континент», «Синтаксис», «Русская мысль», «Грани» и художественная литература.

Под давлением мировой общественности генерала Петра

Григоренко освобождают из психолечебницы. В мае 1975-го после сокращения второго срока возвращается в Москву Андрей Амальрик, автор книги «Просуществует ли СССР до 1984 года?»

В «Войне и мире» у Толстого, где описано московское и петербургское дворянство, все знают друг друга, состоят в родственных связях, а отъезжающему в провинцию всегда рекомендуют родственника, у которого можно остановиться. В диссидентской, или точнее правозащитной, среде с начала 70-х годов устанавливаются подобные отношения. Многие диссидентские семьи породнились. А ощущаемое некоторыми чувство некой элитарности было основано не на службе государю, почестях и наградах, а на понимании, что правозащитники идут в тюрьму за свои убеждения. И таких людей немного, это элита, от Сахарова и Солженицына до машинистки, перепечатающей самиздат.

Сахаровская статья «О стране и мире» и присуждение ему в 1975 году Нобелевской премии мира – наиболее значимые события конца этого периода.

*А шмон затянулся. Ключот
понятые.*

Таруса, Таруса, Россия, Россия...

Выполняя весенние договоренности с Ариной и Аликом Гинзбургами (я везде буду называть Александра Ильича так, как все близкие называли его в жизни), я в начале июня 1973-го выписался из квартиры родителей, снялся с воинского учета и поехал в Тарусу, как думал, на постоянное место жительства.

Алик вышел из лагеря в январе 1972 года. В Москве, поднадзорный, он как и другие политзаключенные, отсидевшие срок по 70-й статье, жить не имел права. Из городов 101-го километра он выбрал Тарусу.

Таруса, воспетая Цветаевой и Паустовским, – город художников и писателей, где состоятельные москвичи на все лето снимали дорогие дачи, был одновременно и городом ссыльных, а с 70-х – и своеобразным центром политического вольномыслия. Потому в небольшом городке вместо уполномоченного КГБ был целый отдел этой организации. Кроме Гинзбурга в 1971 году там поселились Анатолий Марченко и Лариса Богораз, постоянно жили и другие семидесятники, в том числе реабилитированная дочь Цветаевой Ариадна Эфрон.

В 1972-м и зиму 73-го Алик жил у Оттенев, а весной купил полдома на улице Лесной. Полдома эти были бревенчатой развалухой. Он с удовольствием и даже самозабвенно начал ее обустраивать, отрываясь на чтение самиздата, которым был полон дом. И на прием гостей. Арина с Санькой на лето переехали из Москвы к нему. Людмила Ильинична тоже.

Никаких удобств в доме не было. Воду в тяжелых бидонах нужно было привозить на тележках с соседней улицы. Туалет и кухонная пристройка – во дворе. Особенно много времени отнимало мытье посуды и стирка.

Тем не менее все лето приезжали и часто останавливались на ночлег гости. По приглашению жил девятилетний Егор Синявский, вдумчивый, серьезный мальчик, писавший в ту пору романы «из ператской жизни» и игравший в эти самые пираты в овраге напротив дома.

В этом или в одном из других многочисленных оврагов летом с Аликом тайно встретился Солженицын, посвятивший его в планы издания «Архипелага». Алик принял предложение стать

распорядителем Русского общественного фонда помощи политическим заключенным.

Самыми частыми гостями были бывшие зэки и их жены. Особенно приветливо Арина встречала «колокольчиков» – освободившихся к этому времени участников питерской марксистской группы «Колокол», созданной активистами студенческих стройотрядов ленинградского технологического института: Валерия Смолкина, Виктора Ронкина... При мне приехала очень энергичная Лида Иоффе, у которой все горело в руках. (Я подумал, что, наверно, столь энергичная женщина держит мужа под каблуком. Но познакомившись позднее с Вениамином, убедился, что он сам – сгусток энергии.)

Не все гости были так желанны, но лагерная солидарность была превыше всего. Довольно долго гостевал тяжелый «западный человек» Виктор Калниньш, отсидевший свою десятку. Чопорный и важный, питаться он ходил отдельно в ресторан. Одетый в строгий костюм, физического труда избегал, видимо, полагая, что за свою десятку физически натруился на всю оставшуюся жизнь. Мы подтрунивали над ним. Так, в ночь на Ивана Купала он принялся вдохновенно и цветисто рассказывать, как в Латвии в эту ночь идут гуляния, юноши с девушками прыгают через костры. Жаль, что ничего этого нет в России. «Отчего же, – со смешком предложил Алик, – берите Людмилу Ильиничну – и в лес! Кстати и грибочков наберете!»

Незадолго до своего отъезда на Запад приехал попрощаться Андрей Синявский. (Главным обвинением против Гинзбурга было составление «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля.) Приехал из Москвы на такси, что более всего изумило соседей. Грозный Абрам Терц произвел на меня впечатление очень мягкого, интеллигентного человека, из тех, что «мухи не обидят». После обеда он церемонно раскланялся и поблагодарил всех, кто к нему (обеду) был причастен, в том числе и меня, помогавшего мыть посуду.

Положение Алика в Тарусе было неустойчивое. Кроме фабрики народных промыслов предприятий в городе почти не было, да никуда его и не хотели брать, а взяв, старались избавиться. Наш план – устроиться на работу в единственную газовую котельную – не удался: все вакансии были заняты. Как и на угольных котельных.

Но Алик не унывал: прирожденный оптимизм, легкий характер и лагерный опыт не давали ему пасть духом. С рюкзачком за спиной, из которого торчала Санькина голова, он бодро шагал по тарусским улицам и оврагам, не выпуская изо рта дешевые сигареты «Шипка», то в дальний «московский» магазин

(в нем иногда бывало сливочное масло), то за каким-нибудь материалом для дома.

Я думаю, предложение Солженицына изменило планы Алика и Арины относительно работы, и наши совместные с ним будущие дежурства в котельной стали неактуальны. Через месяц после приезда я уезжал одним автобусом с Лидой Иоффе из Тарусы. На крыльце деревянной автостанции стояли Алик с неизменным рюкзачком и Егорка Синявский.

В начале 1974 года Алик с обострением язвы желудка лежал в московской больнице. (В соседнем отделении с холециститом лежал Павел Литвинов.) Пребывание его в больнице совпало с высылкой Солженицына из Союза. В очередной мой приезд в Москву мы вместе с Аликом поехали в квартиру Солженицыных в Козицком переулке.

Семья А.И. еще не уехала: велись переговоры с властями об отправке книг части архива и шла нелегальная переправка главных рукописей и архива. В квартире меня несколько удивили две бегавшие из комнаты в комнату девочки с длинными белыми волосами с бутылочками «Тоника» в руках. Не сразу я сообразил, что это сыновья Александра Исаевича. Здесь же были старший сын Натальи Дмитриевны от первого брака Митя и его отец Андрей Николаевич Тюрин и еще несколько человек.

Младший сын Степан болел. Нужно было срочно достать лекарство. Оно было в доме у Гинзбургов на Волгина. Меня, как самого молодого, попросили «слетать» в Беляево.

На обратном пути, на станции метро «Проспект Маркса», я столкнулся с В.В. Пугачевым (я ранее рассказал об этой встрече).

До поезда в Горький оставалось еще несколько часов. Андрей Тюрин дал мне карманный ИМКА-ПРЕССовский экземпляр «Архипелага» (в Москве в это время их было всего несколько экземпляров), и в доме автора я до упора читал книгу, которую яростно глушили на всех «вражьих голосах».

Летом 1974-го я снова на месяц приехал в Тарусу. «Русский умелец Гинзбург», так, шутя, окрестили его еще в лагере (он там умудрился собрать диктофон и сделать несколько магнитозаписей), к этому времени обил бревенчатые стены и потолок избы рейкой, сделал канализацию, ставил забор. На выходные из Москвы приезжала целая бригада помощников. Помню Мишу Утевского, копающего ямы под столбы, Веру Лашкову, строгавшую на верстаке доски для забора.

Арина в этом году родила второго сына – Алешу. Вскармливала его смесями – «молоком датской коровы». Помимо готовки, стирки, мытья посуды (конечно, мы ей помогали) ее одолевал недосып. Видя это, я брал двухлетнего Саню, сажал его

за спину в рюкзачок и отправлялся с ним гулять в березовую рощу на краю города (ее давно нет – космический институт застроил и поле перед ней, и саму рощу свел под застройку). Порой начинал накрапывать дождь, но Саня был в непромокаемом капюшоне. Он засыпал, а я умудрялся собирать грибы на жарешку. Часа через два мы возвращались. «Ой, Виталий, спасибо, я хоть выпалась», – благодарила Арина.

Как и в прошлом году, было много гостей. Приезжал освободившийся из лагеря Володя Дремлюга, участник демонстрации на Красной площади, Татьяна Баева... Приехал из Переделкина Евгений Пастернак, чтобы встретиться с Ариадной Эфрон и договориться о публикации переписки Пастернака и Цветаевой. Встретился, но положительного ответа не получил (позднее переписка была все же опубликована). Ариадну Сергеевну я видел несколько раз, просил Алика познакомить с ней. Но он сказал, что Ариадна очень неохотно идет на знакомства, ведет замкнутый образ жизни, общается только со своей лагерной подругой. В 1976 году она умерла от сердечного приступа и похоронена на тарусском кладбище недалеко от могилы Паустовского. В ее ограде похоронен и прах ее подруги.

В Тарусе летом и в этот и последующие годы на улице можно было встретить старичков Богоразов: Иосифа Ароновича, отца Ларисы Богораз, автора самиздатской прозы, и Аллу Зимину, автора замечательных песен, самая известная из них про «Братьев Монгольфье». Гинзбург очень ценил ее авторское исполнение и несколько раз записывал Аллу на диктофон.

Из Горького в свой отпуск приезжала Светлана Павленкова с сыном Витькой, снимала с Арины половину домашних дел.

На поросших травой улочках или на мостках через овраги мы частенько пересекались с Толей Марченко, спешащим с бидончиком молока для сына Паши или за материалами для стройки.

В этом же году в доме Гинзбургов появился 14-летний Сережа Шибаев. Привел его, кажется, его ровесник Витя Павленков. Сергей жил с матерью и отчимом. Оба попивали. Отчим Иван, типичный русский мастеровой, приходил как-то к Гинзбургам пробить засорившуюся канализацию. Тактично говорил, оправдывая хозяина: «Ученым людям свое знание дано, нам – свое». Сергею у Гинзбургов было интересно, для них же он оказался незаменимым помощником.

С начала 1975 года, после снятия официального надзора, Алик получил право снова жить в Москве. Сахаров оформил его к себе секретарем, проблема с официальной работой была решена, он еще больше мог заниматься делами Фонда. Солженицын на

него оформил подержанный «Москвич», у которого то и дело прокалывали шины некие «хулиганы». Сережа Шибаев переехал вместе с Гинзбургами в Москву, где скоро стал всеобщим любимцем в диссидентской среде. Особенно теплые отношения у него сложились с Юрием Гастевым, Виктором Тимачевым, Ириной Валитовой.

В 1976 году образовалась Московская хельсинкская группа, куда Алик вошел одним из первых. Руководитель группы – физик Юрий Орлов (членкор Армянской АН), живший по соседству с Гинзбургами на Профсоюзной, часто заходил к Алику. Небольшого роста, с кудрявыми волосами и лицом, как бы посыпанным пудрой, он почему-то напоминал мне грустного клоуна. (Его жена Ира Валитова, широкая натура, щедро раздавала привезенные ей в подарок с Запада вещи.) Все серьезные переговоры и беседы в этом, как и во всех диссидентских домах, годами велись только путем переписки на детских дощечках-стерках или на бумаге, которая потом сжигалась. Никаких имен новых людей, пришедших с поручениями или принесших самиздат, «под потолками» не называлось.

Но был и постоянный близкий круг людей: Дима Борисов, Виктор Дзядко, Сергей Ходорович, Татьяна Бахмина, Ира Валитова, Миша Утевский, Александр Бабенышев и его жена Марина... Бабенышевы жили в соседнем подъезде. Александр (тоже в общении – Алик) Бабенышев, по первой специальности геолог, серьезно занимался статистикой, позднее редактировал самиздатский журнал «Поиски и размышления», Сахаровский сборник, а в эмиграции – журнал «Страна и мир» и публиковал демографические статьи под псевдонимом Максудов.

Из Питера наезжали «колокольчики», из Горького – Светлана, Игорь Павленковы, с 1978 года – отказник Марк Ковнер.

В доме на полках вперемежку с классикой стоял новейший самиздат: новые номера «Континента», «Время и мы», «Бодался теленок с дубом». «Ленин в Цюрихе» с известным портретом Ленина во всю обложку. Алик смеялся: «Может стоять хоть на полке в библиотеке – никто не обратит внимания».

Но летом и 1975-го, и 76-го Гинзбурги опять жили в Тарусе.

Я, женившись, переехал в Протвино, долго бился за прописку, умудрился прописаться в Тарусе у бабушки Сергея Шибаева. Потом все же протвинское жилье получил и стал жить в 30 километрах от Тарусы.

Обычно через Юрятино и Волковское пешком добирался до дороги на Тарусу и любым транспортом доезжал до города. Отвозил прочитанный самиздат, иногда дочитывая очередной

«Континент», сидя на краю оврага.

В начале 1975 года вновь арестовали и выслали Анатолия Марченко. И даже дом его разломали. Зато вместе со всей семьей в Тарусу летом стал наезжать Петр Григорьевич Григоренко. В 1974 году, перед приездом Никсона в Москву, его, под давлением мировой общественности, выпустили из психушки. Вот уж кого трудно было причислить к людям с больной психикой! Генерал с первого взгляда производил впечатление очень уравновешенного, основательного украинского мужика. С юмором рассказывал, как в молодости, ретивым комсомольцем, он спорил со своим батькой. Доказывал ему, что все скоро будет общественным, и как это будет хорошо. «Нет, – отвечал ему мудрый отец, – если человек не научился уважать чужую собственность, он не будет уважать и общественную». Осенью 1975-го его сын Андрей уезжал в эмиграцию. Были обычные шумные проводы. После застолья Петр Григорьевич хозяйски обошел столы и пробками закупорил открытое вино. Мне сразу вспомнилась сцена из «Войны и мира», эпизод у Сперанского: «Нынче хорошее вино в сапожках ходит!»

Летом 1976 года мать Гинзбурга Людмила Ильинична получила квартиру в новом районе, освободив жилье в старом двухэтажном московском доме XIX века на Полянке, где жили 17 семей и где Гинзбургам принадлежала одна комната у входной двери. Алик договорился с тарусским водителем, командированным в Москву, и мы с ним вывезли буфет, диван и деревяшки, нужные Алику для строительства, в Тарусу.

В декабре 1976 года состоялся знаменитый обмен Владимира Буковского на Луиса Корвалана (*«Обменяли хулигана На Луиса Корвалана. Где б найти такую б...дь, Чтобы Леню поменять!»*) Услышав новость по западному радио, мы с Аликом, как и многие другие, поехали к его матери Нине Ивановне. По дороге, на Пушкинской, в магазине «Армения» Алик купил – для передачи Володе – дорогой коньяк. У Нины Ивановны в квартире толпилось много людей, и приходили все новые. Стали писать большую коллективную открытку Володе, все подписывались за себя, а потом стали подписываться и за отсутствующих, «за того парня», я подписался за всех эзков-нижегородцев (они уже были на свободе). Как потом стало известно, ни коньяк, ни открытку вывезти не дали.

После ареста Александра Гинзбурга в феврале 1977-го в его доме в Тарусе был произведён грандиозный шмон. Сопровождался он фотографированием со вспышками, и хозяйка второй половины дома шепотом говорила: «Прямо как молнии всю ночь сверкали!»

Алик уже никогда не вернулся в дом на Лесной, 5. Но домом

еще долгое время пользовались другие зэки. В 1977-м Кронид Любарский (Алик ранее цитировал шутивную надпись в лагерном туалете: «Здесь сиживал потомок барский Кронид Аркадьевич Любарский») прожил здесь лето и осень, потом жил Олег Воробьев.

В 1978 году вышел первый в СССР большой диск Окуджавы. Я скупил в Серпухове все, что только можно, для подарков. Одну пластинку подарил на день рождения Арине, который она провела с друзьями в Тарусе. Мы все в этот день «наокуджавились», немного смягчилась горечь от полученного Аликом срока. Арина потом выслала эту пластинку, с согласия дарителя, Солженицыным в Вермонт.

*Я мою уживчивую музу
Прописать на жительство хочу*

В мае 1975 года, рассчитавшись с Горьковским предприятием тепловых сетей и выписавшись из квартиры родителей, я приехал в Протвино, к жене, на постоянное место жительства. Татьяна жила в общежитии, но с отделом кадров ИФВЭ была предварительная договоренность, что приехавшего мужа безусловно возьмут на работу в котельную института, такой специалист нужен, и дадут жилье и прописку.

Но когда я предоставил кадровикам свою анкету (судимость моя к этому времени была погашена и в ней не значилась), то тут же получил отказ. В личной беседе начальник ОК Ю.Е. Касаткин, ковыряя в зубах, прямо сказал: «С вашей статьей в Протвино вы не нужны».

– Но у вас же в институте, я знаю, работают люди с уголовным прошлым!

– То – уголовники, а то – вы.

Без прописки нечего было мечтать об устройстве на любую работу, и наоборот – без работы я не мог претендовать на жилье.

Поездка в Москву, в приемную Верховного Совета, оказалась бесполезной. Очередь жаждущих справедливости в приемной быстро распределялась на входе по референтам, которые так же быстро выдавали формальные ответы. Так что ошарашенный посетитель через несколько минут опять оказывался на улице. Повторный заход был невозможен: «Вы уже были на приеме!»

Юрист, к которому подошли мы с женой, мельком взглянул на мой паспорт и сказал: «Чего же вы хотите? Протвино – режимный город, там живут иностранцы». Я попытался возразить ему, что в Протвино я приехал из города, вообще закрытого для иностранцев, но он уже повернулся к следующему посетителю.

Но если тебе отказывают в протвинской прописке, можно ведь прописаться в соседнем районе Калужской области: в Кременках, в Юрятине, на другом берегу Протвы, в Троицком... Не тут-то было! Все деревни и поселки вокруг научного центра уже были заполнены «мертвыми душами». По 200–300 приезжих были прописаны в каждом сельсовете, но жили и работали в Протвино.

Протвино в это время бурно росло, строилось много домов, поэтому не только сотрудники института, но и люди,

проработавшие два- три года в строительстве, на ЗНО или ЗМО, могли рассчитывать на получение скромного жилья. По стране в эти годы люди стояли в очередях на квартиру по 10–15 лет. При этом, из-за какого-нибудь нарушения или слишком острого языка из очереди могли турнуть.

Ночевал я в эти месяцы то у знакомых Татьяны, то в свободной на выходные комнате общежития. Снять жилье было непросто – Протвино распирало от приезжих. Но все же удалось снять комнату, вернее угол в блочно-панельном доме на въезде в поселок.

Хозяйка – баба-кулак, с лицом достойным коллекции Ломброзо, жила в хрущевке со своей матерью, слепой старухой, которая продвигалась в туалет по веревке, протянутой через проходную комнату. Дочь только что не колотила ее, грубо, отрывисто лаяла в ответ на какую-нибудь ее просьбу и кормила из плошки наподобие собачьей.

Когда мы оставались одни, я давал ей что-нибудь поесть и с интересом слушал ее путанные рассказы о раскулачивании, атмосфере страха в городах после убийства Кирова. Про свою дочь она говорила: «Бог ей судья!» Понятно, что я старался бывать в квартире как можно меньше, приходя только ночевать.

Поездки и походы по сельсоветам ничего не дали. Но прописку надо было все равно как-то добывать. Не попробовать ли прописаться в Тарусе? В месте недобровольной ссылки эжков, которым запрещен въезд в Москву. Но захочет ли милиция прописать на свою голову еще одного диссидента, приехавшего добровольно?

Что делать! Заручившись согласием бабушки Сережи Шибаева временно прописать меня за 10 рублей в месяц на улице Луначарского, я заявился в тарусскую милицию. Начальник паспортного стола, молодой лейтенант, листнув мой паспорт и сразу определив, что выдан он по справке из исправительного учреждения (почему-то мне в голову не пришла простая народная мысль – еще в Горьком «потерять» паспорт и выправить новый), спросил, за что я сидел.

– За халатность на производстве, статья 130.

– За халатность? А скажите, не вас ли я видел вместе с Гинзбургом на пляже дома отдыха Куйбышева?

– Я даже не знаю, где такой пляж.

Повертев мой паспорт и еще раз недоверчиво взглянув на меня, он сказал:

– Идите к начальнику. Как он решит.

В кабинете начальника (им в то время был майор Володин) я, битый эжк, пошел на небольшую хитрость. Начал издавека. Я,

такой-то, по специальности техник-механик, приехал в Протвино к жене, младшему научному сотруднику, но поскольку она живет в общежитии, мне нужна временная прописка. Говоря это, я вынул сверток с документами и стал по одному передвигать их по столу к сидящему начальнику: сначала паспорт жены, потом ее университетский диплом, потом мой техникумовский диплом с пятерочным вкладышем и в последнюю очередь – свой паспорт.

Первые три документа майор посмотрел более-менее внимательно, мой паспорт только открыл на первой странице и отодвинул всю пачку. Посмотрел на меня заинтересованно.

– А знаете что? Не хотите поработать у нас?

Я опешил:

– Где, у вас?

– В милиции. Вот, я вижу, вы – интеллигентный человек, по специальности механик. А нам как раз нужен начальник гаража.

– Вы знаете, я окончил техникум много лет назад и прямо по специальности работать как-то не пришлось. Боюсь, без практики я с этой работой не справлюсь.

– Техническая часть – дело второстепенное. Между нами говоря, механика мы выгнали за пьянку. И не первого. Нам нужен интеллигентный, надежный человек. Вы нам подходите. Мы вам и квартиру дадим.

– Но у меня жена работает в Протвино.

– Берите жену, мы и ей работу найдем, на хорошую зарплату!

– Вы знаете, это такое неожиданное предложение... мне надо с женой посоветоваться.

– Советуйтесь. А мы подождем.

И размашисто пишет на моем заявлении «Прописать постоянно»!

Начальник паспортного стола изумился, увидев такую резолюцию (возможно, подумал, что я дал большую взятку) и поставил штамп прописки. Конечно, он, может быть, через несколько минут сообщил майору о его оплошке, но дело было сделано.

Я тут же побежал в военкомат и встал на воинский учет, заплатил деньги хозяйке и помчался в Протвино. Теперь можно было устраиваться на работу.

Местом, где меня согласились принять в качестве слесаря-монтажника, оказался завод нестандартного оборудования (ЗНО). Цех № 1. Работа заключалась в изготовлении массивных металлических шкафов под приборы с обработкой заусенцев напильником. Трудились тут – не за зарплаты, а за квартиры – крепкие широкогрудые деревенские ребята, тягаться с которыми было тяжело.

Получил я свой шкафчик в раздевалке, вместе с советом ничего ценного в нем не оставлять, робу, бутсы. Бригадники приняли меня доброжелательно. Только мастер поглядывал с сомнением: он видел, с каким видимым напряжением я кладу под штамп свою половину металлического листа.

После рабочего дня мы обычно возвращались в поселок по лесной дороге, травя разные истории. (Вся эта часть Протвино давно застроена.)

В Тарусе к Сережиной бабушке не раз уже навещалась милиция, спрашивая, где квартирант, и угрожали штрафом. В милиции меня выписали, но штамп в паспорте остался.

В конце лета я с ЗНО уволился, решив, что с началом отопительного сезона буду работать на котельной в соседнем Серпухове, про который я тогда почти ничего не знал. Знал только, что в конце длинной улицы Чехова есть музей, в котором я побывал в 1974 году на выставке работ Нади Рушевой.

В отделе кадров «Теплосети» – тогда управление помещалось в одноэтажном доме на ул. 2-я Революции – я просился на место газооператора. Начальник ОК, бойкая и доброжелательная Нина Ирхина, поглядев мои документы, удивилась:

– А почему оператором? У вас же диплом техника. Идите к нам мастером.

– Спасибо. Но мне нужны дежурства, поскольку я живу в Протвино, и каждый день ездить неудобно.

– Хорошо! Мы сейчас как раз организуем диспетчерскую службу. Это тоже дежурства. Но в качестве мастера.

Мог ли я тогда предполагать, что с двумя небольшими перерывами проработаю в «Теплосети» до октября 1990 года, до назначения редактором в «Совет», то есть 15 лет. А в декабре этого, 1975 года, я наконец-то получил прописку в Протвино.

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

К своим техникумовским и университетским стихам серьезно я не относился, справедливо считая их подражательными (Есенину, Блоку). Только родившиеся в лагере миниатюры заставили взглянуть на это занятие серьезнее.

К концу 1974 года помимо миниатюр у меня набралось несколько десятков «традиционных» стихотворений. Отпечатанный экземпляр Виталий Дудичев переплел в книгу. На синем фоне обложки – фотография нижегородского Архангельского собора. Поставив книгу на полку, я искренне решил, что со стихами, кроме шуточных посвящений, все покончено.

Но в 1975-м, 76-м родились новые стихи. Мне показалось возможным их опубликовать. Где? Конечно, хотелось в «Юности», в самом популярном молодежном журнале с большим разделом поэзии и полуторамиллионным тиражом. Я собрал подборку из двух десятков стихотворений и без особой надежды отправил их в «Юность». К своему удивлению, через некоторое время я получил приглашение приехать в редакцию журнала.

Отделом поэзии в «Юности» в это время заведовал поэт Виктор Коркия. Из беседы с ним о современной поэзии я запомнил только скептический отзыв о стихах Арсения Тарковского, который, по его мнению, дутая величина.

Что касается собственно моих стихов, то Коркия разложил их на две примерно равные стопки. В одной оказались лучшие, но непроходные стихи («пессимизм, религиозные мотивы» – невозможные для комсомольского журнала). Вторая стопка состояла из стихов, «которые можно напечатать». Еще раз пересмотрев ее, я сказал: «Если бы мне было 20 лет, я бы обрадовался такой публикации. Но мне уже 30, и я не хотел бы предстать перед читателем с такими стихами». Коркия развел руками и вернул мне мои листы.

Когда я рассказал о поездке и состоявшемся разговоре нескольким своим друзьям, они не одобрили мой отказ: «Зря! Да напечатайся ты в «Юности» – вся страна прочитала бы!»

В 1977 году после ареста Александра Гинзбурга я написал и передал его жене Арине три стихотворения, которые у меня ассоциировались с его и других диссидентов судьбами, с Тарусой («Перед снегом», «Что с тобой, душа, случилось...», «Август в Тарусе»). Отдал и забыл.

Как-то вечером в ноябре–декабре 1978 года, уложив сына спать, я на кухне мою посуду, привычно слушая радио «Свобода».

Предают обзор 17-го номера парижского журнала «Континент». Вдруг слышу – читают мои стихи, из тех, что я отдал Арине. Я подозвал жену: «Послушай!» Она послушала и рационально рассудила: «Денег они тебе не заплатят, только новые неприятности получим». Позднее, в связи с изданием самиздатского альманаха «Проталина», в КГБ мне эту публикацию среди прочего припомнили.

Через некоторое время московский бард Петр Старчик переложил два стихотворения на музыку. У Петра в квартире один угол был наподобие иконостаса: там висели десятки фотографий авторов, на чьи стихи он сочинял песни. Была там даже фотография Солженицына. Некоторые вещи ему очень удались: «Майерлинг» (на стихи Виктора Некипелова) и «Переведи меня через майдан», которые он вдохновенно исполнял вместе с женой Саидой. Интерпретация же моих стихов как-то не произвела на меня впечатления.

В 1979 году вынужденно эмигрировали мои друзья Павленковы. Они увезли подборку моих стихов, несколько из них были напечатаны в 1979–80 гг. в «Русской мысли».

ПРОТВИНО, СЕРПУХОВ, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ

Многие протвинцы начинали свою жизнь в Протвино с общежития на ул. Победы, 8. Здесь на третьем этаже, над музыкальной школой, мы получили 14-метровую комнату с общей кухней и коридором, заставленным детскими колясками. Через несколько месяцев в потолке нашей комнаты днем, полагая отсутствие хозяев, просверлили отверстие под аппаратуру. Я случайно оказался дома, пригласил свидетеля – соседа по подъезду Володю Ефремова – и написал о случившемся заявление в милицию. Бедного Володю потом затюкали в институте: он должен был быть в это время в лаборатории. Мне же прислали отписку, де при проведении ремонтных работ случайно рабочие просверлили перекрытие между третьим и четвертым этажом.

Опыт первого года жизни в Протвино вылился в такую эпиграмму:

*Что такое Протвино?
Две пивные, два кино,
Сто французов, десять дач,
На троих – один стукач.
(Им – лимиты, прочим – хрен,
Зато поровну рентген.)
Прогрессивка за прогресс,
Остальное – темный лес!*

Тем не менее, уже в этот год я нашел новых друзей, с которыми продолжаю дружить и по сей день. За исключением тех, кто, увы, умерли.

Общение с диссидентом в режимном городе, под неусыпным приглядом первого отдела поневоле суживало этот круг, но тем надежней и порядочней были входившие в него люди.

Самыми первыми друзьями стали Ирина Лупашина, ее мама Александра Антоновна и тогда 10-летний сын Ирины Володя. Ирина, к.ф.н., руководитель группы в ИФВЭ, умница, быстрая, энергичная, постоянно занятая каким-нибудь делом. Глотатель литературы, в том числе и самиздата, и хорошей поэзии (о Маяковском мы с ней бурно спорили).

Александра Антоновна – коренная ленинградка, человек твердых моральных принципов и большой доброты. Она потеряла старшую дочь, одна вырастила Иру. Во время войны, в 1941 году она вывезла из Ленинграда две группы детсадовцев. Ехали в

обледенелом вагоне, но ни один ребенок не заболел.

Володя – самостоятельный, воспитанный, с тягой к изучению животного мира, впоследствии окончил биофак, в Пущине защитил кандидатскую, в период безвременья, когда наука в стране загибалась, уехал в США, стал известным ученым.

Ирина к моменту нашего знакомства была в гражданском браке с талантливым физиком, учеником Нильса Бора, членом-корреспондентом АН Вениамином Сидоровым, внешне очень похожим на Смоктуновского. Веня работал в Новосибирске в институте академика Будкера, а после его смерти был зам. директора Скринского, и постоянно прилетал в командировки а Москву на заседания АН. В 1976 году Ира переехала в Новосибирск, в Академгородок, там родился младший сын Алеша. Володя до окончания школы оставался с бабушкой. Ирина постоянно приезжала одна или с Веней в Протвино, проводила здесь отпуск. Дружеские застолья проходили в квартире Александры Антоновны или у Ириных друзей Людмирских и сопровождались горячими спорами о науке, литературе, политике (Помню горячий спор по поводу филиппинских хилеров после просмотра немецкого фильма. Вениамин утверждал, что его или другой институт получил бы все необходимые финансы, если бы в показанном была хоть доля правды.)

Людмирские Эдуард (Эдик) и Соня – родители многочисленного семейства. Соня училась в Ленинградском технологическом институте в одно время с «колокольчиками» и с некоторыми из них была хорошо знакома, так что у нас с ней оказались общие знакомые. Отец Эдика – художник, и вся квартира Людмирских была увешана панно, выполненными из различных материалов.

В один из приездов Иры и Вени в Протвино Александра Антоновна и Володя были на юге, и мы с Татьяной принимали гостей в нашей общежитской комнате на ул. Победы, 8. С Ирой мы обменивались самиздатом, и немало его ушло от меня в Новосибирск.

Еще одними друзьями в Протвино стали Миша и Вика Горловые. Оба в то время были фанатиками кино. В Протвино действовал сильный кино клуб. Часто шли фильмы, не предназначенные для широкого показа. Приезжали известные режиссеры, в том числе и Тарковский. Миша, несмотря на скромное звание – младший научный сотрудник (мнс), в городе был известен. (Во времена перестройки он стал заместителем председателя Протвинского совета и первым директором Лицея). Вика на время московских кинофестивалей брала отпуск и уезжала в Москву.

Миша из-за меня чуть не вылетел из института. Член элитного Дома ученых, он мог провести с собой в ДУ двух человек. Однажды он пригласил в ДУ меня и своего давнего друга Бориса Золотарева, тонкого прозаика (по его сценарию в 1981 году снят фильм «Всем – спасибо», где в главных ролях Сергей Шакуров и Елена Соловей). Мы сидели за столиком и болтали довольно свободно на разные темы. За соседним столиком оказались чекисты (сотрудники первого отдела), которые, совмещая полезное с приятным, вели наблюдение. В результате Горлового вызвали в первый отдел и крепко намылили голову за то, что он посмел привести в святая святых – Дом ученых – диссидента.

Другом дома стала веселая, бойкая, доброжелательная медсестра Злата Сергеевна Давыдова, которая лечила нашего сына Сережу, попутно давала советы и взрослым. Мы стали бывать в ее доме и познакомились с ее мужем Анатолием и детьми Светой и Димой.

Золотая наша няня Сережи Клавдия Ивановна пришла по объявлению, когда Сереже исполнилось полтора года, и стала родным человеком. Когда ее дочь Вера начала удивляться, зачем матери это надо, при недостатке в семье, она отвечала: «А я не из-за денег: время есть и мальчик больно хороший». Она даже готова была ехать с ним в Горький.

Она ранее перенесла один инфаркт, а после того, как Сережа уже ходил в детский сад, – еще один.

Я навещал ее в больнице, где она лежала под капельницей: – Клавдия Ивановна, как же вы опять подставились? – Надо было мужикам помочь, не утерпела я...

Третий инфаркт она не пережила. Похоронили ее на Дракинском кладбище. Я жил уже в Серпухове, узнал о случившемся не сразу, искал ее могилу, но так и не нашел.

В Серпухове первое время друзей у меня не было: отдежурив, я возвращался в Протвино или ехал в Москву. Хотя отношения с сотрудниками «Теплосети» сложились нормальные: они поняли, что карьеру я не делаю, в начальники не лезу, как и не лезу ни в чью личную жизнь.

Не раз дежурство случалось под Новый год или непосредственно в праздник, и тогда оно сопровождалось застольем на 21-й, основной, котельной и на 1-м участке на Чернышевской. Я оформлял стихами новогодние газеты с персональными пожеланиями и 8-мартовские номера. Легкость версификации приводила сотрудников в восхищение. Правда, процитированные стихи Пастернака «А ты прекрасна без извилин» вызвали у дам обиду: т.е. это намек, что у нас в головах

и извилин нет!

Я долго сидел в одном кабинете со смешливым техником Наташей, слушал анекдоты и присказки и байки начальника одного из участков «деда» Юнева, Никитыча, как все его величали, ходил на угольные котельные серьезного мастера Щукина. Пьяница и бабник, бывший моряк, мастер Половников – «крейсер» портил нервы старшему мастеру Митину, и чуть не в первые же дни я присутствовал на собрании мастеров, где обсуждалось–осуждалось поведение Половникова.

Директор Евдокимов с утра обходил свою любимую стройку нового здания «Теплосети», мазутное хозяйство, и шел на планерку в исполком, где ему выговаривали за принесенный на ботинках мазут. Он, конечно, получил от КГБ нелестную информацию обо мне, но, во-первых, он сам по молодости лет сидел за какую-то уголовщину, а во-вторых, непьющий и образованный мастер был для работы полезен. Поэтому он с интересом присматривался ко мне и после увольнения брал вновь. Его пассия Маина Тарасова, начальник отдела снабжения, бойкая и разбитная женщина, не лезущая за словом в карман, при мне, однако, смущалась: «Не буду при Помазове рассказывать этот анекдот».

Самым головастым слесарем «Теплосети» был Ваня Франц, соединявший русскую смекалку и размах с немецким трудолюбием. Главный инженер Пузраков не стеснялся советоваться с ним по самым заковыристым вопросам теплотехники. И когда летом мне нужен был человек, который один за нескольких мог сделать работу в тепловых узлах (узлах управления) под домом, я просил Ваню Франца, если не было срочной работы на самой котельной.

Диспетчерская служба с годами утряслась, получила свое помещение, старшего диспетчера В.А. Фадеева (который перенял от меня грибоедовскую поговорку: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь») и полный комплект рабочих: дежурных слесарей, шоферов и электриков.

За 15 почти, с двумя небольшими перерывами, лет работы в «Теплосети» я не только перезнакомился со всеми сотрудниками коммунальных служб, но и узнал почти все подвалы города: где нет освещения, где по колено канализации, где ночуют бомжи. В начале отопительного сезона происходила промывка внутридомовых систем, принимающему от «Теплосети» мастеру слесари ГЖУ проставлялись: иногда, чтобы не особенно придирался, а чаще просто для отметки такого важного события. Некоторые мои предшественники спились на этих приемах. Я добросовестно проверял промывку, от угощения не отказывался –

это было бы оскорблением ребят, – но вино пригублял.

Зимние дежурства складывались по-разному: иногда вызовы шли один за другим и за ночь не удавалось присесть, иногда можно было почитать-пописать, покалякать с ночной сменой. Я и «Архипелаг» читал во время дежурства.

В 1977 году на котельной появился новый мастер Валера Швец. Он, видя мои литературные занятия, предложил: «Давай познакомлю тебя с моим двоюродным. Он работает в «Коммунисте», тоже стихи пишет. Слепой, как крот, во-от такие очки».

«Двоюродный» оказался Николаем Дубинкиным, который работал от газеты корректором в городской типографии или исполнял обязанности корреспондента и ответственного секретаря, и оказался хорошим, настоящим поэтом. Знакомство скрепили заходом в пивную.

Коля отнесся ко мне очень заинтересованно, хотя и с опаской. Приехав на день рождения в Протвино в январе 1979-го, подарил стихи на 33-летье, но подпись, как сам он признался, из осторожности отрезал.

Скоро мы подружались. Читали друг другу свои стихи. Я снабжал его книгами, в том числе и самиздатом. Как поэт он за время нашей дружбы сильно вырос и, на мой взгляд, стал не слабее Николая Рубцова, входившего тогда в моду. Уже к 20 годам у Николая был готов сборник юношеских стихов, который похвалили, но не напечатали. Мелкие публикации в районной и областной прессе, конечно, его не удовлетворяли. Он в 1980-х ездил в семинар к Жигулину, и тот хвалил его стихи. Увы, губила его самая распространенная русская болезнь.

Я познакомился и подружился со всем его семейством. Жена Нина – передовая ткачиха на суконной фабрике, член горкома партии, внешне похожая на Софи Лорен. Замечательная добрая и умная мама Валентина Ивановна и милая дочь – тогда еще школьница – Света. После развода с женой я снимал несколько месяцев комнату у Колиной бабушки в низеньком домике на улице с гордым названием – Народного ополчения. Коля заходил туда с очередным прыщавым «юным дарованием», который проставлялся бутылками краснухи, в просторечии – чернила.

Коля же привел меня в литобъединение при «Коммунисте», в то время туда ходили несколько молодых, амбициозных поэтов и прозаиков. Вела объединение московская поэтесса Лада Одинцова (1978–81г.г.), позднее – поэт-авангардист и уфолог Алексей Константинович Прийма, сын известного шолоховеда («шелуховеда», как шутили мы). С отцом Алексей был не в ладах, часто ездил в родной Ростов к матери. Напечатал в «Литературке»

статью о восклицательной запятой. Приезжал он в Серпухов и читать в частном доме полуподпольные лекции по уфологии и НЛО. За вечер он брал 25 рублей, то есть по 5 рублей с носа. Но иногда и пятерых слушателей не набиралось, приходилось докладывать к своим 5 рублям еще 5–10.

Коля и сам вел какой-то кружок в раздолбанном здании ДК на Ситценабивной (теперь там молельный дом адвентистов), хотя приходил к своей пастве часто с похмелья.

Вот моя, надеюсь не обидная, эпиграмма того времени.

Николаю Дубинкину

*Ах, фабрика суконная –
Тоска многооконная.
Зудит жена законная,
И, главное, – права!
Вчера хватили лишнего:
Сначала «Механджийского»,
Потом – «Портвейн» у книжного...
Чугун – не голова!*

*Окраина фабричная,
Здесь не в чести «Столичная»,
Но бражка преотличная
У бабы Мани есть!
Сейчас – опохмелиться,
Потом с женой мириться:
Я ж не пропью традицию
Ожегова и честь!*

*К тому же – дочка дома,
И Нина – член горкома,
И ремесло знакомо,
Я рифмам друг давно!
А если не дадут взаймы
Друзья – высокие умы,
У Алексея Приймы мы
Прочтем про НЛО!*

Бывая у Коли в редакции, я познакомился, а позднее и подружился со многими сотрудниками «Коммуниста»: Еленой Леоновой, Толей Монаховым, Татьяной Трошиной, Ларисой

Осьминой. Правда, уже в перестроечное время в газете появились и мои «заклятые враги».

1977 год дал мне еще двух друзей. Как-то в Москве Миша Утевский мне сказал: «В Серпухове живет мой друг Альберт Щенников. Вообще-то, он москвич, но работает в Серпухове в художественной мастерской. У него там свой дом. Я хотел бы вас познакомить».

И вот в ясный майский день, после Ленинского субботника, ко мне на котельную подъехал на велосипеде, с букетом тюльпанов молодой светловолосый мужчина. Отворачиваясь, чтобы не дышать на меня, он представился и сказал: «Прошу извинить, мы тут с ребятами в мастерской после субботника посидели». Альберт стал самым близким моим другом. Выпускник училища «Памяти 1905 года» и Московского университета, он имел квартиру в хрущевке в Москве, но большую часть времени жил с женой Беллой, тоже художницей, и матерью Полиной Михайловной в собственном доме в Серпухове.

Его друг и однокашник Игорь Шелковский в 1976 году стал «невозвращенцем» и с 1979 года выпускал в Париже журнал современного искусства «А–Я». Альберт был одним из его корреспондентов и поставщиков материалов. На хлеб зарабатывал в серпуховском отделении Подольской художественной мастерской, где был почти единственным непьющим человеком.

Без Альберта и его дома Серпухов утратил бы для меня половину своей привлекательности. Через него я познакомился с Михаилом Гололобовым, с художницей Таней Рыжовой, которые стали моими друзьями. А мастерская Альберта («нора») десять лет была местом встреч, дружеских посиделок и пиршеств.

Летом в Протвино я сидел у своего общежития на скамейке с томиком Рубцова в руках. Ко мне подсел хлопец с малороссийским акцентом, немного навеселе. «Интересно, – удивился он, – кто в научном центре интересуется поэзией?!»

Незнакомец оказался физиком, командированным из Агудзеры в Протвино перенимать опыт эксплуатации вакуумных устройств. Поддав хорошо с принимающей стороной, он бродил по поселку. И набрел на меня. Представился: Валерий Выскуб, пишет стихи и даже заимел публикацию в «Абхазской правде». Сразу заговорил с болью о русской поэзии. Почему печатают Рубцова только после смерти? А Есенина? А других? И я, почему-то сразу доверившись, дал ему читать «других».

Он вернулся в Агудзеру, мы переписывались, через год-

полтора он переехал работать в Петушки и стал наезжать в Протвино и Серпухов на заседания литобъединения. Дал стихи для трех номеров «Проталины». Из-за «Проталины» в Петушках он не поладил с первым отделом, жилья не получил и в 1981 году уехал на родину в город Красный Луч.

Все это время я не терял связи с нижегородцами. Переписывался и два-три раза ежегодно приезжал в Горький – в первые годы один, потом с детьми: сначала с Сережей, потом с Аней. Борис Терновский, Коля Лепехин, Галя Цветкова приезжали ко мне в Протвино и Серпухов.

Возвращение Михаила Капранова и Владлена Павленкова в 1976 году произошло без меня. Я специально приезжал знакомиться с Владленом, а ранее увиделся с Михаилом. С Михаилом мы сходили на службу в Высоковскую церковь. Его духовные поиски закончились приходом к ортодоксальному православию. Он получил рекомендательное письмо в Сибирь, в Абакан, где был рукоположен в дьяконы, а потом в Томске в 1979-м – в священники и направлен служить в дальний Тогурский район.

Владлен после возвращения три года проработал дворником, дежурным на бойлерной. «Горьковская правда» в ноябре 1977-го и в январе 1978-го напечатала гнусные, мерзкие статьи «Король-то голый» и «Люди, будьте бдительны», явно подталкивая семью к эмиграции. После того, как сына Виктора завалили на вступительных экзаменах в Тарту и дважды задержали якобы за драки, в которых он не участвовал, и затем пообещали посадить в уголовный лагерь, он решил на отъезд.

Летом 1976 года из Амурской области переехала в Пушкино т. Шура, сестра мамы Александра Ивановна Шарина. А через полгода – ее дочь Люся с мужем Виктором. Их дом в Пушкино стал еще одной моей «опорной точкой», открытый навстречу при любых невзгодах. Часто я приезжал в Пушкино поздно вечером, после нескольких московских встреч. В 1976 году после участия в демонстрации 10 декабря на Пушкинской площади (последней с участием П.Г. Григоренко, который, наряду с Сахаровым, был центральной фигурой этого события), окончившейся на этот раз без задержаний, я уехал в Пушкино с явным сопровождением двумя топтунами.

НЕНУЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

2 февраля 1977 года в «Литературной газете» появилась статья «Лжецы и фарисеи» Петрова-Агатова. Автор – бывший зэк, выдававший себя в лагерях за автора песни «Темная ночь». По сути, статья-письмо была доносом на руководителя Московской хельсинкской группы Юрия Орлова и распорядителя Фонда помощи политзаключенным Александра Гинзбурга.

Я в этот день был на квартире Александра Ильича на ул. Волгина, 13. Читали статью, пытаясь понять, что за ней последует. В полдень звонок в дверь. На пороге появляются взволнованные Юрий Орлов, Валентин Турчин и Петр Григорьевич Григоренко. Не снимая пальто и шапку, Петр Григорьевич сообщил, что, по совершенно достоверным сведениям, Гинзбург и Орлов сегодня-завтра будут арестованы.

После краткого совещания было решено: Гинзбург устраивает пресс-конференцию для иностранных журналистов и впервые подробно рассказывает о деятельности фонда. Так как домашний телефон давно отключен, Григоренко и еще несколько человек пошли звонить корреспондентам из уличных автоматов, Алик сел постричься перед началом пресс-конференции.

В квартиру набилось много народа. К 14:30 подтянулись коры. Александр Гинзбург рассказал о трехлетней деятельности Фонда, о том, то за три года распределено 370 тысяч рублей, помощь оказана 700 семьям...

На следующий день он вышел позвонить из телефона-автомата, рядом с подъездом, и был арестован.

Следствие по делу Фонда велось в Калуге, по формальному месту прописки Гинзбурга в Тарусе. Со всего Союза была собрана большая команда следователей, свидетелей по делу тоже собирали со всех концов страны.

На 28 ноября я получил вызов в Калужское УКГБ в качестве свидетеля «по делу Гинзбурга». В вестибюле Калужского управления меня встретил мужчина спортивного вида лет 36–37 с довольно тонкими чертами лица. Поднимаемся на третий этаж. В кабинете открыта форточка, не накурено. Мужчина быстро вынимает чистый лист и закладывает его в каретку пишущей машинки.

Представляется: старший следователь Могилевского УКГБ ст. лейтенант Владимир Сергеевич Гайдельцов. Я записываю данные в книжку.

– Не трудитесь. Ирина Сергеевна (жена Алика – В.П.) знает мои данные.

- При чем Ирина Сергеевна? Я делаю записи для себя.
- Мы вызвали вас в качестве свидетеля по делу Гинзбурга. Я хочу предупредить вас о ваших правах и обязанностях.
- Я знаю процедуру и соответствующие статьи закона. Давайте без вступлений перейдем к протоколу. Я ограничен временем до 15 часов.
- Почему?!
- Потому что оставил дома беременную жену. Я не сообщил ей, что еду в Калугу, по понятным причинам. Мне надо уехать в Тарусу на автобусе в 16 часов, чтобы вечером быть в Протвино.
- Последний автобус идет в Тарусу в 18 часов.
- В Тарусу, да. А из Тарусы я ни на чем не выберусь.
- Надо было приезжать раньше. У вас в повестке стоит 10 часов. Почему вы не явились к 10?
- А почему вы не потрудились послать за мной правительственную машину?
- Виталий Васильевич, не хамите старшему по возрасту.
- Я выехал на самом раннем автобусе, и хорошо еще, что успел к 12.
- Надо было приехать вчера.
- Я не намерен терять выходной день.
- Вы можете потерять больше. Мы будем держать вас, сколько потребуется: и день, и два.
- В таком случае я откажусь отвечать на вопросы следствия.
- Мы вас вызвали, понимаете?
- Я не просился.
- Хорошо, я переговорю с нашими товарищами из Тарусы. (Разговаривает по телефону.)
- Ну вот, мы договорились. Тарусские товарищи подбросят вас домой.
- И все же давайте как можно короче. Я не собираюсь выслушивать наставления.
- А почему бы не послушать! В ваших же интересах.
- Я уже за свою жизнь достаточно их выслушал. И буду отвечать только на вопросы протокола. Вы мне вопрос – я вам ответ.
- Где это вы вычитали такое правило? В УПК, который у вас в руках, сказано... «после предварительной беседы». Закон для вас – что дышло? Так!
- В чем обвиняется Гинзбург?
- В совершении особо опасного антигосударственного преступления.
- Слишком общо. Я вас спрашиваю конкретно, какая статья ему предъявляется. Как свидетель я имею право это знать.

- Я вам объясняю: особо опасное преступление.
- Меня это не удовлетворяет.
- Может вам дело Гинзбурга принести?
- Охотно бы познакомился.
- Вы знакомы с неизданными произведениями Солженицына?
- Как всякий интеллигентный человек. Но какое это имеет отношение к Гинзбургу?

- Мы располагаем свидетельствами – не агентов, а подтвержденные следствием, что вы познакомились на даче Гинзбурга в Тарусе с книгой «Бодался теленок с дубом».

- Я такими сведениями не располагаю.

- Лжете в глаза следствию!

- Самое печальное в истории декабристов – их правдивые ответы в Следственной комиссии.

- Декабристы не сотрудничали с иностранными разведками! Как вы смеете сравнивать себя с декабристами, а советское следствие – с царским! Кто вы такой!?

- Я историк...

- Это я историк. И образование получил лучше вашего. А вы ничего (листает формуляр) не окончили. Можете затмевать незрелые умы, когда вам никто не противостоит. А от серьезной дискуссии увиливаете! Давайте вести себя как честные противники!

- Следственный комитет не место для дискуссий.

- Нет, место. Вы – никто. Мастер теплосети...

- У нас всякий труд в почете.

- Конечно, конечно...

- А вы говорите: мастер – никто.

- Что вы знаете о деле фонда, организованного Гинзбургом?

- Кроме общеизвестной информации, той, что Александр Ильич дал на последней пресс-конференции, ничего.

- Да вы все время крутились у Гинзбурга в Тарусе!

- Не для того, чтобы докладывать вам. Повторяю, я ничего не знаю, кроме информации зарубежного радио и газет.

- Где вы эти газеты покупаете?

- В киоске напротив дома.

- Но вы читаете не те, что в киосках!

- В Москве можно достать любую газету.

- (Вскочив) – Вы лжете!

- Сядьте, сядьте, не давите мне на психику.

- Вы мне не указывайте в моем кабинете: стоять мне или сидеть!

- Прошу не кричать. Я к вам не просился. Не хотите беседовать – могу и уйти.

– Не лгите следствию!

– По-моему, следственный кабинет ЧКГБ не то место, где говорят о нравственности. Шпионите, прослушиваете, вскрываете письма, инспирируете газетные статьи. Ваша забота о нравственности похожа на поучения в публичном...

– Я горжусь своей работой!

– Нечем гордиться.

Поднимает телефонную трубку, говорит. Выходит. Возвращается и принимается печатать протокол.

– Ответы я буду писать собственной рукой.

– Хорошо. Ответы вы сначала напишете на бумаге. Я прочитаю, откорректирую и занесу в протокол.

– Я хочу писать сразу в протокол.

– Мало ли что вы захотите написать в протокол, а я должен спокойно смотреть!

Вопрос: Знаете ли вы Александра Ильича Гинзбурга, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах познакомились с ним, в каких отношениях находитесь?

Ответ: Александра Ильича Гинзбурга знаю хорошо. Дружу с ним и его семьей. Когда и при каких обстоятельствах познакомился, не помню. Во всяком случае, это было после моего возвращения из лагеря в апреле 1972 года. Его жену Жолковскую Ирину Сергеевну знал раньше. Александр Гинзбург – один из самых симпатичных мне людей. Никаких конфликтов между нами, насколько я помню, не было.

– Почему вы пишете «насколько я помню»?

– Потому что говорю за себя, а не за Гинзбурга.

– Вот она, ваша дружба!

Вопрос: Что вы знаете о деятельности Фонда помощи заключенным, организованного Гинзбургом на деньги Солженицына?

Ответ: Все дальнейшие показания об Александре Гинзбурге я дам после письменного, занесенного в протокол, разъяснения со стороны следствия, в чем обвиняется Александр Гинзбург, под какую статью УК РСФСР подпадают действия, инкриминируемые ему. Я полагаю, что имею на это право согласно ст. 158 УПК РСФСР.

– Я вам уже разъяснил. Хотите побольше получить информации от следствия, а сами ничего не сказать! Хотите громче других протрубить на Запад? Рветесь в лидеры? Поедете туда, куда Бородин.

– Куда же?

– Ах, у вас нет информации! Пишите: «отказываюсь давать показания»!

– А я не отказываюсь. Хочу получить необходимые разъяснения.

– Нет, вы не хотите давать показания. Вы же не ответили ни на один вопрос.

– Я имею право отвечать и «да», и «нет». Отрицательный ответ – тоже ответ.

– Вы обязаны, понимаете, обязаны давать правдивые показания!

– Я вам ничего не обязан.

– Ну, и наглец вы!

– Прошу не выражаться, а то я – за шапку и в Протвино.

– Да-а, я гарантирую вам встречу с Гинзбургом в другом месте.

– С Гинзбургом – в любом.

Вопрос: Знакомы ли вы с изданными за рубежом или нелегально в нашей стране такими произведениями Солженицына, как «Архипелаг ГУЛАГ», «Бодался теленок с дубом»? Кто, когда давал вам их?

Ответ: На последний вопрос отвечать не желаю.

– Вы русский язык понимаете?..

– Конечно, я же не из Белоруссии.

– ...Тогда пишите: «отказываюсь давать показания».

– Не буду. Я имею право формулировать свои ответы. И доносить на себя я не буду.

– Доносить! Слова-то какие. Чтение – не преступление.

– Конечно. Зато распространение рассматривается вами как преступление.

– Значит, отказываетесь.

– Отказываюсь. Вызывайте другого следователя и составляйте протокол об отказе.

– Много вам чести – другого следователя!

Звонит по телефону: «Алло! Мишу Регельсона мне пришлите».

Приходит Регельсон, еврейский юноша. В руках «посевовское» издание Владимира Максимова. Садится на место следователя и начинает читать книгу. Сидим минут 20. Возвращается Гайдельцов. Зачитывает протокол.

– Прочитайте. Распишитесь. Автобусный билет у вас сохранился?

– Я отказываюсь от возмещения платы за проезд, поскольку эти деньги будут взысканы с Гинзбурга.

– Это я вам гарантирую. Тогда пишите расписку.

Пишу. Гайдельцов опять звонит по телефону, опять приглашает в кабинет Регельсона. Тот открывает ту же книгу.

Сидим минут 15–20. Возвращается Гайдельцов с протоколом в руках.

– Ладно. Впишите только в ответ: «Хочу знать, в чем обвиняется Гинзбург» слово «конкретно».

Вписываю. Получаю пропуск.

Допрос длился с 12:00 до 15:00 часов. (Записан 28–29.11.1977 г.)

К услугам «тарусских товарищей» я, понятно, обращаться не стал.

В июле 1978 года, когда в Калуге начался судебный процесс над Аликом, я написал заявление в Калужский областной суд с просьбой вызвать меня в качестве свидетеля и получил отказ. Я был ненужный свидетель.

А с Александром Гинзбургом мы встретились вновь уже в 1991 году. Он в качестве корреспондента «Русской мысли» приехал в Москву и, делая обзор провинциальной прессы, уделил страничку редактируемому мной «Совету».

МОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ РУДАВИН

10 декабря 1977 года. Я живу в Протвино и работаю диспетчером «Теплосети» в Серпухове. День выходной, но у меня дежурство с 8 до 17. На улице морозно, слегка метет. Спускаясь по лестнице, вижу в полусвете чью-то мелькнувшую у подъезда тень. Сажусь на конечной остановке в переполненный автобус. Кто-то трогает меня за плечо. Оглядываюсь – мой куратор от КГБ Владимир Владимирович Рудавин.

– С праздником, Виталий Васильевич!

– С каким?

– Ну, как же, сами знаете, сегодня 10-е.

– Он у нас в стране пока не отмечается.

– Куда едете? На работу?

– Да, у меня дежурство. А вы – куда в выходной?

– А я тоже на работу. Надо вот проследить за вами. Вдруг рванете на Пушкинскую.

– У меня официальный рабочий день, до вечера.

– Ну, мало ли что. На всякий случай.

Помолчав: – Как ваша жена себя чувствует? (Жена Татьяна на последнем месяце беременности.)

– Нормально.

– Кого ждете, мальчика? А как решили назвать, не думали?

(Врачи утверждают, что будет мальчик. И имя я уже выбрал. Точнее два: Василий – в честь моего отца, и Сергей, «гайдаровское», как шутим мы с моим приятелем Сергеем.)

Но отвечаю: – Нет, не думал, жена назовет.

– Такое дело нельзя доверять жене или пускать на самотек. Хотите, посоветую. Назовите Василием. Вася, Василек – хорошее русское имя. И с отчеством будет звучать хорошо: Василий Витальевич. Я своего – сначала сомневался, как назвать. А потом назвал Василий и не жалею.

Вот черт, думаю, теперь уже Васей не назовешь. Рудавин будет везде говорить: я посоветовал.

За этим разговором доехали до центральной котельной на ул. Звездной. Рудавин провожает меня до ворот котельной.

– Виталий Васильевич, давайте договоримся. Не заставляйте наших ребят мотаться за вами по городу.

– Слушайте, если вы за каждым диссидентом поставите по человеку, то скоро работать будут одни диссиденты, а остальные – их сторожить.

– Что делать, такая работа. Я буду в Серпухове столько, сколько budete вы. Во сколько вы оканчиваете работу? В 17?

Давайте я оставлю вам мой телефон, позвоните, и я за вами заеду.

– Ну, нет, если вам надо, вы и звоните.

В 17 заканчиваю дежурство, выхожу из котельной. У ограды стоит «козлик». В нем Рудавин с водителем.

– Садитесь, Виталий Васильевич, довезем!

Черт с ним, думаю, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Мороз к вечеру усиливается, автобусы ходят плохо, смеркается.

– Ладно.

– А я вас давно жду.

– Что же не зашли в котельную?

– Не хотелось ставить вас в неудобное положение перед вашими сотрудниками.

– Да вас же никто в котельной не знает.

– Ну, все-таки...

По пути он вновь заводит разговор, шутит:

– Знаете, чем сильна советская женщина? Парторганизацией!

– Слушайте, а если бы я сегодня был дома?

– Пришлось бы присматривать за вами в Протвино, проверять дома. Но я против этого. Учитывая положение вашей жены.

– Да я имею полное право не пустить вас в квартиру.

– Конечно... Кстати, у меня есть предложение: с 1 января могу помочь вам устроиться на аналогичную работу в Протвино.

– Я два года назад пытался устроиться, мне отказали.

– У кого вы были? У Касаткина?

– И он мне прямо сказал, почему не хочет брать. Я ему говорю: – У вас даже уголовники работают. – То уголовники...

– Сейчас не откажут.

– Я пока не собираюсь менять место работы. Оно меня удовлетворяет.

– Сколько вы получаете? 130?

Я, прибавляя: – Больше. До 160.

– С премией?

– Да.

– Это я спрашиваю, чтобы знать, от какой суммы отталкиваться. Думаю, на 180–200 можно будет устроиться.

– Я уже сказал, что не собираюсь менять место работы.

– Все же подумайте. С рождением ребенка у вас вырастут расходы. Вот вам записка от моего имени, подойдите к N.N.

– Послушайте, если бы я сегодня захотел уехать в Москву, неужели вы думаете, я не смог бы это сделать? Какой смысл сторожить?

– Конечно, могли бы. Но я выполняю приказ.

– Неужели, вы полагаете, что я или мои друзья собираемся

свершить что-то криминальное?

– Нет. Но после взрывов 8 января...

– Уж не думаете ли вы, что я могу быть к ним причастен?!

– Нет, конечно, нет.

– А что если я сейчас рвану в Москву?

– На Пушкинскую поздно. Даже из Серпухова не успели бы.

Выйдя из машины, я тут же разорвал записку, и клочки ее подхватил ветер.

Пересказываю дома нашу беседу жене.

– Что же ты не согласился на работу в Протвино? На 200 рублей?

– Чтобы потом гэбэшники шантажировали меня тем, что устроили на работу?

Сына-первенца я назвал Сережей.

Рудавин при Андропове стал начальником Серпуховской милиции. Потом уволен по статье «неполное служебное соответствие», работал в спецотделе городской администрации.

...Выборы 1990 года. Я баллотируюсь на Съезд народных депутатов РСФСР. После первого тура, где мне противостояли пять депутатов-коммунистов, выхожу во второй тур. Ко мне в гости и «морально поддержать» приехал из Нижнего Новгорода брат Игорь. Едем в автобусе. С противоположного конца салона проталкивается к нам, жестикулируя руками, Рудавин.

– Виталий Васильевич! Я за вас голосовал! Верите? Честное слово! Считаю, что вы – самый достойный кандидат!

– Кто этот такой восторженный твой почитатель? – спрашивает брат, когда мы выходим из автобуса.

– Бывший мой куратор от КГБ.

ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА

В конце 70-х – начале 80-х под жестким давлением КГБ происходит спад правозащитного движения. К этому времени арестованы и осуждены на большие сроки почти все участники Московской хельсинкской группы, участники таких групп на Украине и в Прибалтике.

В апреле 1979 года состоялся сенсационный обмен Александра Гинзбурга, самолетчиков Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, а также Георга Винса и Валентина Мороза на двух советских шпионов.

(В тюрьме во время следствия на Гинзбурга действовали большими дозами психотропных средств. На суд вышел изможденный человек, почти старик с седой бородой. После последнего слова он за дверями зала суда упал в обморок, пришлось делать реанимацию. Обмен для него был неожиданностью, он был готов отсидживать все 8 лет строгого режима.)

Обмен такого рода был последним. После ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, когда международные отношения были окончательно испорчены, давление на всякое инакомыслие в стране усилилось. По принципу «Раз пошла такая пьянка – режь последний огурец».

В последний день августа 1979-го уехали мои нижегородские друзья Павленковы. Перед их отъездом я приехал в Горький. Мы выбрались в Семенов – побродить по старому городу и посетить музей хохломской росписи. В Москве они остановились у своих друзей Федоровых, с которыми познакомились еще в молодости в Васильурске (Коля Федоров был бакенщиком на Волге). Часть багажа отправлялась официально, а чемодан с рукописями, архивом – нелегально, через западные посольства. Неоценимую услугу Владлену, и не только ему, оказал в этом деле корреспондент Франс-Пресс Николай Милетич. Молодой, веселый, рискованный, серб по национальности, он получил у Юры Гастева прозвище Серп и молот (серб и молод). Поезд уходил с Белорусского вокзала. Владлен был бодр, а у Светланы было опрокинутое лицо. Прощались-то, как многим казалось, навсегда.

Именно во время их пребывания в Москве я познакомился, а потом подружился с замечательной московско-ленинградской семьей Кулаевых–Ботвинников. Их квартира на Моссельмаше на долгое время стала моим пристанищем во время поездок в Москву. Борис Кулаев – профессор, известный биолог, участник войны, командовал противотанковой батареей, дважды был

ранен. Доброжелательный, широкий, неунывающий, любящий муж и отец. Ноэми Ботвинник, дочь питерского историка М.Н. Ботвинника, биохимик по образованию, пронзительно умная, рассудительная и одновременно эмоциональная, играла важную, по-настоящему не оцененную роль в правозащитном движении, хотя «на поверхности» не была широко известна. Она помогла устроить судьбы множества людей, передала на Запад массу самиздатских документов, ездила в магаданскую ссылку С. Ковалева и в 1980-х годах была на волосок от посадки (обыски в квартире были в 1980-м, 85-м и 86 гг.). Об ее отваге и стремлении помочь любому человеку говорит один только эпизод. Крепко пьющая соседка потеряла ключи от квартиры и просилась перелезть с балкона на балкон, чтобы открыть свою дверь изнутри. «Она же пьяная, разобьется!» И Эми сама проделала эту рискованную операцию.

Семья дружила с А. Марченко, Л. Богораз, Ю. Гастевым. А когда Ковалев после своего десятилетнего срока в 1984 году вернулся и находился под надзором, Борис и Эми нашли ему квартиру в Калининe, помогали обустроиться там и принимали в Москве. В их квартире на Моссельмаше всегда кто-то гостил. Приезжали питерцы, казанцы, нижегородцы... Сергей Шибаев в 1983 году жил у них постоянно, да и потом бывал часто, получая тепло и понимание. У Кулаевых я встречался с Игорем Павленковым, профессором Пугачевым и Сергеем Шибаевым. В этой атмосфере выросли замечательные дети Стеша и Саша, которые сейчас работают в правозащитных организациях.

В 1980-м уехал в Германию и был лишен гражданства Лев Копелев (прототип Льва Рубина из «Круга первого»). За год до его отъезда меня познакомил с ним Миша Утевский. Представил как поэта. (Говоря о себе, Миша представлялся: «Кто я? Я – общий друг».)

22 января 1980 года Сахарова выслали в Горький. (Во время ссылки Андрея Дмитриевича я несколько раз с разными поручениями побывал у него в московской квартире на ул. Чкалова. Беседовал с Еленой Георгиевной, ее рассуждения мне были близки. Она производила впечатление человека цельного, верного, с твердыми моральными убеждениями, но без капельки догматизма. Говоря о своем тогдашнем положении, она печально констатировала: «Ничего нового. Я всю свою сознательную жизнь отправляю посылки кому-нибудь в лагерь».)

В апреле 1981-го в шестой раз арестовали Анатолия Марченко. В этом же году под угрозой посадки эмигрировали мои московские друзья Юра Гастев, Александр Бабенышев.

Гастев последние месяцы жил на квартире у Кулаевых. Именно туда пришел в ноябре 1980-го сотрудник МВД (или КГБ) и пригласил его на беседу в соседнее отделение милиции. В гостях у Кулаевых в это время были Игорь Павленков и я. Решив, что ни в коем случае Юру нельзя отпускать одного, мы с Борисом Степановичем пошли вместе с ним в отделение. (Игорю, как работнику номерного предприятия, туда ходить не следовало.) Пока с Юрой шла «профилактическая» беседа, мы с Борисом сидели в коридорчике. Дежурный милиционер, узнав, что мы друзья Гастева, посоветовал «держаться подальше от таких друзей».

1 февраля 1980 года улетала Арина Гинзбург. После обмена Алика она оставалась в Москве в надежде взять с собой Сергея Шибаева, которого Гинзбурги считали приемным сыном. Сергея загнали в стройбат на Крайний Север, в Тикси, пытались получить показания на Алика, всячески третировали. А когда он в 1979-м демобилизовался, ему несколько раз отказывали в выезде под предлогом, что его мать не дает согласия. Провожать Арину с детьми в Шереметьево поехали человек тридцать. Было очень холодно. Женщины плакали. На прощание Арина всех нас перекрестила.

Перед олимпиадой в Москве провели настоящую зачистку, выслали всех неблагонадежных. Я приехал из отпуска (билеты – только по московской или подмосковной прописке) в Серпухов и первое, что узнал от расстроенного Альберта Щенникова: Мишу Гололобова положили в психушку. Профилактически. Мы его навестили там и убедились, что он жив-здоров и не унывает. «Ну, приходится иногда дать какому-нибудь дебилу в лоб».

25 июля, в разгар олимпиады, умер Высоцкий. Я не смог попасть на похороны-демонстрацию, но на 40-й день у входа на Ваганьковское кладбище встретились мы с Дубинкиным, приехав из Серпухова, Валера Высуб из Петушков, где он в это время работал, и Миша Капранов. Капранов в 1979 году был рукоположен в священники, приехал из Сибири поступать в Загорскую семинарию, но в этом году его не приняли из-за диссидентского прошлого.

Могила Высоцкого была заставлена и завалена цветами. Там же лежали листки со стихами профессиональных и непрофессиональных авторов. Мы тоже положили свои букеты и машинописные экземпляры своих стихов, посвященных Высоцкому (они потом вошли в альманах «Проталина»).

Весь 1981 год шел под знаком польской «Солидарности». Рабочий профсоюз, руководимый гданьским электриком Валенсой и его советниками-проезачниками мирным путем перетягивал

власть в Польше на себя. Неужели «наши» допустят отстранение коммунистов от власти? 13 декабря генерал Ярузельский совершил переворот, несколько тысяч активистов «Солидарности» интернировали в лагерь. Опять над восточной Европой распростерлись «совиные крыла».

10 ноября 1982 года умер простудившийся на трибуне мавзолея Брежнев. Вся страна смотрела по телевидению похороны. И когда под грохот оружейных залпов опускали его гроб, всем показалось, что его уронили.

В эти дни в Серпухов приехал Гришин. По пустынной Советской улице промчался его бронированный автомобиль в сопровождении кортежа охраны. Впечатление было такое, что вождь въезжает в захваченный вражеский город.

Новый генсек Андропов попытался укрепить систему и навести порядок полицейскими методами. Уличные облавы, проверки в кинотеатрах и ресторанах с целью выяснения, почему данный гражданин не на работе. Аресты в торговле. Знаменитое дело Елисеевского магазина, когда к расстрелу без права апелляции приговорили его директора Соколова (кстати, в прошлом фронтовика с боевыми наградами). Стали менять милицейских начальников на кадровых КГБшников. Мой куратор В. Рудакин стал начальником серпуховской милиции. Усилилось давление на диссидентов. Стали давать вторые срока (например, Александру Лавуту), появились пресс-камеры, где к политическим подсаживали рецидивистов и те избивали их и всячески издевались. «Для народа» появилась новая дешевая водка – «андроповка», или «коленвал» (из-за скачущих букв названия).

В разгаре афганская война, «груз 200» молчаливо доставляется уже четвертый год, снабжение хромает, но еще держится кое-где, люди из окрестных областных центров каждые выходные приезжают ради рейда по московским магазинам. Все запрещено, по телевизору «Международная панорама» и «Утренняя почта» – вершина свободы, в одной программе иногда показывают Париж глазами наших корреспондентов, в другой – АВВА или BoneyM, хотя в основном «Песняры». Прикомандированный сотрудник КГБ есть в любой организации с численностью сотрудников больше 40 человек. Партком страшнее страшного суда. В Узбекистане следователи Гдлян и Иванов начинают раскручивать масштабное хлопковое дело. Цензура всего и вся: для того, чтобы напечатать визитные карточки со своей должностью и телефоном, на оригинал-макету нужно получить печать Главлита с надписью «Допущено к печати».

Как обычно, все доводится до абсурда. Летом 1983-го в

Горьком я несколько раз беседовал с отказником Марком Ковнером. Его семья уже несколько лет как эмигрировала, его же не отпускали, как обладателя неких секретов. Он числился преподавателем радиофака университета, но читать лекции ему не давали. Зарплату какую-то он получал, но должен был сидеть дома. Он очень переживал, считая, что теряет квалификацию. Когда начались андроповские облавы, Марк поинтересовался у университетского начальства, можно ли ему в дневное время ходить, например, в парикмахерскую или в кино. «Марк Соломонович, советуем воздержаться. – Но, может, мне стоит начать ходить на работу? – Не надо, Марк Соломонович, но и от прогулок днем по городу советуем воздержаться».

В конце 1982 года в Тарусу к жене Валентине Машковой приехал после восьмилетнего лагерного срока Владимир Осипов. С Валентиной я познакомился еще во времена Гинзбурга в Тарусе. Тогда она купила полдома на центральной улице Ленина, где жила с детьми Катей и Алешей. Иногда она просила чем-нибудь помочь, что-то достать в Серпухове или Протвино. Валентина интересовалась поэзией, сама писала стихи, написала интересное эссе о Жигулине. Я наезжал к ней иногда один, а чаще с Колей Дубинкиным. Его стихи нравились ей, но, бывшей зэчке, было подозрительно, что сотрудник газеты горкома партии отваживается навещать жену известного диссидента. Коля порой ежил под ее пронзительным взглядом.

К приезду Осипова Валя совместно с родителями купила другой дом на краю Тарусы на улице Пушкина, 37. Владимир Николаевич начал работать на экспериментальном заводе народных промыслов, находясь под административным надзором. Через Осипова Коля передал свои стихи Вадиму Кожинovu, и тот одобрил их и обещал напечатать. Говорили, конечно, не столько о литературе, сколько о политике. Валентина предположила, что, возможно, неглупому Андропову во главе страны удастся ниточка за ниточкой распутать, растащить по частям диссидентское движение. Я возражал: когда Андропов возглавлял КГБ, у него была ограниченная сфера деятельности и неограниченные возможности; сейчас же у него безграничное число проблем и ограниченные ресурсы.

Каждый наш приезд сопровождался милицейской проверкой документов, что очень возмущало стариков-родителей Валентины.

Весной 1983-го я с Татьяной и Сережей приехал к Осиповым. Валентина с горечью говорила, что сын Алеша вырос без отца, и тесного сближения у них не получается. Хотела отдать нам что-нибудь из Алешиной одежды, но Сереже все было велико.

На обратном пути, пока мы сидели у автостанции, ко мне подошел милиционер с проверкой документов. – С какой целью вы проверяете именно у меня? – Недавно произошла кража, по приметам преступник похож на вас. – То есть вы серьезно думаете, что я вот так – с женой и маленьким ребенком – украл и сел на автобусной остановке?! – Извините, нам было приказано проверить документы.

1 августа я уволился из «Теплосети» (жена хотела, чтобы я работал в Протвино). С Сережей поехали в Крым. По дороге в Москве у Миши Утевского я набрал литературы для Тамары Баканович, родственницы, с которой мы давно состояли в переписке: «Котлован», «Доктор Живаго», «Прогулки с Пушкиным». Ехали в грязном поезде, с ленивым проводником на два вагона и мутным чаем рубль за стакан. «Глухонемые» торговцы предлагали на выбор три вида черно-белых открыток: Высоцкий и Марина Влади, генералиссимус Сталин и православные иконы. В Крыму, после остановки у Бакановичей, переехали в Качу. Туда ко мне приезжал – после 12 лет молчания – Барбух, в это время сотрудник симферопольского музея, повiniлся, подарил несколько книг местного издания.

По возвращении в Протвино я поучаствовал в яблочной эпопее. Многие протвинцы в свой отпуск ездили в Тульскую область подработать на сборе яблок. Я отправился в Винеvский район, в село Спицино, где уже отработала одна смена и трудилась другая во главе с Мишей Горловым. Кроме протвинцев в бригаде было несколько серпуховичей, все между собой мало знакомые люди. Тем не менее в перекурах и в свободное время все лихо травили политические анекдоты.

Сбор урожая велся самым варварским способом: яблони трясли и собирали яблоки с земли. Очень быстро бригадники поняли, что «сливки» сняты предыдущей бригадой, а оплата натурой – яблоками – не принесет доходов. Горячие головы решили украсть ночью несколько десятков мешков яблок, погрузив из на тяжелый грузовик с прицепом. Грузовик застрял в грязи, оглашая ревом округу. Все открылось.

Участники вылазки пытались замять дело и гадали, что им будет, если все же придется отвечать. При этом они проявили полное невежество в знании законов и считали, что отделаются мелким хулиганством. Я привез им Уголовный кодекс и просветил. Они читали и хватались за голову: групповая кража по предварительному сговору, с использованием технических средств..! Замять дело все же удалось. А мне, объясняя свои знания УК, пришлось рассказать ребятам свою диссидентскую биографию. А потом еще – торговать в Москве на Даниловском

рынке битой антоновкой. Я отнекивался, но торговать было некому – у всех закончились отпуска. Правда, наша дешевая антоновка шла нарасхват.

В Протвино работы не было. Лишь 1 декабря я устроился в ремонтную мастерскую ОРСа – снабжающей институт организации – с испытательным сроком в два месяца. Через два месяца – день в день – меня уволили, и мои непосредственные начальники, отводя глаза, говорили, что это не их инициатива. Лишь в марте 1984-го я смог устроиться мастером котельной на Серпуховскую чулочную фабрику, а в июле вернулся в диспетчерскую родной «Теплосети».

В это время у меня в Серпухове появляются новые надежные друзья – Саша Ильин и его жена Наташа Панкратова. Я храню у них часть своих книг, в том числе половину самиздатского архива. Саша – слесарь КИП, Наташа – аппаратчица на заводе Химволокно, оба по разным причинам не получили высшего образования, но оба книгоманы и меломаны. Некоторые серьезные вещи мы обсуждаем, сидя в ванной, включив воду. У Саши великолепное чувство юмора и способность по памяти цитировать целые страницы классики.

Сбитый в сентябре 1983-го над Сахалином южнокорейский «Боинг» с 269 пассажирами накалил отношения между Востоком и Западом до предела. Рейган объявил СССР империей зла. В Европе устанавливали крылатые ракеты «Першинги». Усилились разговоры о пресс-камерах в следственных изоляторах.

В этой атмосфере нагнетаемого государством страха были неминуемы трагедии. В Горьком 15 декабря, после обыска в квартире, покончил с собой Игорь Павленков, брат Владлена. Игорь работал на номерном заводе им. Петровского и был главным разработчиком отечественного видеомэгнитофона. С уехавшим братом обменивался письмами и посылками (увы, не все они доходили до адресата). Чинил приносимую ему Марком Ковнером технику для А.Д. Сахарова.

Во время обыска у него изъяли целую библиотеку тамиздата и самиздата (в том числе мои сатирические стихи), множество магнитолент с записями Высоцкого (Игорь был фанатичный его поклонник) и Галича. Но объявили о возбуждении уголовного дела якобы в связи с хищениями с завода. Начали вызывать на допросы сотрудников. Игорь, мягкий, деликатный, ответственный, понял, что семейство Павленковых еще раз обольют грязью, а сотрудников затаскают по допросам. И решил разом со всем покончить. Осталась предсмертная записка, написанная стихами, видимо, еще в юношеском возрасте.

Когда его жена Ирина пыталась узнать в КГБ, за что

фактически убили человека, ей ответили: «Это не мы. Этим делом занималась милиция!» На этот же вопрос следователь УВД лениво бросил: «Ну, рублей на 25 какой-нибудь недостачи мы бы нашли...»

Когда я получил в Протвино телеграмму от Ирины: «Игорь умер, похороны 18», – я ничего не мог понять. Ровно за месяц Игорь был в командировке в Москве, он отправил мне телеграмму, и мы встретились у Кулаевых. Игорь, правда, выглядел усталым, но шутил, как всегда.

Похоронили Игоря в бесснежную мерзлую землю Ольгинского кладбища. Ни одна отправленная из Горького и Москвы в Америку телеграмма не дошла, и только кружным путем через звонок из Москвы в Париж Арине на западное Рождество Павленковы узнали о трагедии.

После 15-месячного правления Андропова, в феврале генсеком становится совершенно безликий Костя Черненко, известный только тем, что хорошо точил карандаши для Леонида Ильича. Через год умирает и он. «Гонка на лафетах» – так окрестили в народе этот период. Невнятная политика первого года правления Горбачева ничего серьезно не изменила в приоритетах власти и карательных органов. Ничего в этот год не изменилось в удушливой общественной атмосфере. Так, от отсутствия воздуха задохнулся, на мой взгляд, Сережа Шибаев.

После отъезда Гинзбургов он окончил в Тарусе 11 классов, работал плотником. В Тарусе его гнобил КГБ, в Москве не было вида на жительство, прописки, нормальной работы, не отставала милиция. В качестве лимитчика он работал на железной дороге. Жил у друзей, так как в общежитии лимитчиков можно было или спиться, или попасть в какую-нибудь историю. И хотя он был любимцем всей диссидентской Москвы, всеми привечаем, – дома, твердой опоры у него не было. Не было и твердой духовной опоры. Работа угнетала, не давала свободного времени для развития образования. Он, видимо, чувствовал, что от своего пролетарского круга давно отстал, а к новому, интеллектуальному так по-настоящему и не пристал. Жить мальчиком на побегушках здоровому, красивому парню? Покровительство любящих, старше его по возрасту женщин угнетало.

По просьбе Кулаевых он как-то зимой по дороге из Москвы в Тарусу заскочил ко мне, узнать, как мои дела, почему долго не был в Москве. Поиграл с Сережей и на прощание сказал лучший комплимент для отца: «У тебя мировой парень!»

Если бы его выпустили за границу, он, конечно, нашел бы себе и занятие, и учебу, и подруг...

Последнее время он жил на нервах. Запутанные любовные связи, выяснение отношений, беспросветность будущего. Последней книгой, которую он читал, как мне говорили, были «Страдания юного Вертера». Он повесился 5 декабря в мастерской своего друга-художника. Пошли разные сплетни. Друзья хотели похоронить его в Москве, но мать и отчим Иван настояли на похоронах в Тарусе. В Москве пришли с ним проститься более ста человек.

Я в это время грипповал в Протвино, но поехал в Тарусу. Остановился у Осиповых (они с Сергеем не были знакомы). Беспреданно грызя лимонные корки, пошел к родителям на ул. Шмидта. Увидев лежащего Сергея, я сразу вспомнил строки Пастернака из «Смерти поэта»:

*Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, –
Красивый двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.*

Меня сначала встретили настороженно, но отчим Иван узнал и пригласил войти. Меня спрашивали о событиях, предшествовавших смерти, но я ничего внятного сказать не мог. Похороны были на следующий день. На тарусском кладбище собралась только горстка родственников, соседей и одноклассниц. Метрах в двадцати стояла группа людей и снимала нас. «Это не ваши? – кто-то спросил меня. «Нет, это гэбисты».

Летом родители поставили скромный памятник со школьной фотографией.

ВРЕМЯ «ПРОТАЛИНЫ»

*«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все! А этого достаточно!*

После публикации подборки стихов в парижском «Континенте» в 1978 году я не пытался напечататься в советских журналах, полагая заведомую невозможность таких публикаций. Зато я предложил своим друзьям – серпуховским литераторам издать машинописный литературный альманах. А если начинание окажется удачным, выпускать следующие номера. Примером служили самиздатские журналы в других городах (в одном только Ленинграде их выходило до десятка: «Лепта», «Часы», «Обводный канал» и другие).

Идея журнала носилась в воздухе. Выход в январе 1979-го в Москве аксеновского «Метрополя», несмотря на расправу с его участниками, только подтолкнул меня. Понятно, что литературные силы Серпухова по сравнению с Москвой и Питером были несопоставимы, но мы на многое не претендовали, и название альманаху выбрали скромное, хотя и символичное. Всю техническую часть издания я брал на себя.

Компания подобралась такая. Самым ярким из авторов был Николай Дубинкин. Ему очень хотелось увидеть лучшие свои стихи, которые отказывались брать журналы, хотя бы в самиздатской печати.

Следующая фигура – Михаил Гололобов. Миша поднялся из самых низов жизни, занимался самообразованием, собирал книги, был книгочей и диссидент (когда сестра Юлика Кима несколько лет работала в Серпухове, он познакомился через нее и с Кимом, и с Якиром, слушал «Свободу» и вместе с потомком первых марксистов в Серпухове Александром Триденцовым «откашивал» от армии). Миша занимался культуризмом, вел аскетический образ жизни, с весны до поздней осени купался в озере Лютцы, ездил на велосипеде, в одиночку ухаживал за больной матерью и, хотя был трудяга, трудовой книжки не имел, так как на «коммуняк» работать не хотел.

В поэзии главными кумирами его были Гумилев и французские символисты. Сам он писал сюрреалистические стихи, которые печатать нигде не собирался. Многим они казались заумными, непонятными, темными, но в них присутствовала поэтическая логика и проблескивали строчки близкие к гениальным. (Так, об опасности в темном городском

парке говорилось «И улыбается нож, Все обещая решить...» или в стихотворении «Бунт»:

*Голые крики на пальцах испуга,
В щепы ворота, кадык под уздцы!
Перекреститься б, да с временем туго –
Ночь под бока ухватили стрелыцы.)*

Третий союзник – приехавший в это время из Агудзеры Валерий Выскуб. У него тоже были «непроходные» стихи.

Я получил согласие на публикацию от Елены Пономаревой. У меня накопилась небольшая подборка ее стихов. На всякий случай я печатал ее под псевдонимом.

Понятно, что ни к какой единой литературной школе авторы не принадлежали, поэтому то, что я собрал, скорее являлось не журналом, а альманахом. Цель была простая – высказаться.

В ночное дежурство, в свободное от вызовов время, в диспетчерской «Теплосети» на казенной машинке с широкой кареткой я двумя пальцами набирал сдвоенный 1–2 номер альманаха (из суеверия, что после выхода первого номера многие благие литературные начинания заканчивались). Формат этого номера по примеру «Метрополя» хотелось тоже сделать нестандартным. Получился фолиант 40 на 40 сантиметров.

Оформить альманах взялся Альберт Щенников.

Отпечатанный номер передали для изготовления переплета нашему общему другу москвичу Михаилу Утевскому. Он же был одним из главных поставщиков тамиздата. Переплет одного экземпляра стоил довольно дорого – 5–7 рублей. Но главная проблема была – где взять переплетчика. Некоторые из последних номеров альманаха я – опять же по знакомству – отдавал переплетать женщине, работавшей на номерном заводе РТЗ (теперь – РАТЕП).

Выход альманаха в начале 1980 года был отмечен небольшой пирушкой в гостеприимном доме Альберта Ивановича.

Вскоре приступили к работе над следующим номером. В разгар работы над ним умер Владимир Высоцкий, и номер был посвящен ему. Кроме текстов самого Высоцкого были напечатаны стихи, посвященные ему, а через весь номер проходила траурная черная лента, и разделы отделялись траурными заставками. Среди произведений новых авторов появились стихи Юрия Кураса из Черногловки, серпуховича Владимира Бибикова и рассказы сына Альберта – Игоря Овчинникова. Игорь тогда был еще десятиклассником, но представил остроумную сатирическую прозу в виде писем к другу. В рубрике «Рукописи не горят» шла

аксеновская «Гибель Помпеи», а в «Архиве «Проталины» – воспоминания и письма М. Булгакова, поставленные тем же Утевским. Юмористический «Словарь домового» был составлен в основном Альбертом Щенниковым.

Этот номер я уже набирал на собственной новой пишущей машинке, этакой ласточке, югославской UNIS, используя как рабочее, так и свободное от дежурств в «Теплосети» время. Печатал я четыре экземпляра (*«Эрика берет четыре копиш. Вот и все, и этого достаточно»*) на плотной бумаге, после переплета по одному экземпляру отдавал авторам, а те, в свою очередь, находили порой возможности перепечатки. Общий тираж одного номера не превышал 20 экземпляров. Альманах не афишировался, но и секрета из него не делали. Часть материалов альманаха была перепечатана московским журналом «Поиски и размышления».

В начале 1982-го был готов четвертый номер. Среди новых авторов появился Владимир Шакуров – крымско-нижегородский «бродяга», стихи его дошли через Диму Цветкова (вскоре Владимир умер при неясных обстоятельствах). Игорь Овчинников не только дал новую прозу «Из жизни великих мира сего» (подражания Д. Хармсу), но и привлек в журнал стихи своих московских друзей. В «Архиве» и рубрике «С другого берега» помещены проза Цветаевой, стихи Набокова и Мандельштама, фельетон С. Смирнова «Чего же ты хохочешь?»

Невинная журнальная деятельность и чтение самиздата (в узком кругу ходили самые серьезные вещи, например «Архипелаг ГУЛАГ», в более широком – литературный самиздат) вызвали озабоченность КГБ. Летом 1980 года, на время московской олимпиады, Михаила Гололобова положили в серпуховскую психиатрическую больницу. Многих авторов стали вызывать на «беседы» в органы. Дубинкину, работавшему в газете, навязывалось сотрудничество с органами, с заманчивым предложением после «обмыть это дело». Валера Выскуб о разговоре с сотрудником КГБ написал фантастический фельетон «Контакт». В «беседах» чекисты прямо давали понять, что участие в альманахе и дружеские отношения с «очень опасным человеком – уголовником Помазовым» кончится для них печально. На вопрос, откуда им стало известно об альманахе, чекисты, не моргнув глазом, отвечали: милиционеры при обходе электрички нашли экземпляр на полу под сиденьем.

Альберта Щенникова задержали в московском метро с книгой Кайзера «Россия и русские» и одновременно в его серпуховском доме провели обыск, до полусмерти напугав Полину Михайловну. Формально обыск проводила милиция и искали якобы иконы (в художественную мастерскую местные алкаши то и дело

приносили разную утварь, в том числе и малоценные иконы: «Купи за 5 рублей? Ну, за 3!»). Реально же искали самиздат, которого в доме всегда было много, номера журнала «А-Я». Простукивали стены, подоконники. Но по счастливой случайности Альберт за три дня все увез в Москву. Тем не менее его несколько раз вызывали на «беседы», а для устрашения вывозили зимой в лес и «беседовали» там.

Вызывали и его жену Беллу. Умная, но простодушная Белла в конце беседы наивно спросила: «Никак не пойму, чем уж так неприятен вам Виталий?» «В ответ я услышала слова отвергнутой женщины: «Он нас не любит!»»

В апреле 1982 года я удостоился беседы с тогдашним начальником Серпуховского городского отдела КГБ Угаровым В.Н. и сотрудником Гусевым Ю.М. По ходу разговора мне предлагалось эмигрировать, в противном случае – «получите срок». Наш полуторачасовой разговор я записал и с заголовком «Разговор с инспектором о поэзии» отдал в самиздат, откуда он попал в парижскую «Русскую мысль» (номер от 24 марта 1983 г.). Статья заняла целую полосу. Поскольку речь в ней шла не столько о поэзии, сколько о тоталитарном режиме в стране, дело принимало серьезный оборот.

Когда в Москве Миша Утевский передал мне номер «Русской мысли» со статьей и я дал почитать ее остальным серпуховским авторам, мои друзья ахнули: «Ну, теперь точно посадят!» Я и сам так думал. Перебирал архив и жег бумаги. А Миша Гололобов полушутливо предложил: «Господин редактор, не уйти ли вам в подполье... на огороде Саши Триденцова?»

Но еще до выхода статьи был набран очередной, пятый номер со стихами Владимира Жильцова, бывшего политзэка по горьковскому делу, и эссе В. Ерофеева о Розанове. Переплести его не удалось, и он остался незавершенным, так как после беседы в КГБ я решил сделать последний, ударный номер из избранных материалов предыдущих номеров с добавлением новых авторов, пришедших самотеком: москвичей Владимира Голицына, Ольги Рожанской и киевлянки Ирины Ратушинской (в 1983-м ее арестовали), и письмами Цветаевой к Анне Тесковой. По строке одного из стихотворений Гололобова альманах вышел под новым названием «Прогулки в Варфоломеевскую ночь», отражающим атмосферу андроповского правления, и нес элемент игры с властями (пусть поломают голову те, кто охотится за нашим альманахом!). Выходом этого номера выпуск альманаха завершился. Даже не из-за давления КГБ. Просто к этому времени все, что лежало в столах основных авторов, было напечатано.

«Реванш» состоялся в 1991 году, когда в газете «Совет», в

майском «сахаровском номере», на весь разворот были напечатаны материалы авторов «Проталины» со вступительной статьей. Аналогичная публикация состоялась в феврале того же 1991 года в «Нижегородском рабочем». А моя беседа с сотрудниками серпуховского КГБ была перепечатана в 1993 году из газеты «Русская мысль» в «Совете».

ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТА, или Как я ездил к Сахарову в Горький

Зимой 1981 года Александр Бабенышев предложил мне принять участие в сборнике, посвященном 60-летию Андрея Дмитриевича Сахарова. Я с радостью согласился. С помощью друзей проводил опросы для социологической анкеты, отобрал несколько своих стихотворений, раздавал желающим юбилейную фотографию А.Д. Сахарова (всего их было распространено около 10 тыс.), помогал в редактировании текстов. Машинописный вариант сборника Елена Георгиевна Боннэр в апреле отвезла Сахарову в Горький.

Тогда же у меня возникла мысль: 21 мая, в день 60-летия Андрея Дмитриевича, навестить его в моем родном городе.

В кругу друзей я шутил, что это я сосватал Сахарова в Горький. В 1977 году после пресс-конференции, устроенной женой арестованного руководителя московской хельсинкской группы Юрия Орлова Ирой Валитовой, сказал Андрею Дмитриевичу: «Приезжайте как-нибудь в Нижний! У вас там столько друзей, которые вас любят. Да и вы в прошлом – нижегородец!» – «Ну, вряд ли теперь я в Горький выберусь» – «А вы не зарекайтесь!»

Предварительно надо было решить несколько проблем. Первая: как вырваться с работы. Я работал тогда диспетчером в Серпуховской «Теплосети» и находился под негласным надзором КГБ. О каждом моем шаге администрация была обязана сообщать «куда надо», любые поездки, по возможности, пресекать. Даже честно заработанные мной за зиму отгулы получить было нелегко. Смешно и умилительно сейчас вспоминать: на одном из совещаний партхозактива выступал представитель местного КГБ. Рассказывал о «нелегкой службе», о борьбе с вражескими разведчиками. Кто-то из зала спросил: «А у нас в Серпухове диссиденты есть?» – «Есть», – с гордостью ответил чекист, – один, такой-то, работает у Евдокимова в «Теплосети»...

И вот, вырвав подписанное моим непосредственным начальником, старшим диспетчером В.А. Фадеевым заявление (Фадееву еще долго потом вспоминали: зачем подписал) и «отоварясь» в столице, еду в Горький. Сразу после высылки Сахарова один из «голосов», рассказывая о положении А.Д. Сахарова в Горьком; среди прочего сообщил: «Горьковчане относятся к Андрею Дмитриевичу хорошо. Даже продавцы соседнего магазина подкладывают ему лучший кусок мяса».

«Вражеский голос» в те времена, говорят, мало слушали. Но в «соседний магазин» после передачи сразу ломанулся народ – видимо, за оставшимся после академика мясом.

Вторая проблема: как попасть в квартиру Сахарова. В первые дни после высылки его еще смогли посетить несколько человек, среди них мои знакомые Таня Батаева, Сергей Пономарев. Они, конечно, потом имели неприятности по работе, но хотя бы видели опального академика. Вольности эти тут же и кончились. Режим содержания Сахарова ужесточили. Перед дверью поставили тумбочку, усадили милиционера. Всех пришедших отводили в опорный пункт милиции – напротив дома и, выяснив личность, отправляли восвояси, иногородних высылали из Горького. И еще, была очень деликатная проблема: о посещении и вероятном инциденте не должны были знать мои родители, они достаточно за меня поволновались в прошлые годы. Договорился с младшим братом Игорем: иду к Сахарову, могут задержать, выслать, арестовать, если к вечеру следующего дня не объявлюсь, только тогда скажешь родителям и начнешь действовать.

В мае 1981-го к Сахарову из нижегородцев пропускали только бывшего профессора радиофака университета, отказника Марка Ковнера, да озвенелого ээка-двухсрочника Феликса Красавина и их жен. 21 мая, сидя в насквозь прослушиваемой ковнеровской квартире, Марк, я и присоединившийся в последний момент мой приятель Вадим (Дима) Цветков обсуждали разные варианты посещения Андрея Дмитриевича. Решили так. Берем такси и едем к А.Д. вместе с Марком. Подарки (книги и стихи Н. Дубинкина, М. Гололобова, мои) пусть будут у Ковнера, его пропустят, наверное, без обыска. Нас с Димой, видимо, милиция задержит у знаменитой тумбочки в вестибюле. Но все-таки Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна успеют на шум выйти, и мы свои поздравления прокричим. А может быть, чем черт не шутит, власть и КГБ поуменьли, не захотят в такой день скандалить, и мы разопьем с трезвенником А.Д. свою чашку чая.

Замысел, как скоро выяснилось, оказался дилетантским. Домашняя, заготовка – по-партизански залезть на лоджию первого этажа – была лучше, но ее уже ранее использовал Алик Бабенышев, а «два раза одним лезвием не бреются». И вот, в полдень ясного солнечного денька мы мчимся по длинному Арзамасскому шоссе (справа – родной университет, слева – родная тюрьма) на самый край города. Приемник мурлычет что-то бодрое, мы хорохоримся и посмеиваемся над собой. И таксист (почти на 100 процентов подозреваемый нами чекист) весел...

Примерно в ста метрах от дома наше такси остановили. Несколько сотрудников ГБ в штатском и милиционер, окружив

машину, вытряхнули нас с Димкой из такси, втолкнули в оперчекистскую «Волгу» и сжали мертвой хваткой с боков. Операцией руководил, как узналось позднее, капитан КГБ Софьин, увы, выпускник нашего историко-филологического факультета. В пылу усердия «волкодавы» меня двинули о дверцу, набив на лбу шишку. Софьин, узнав об этом, заволновался и принес извинения. Шишка нарушала стройную красоту и чистоту гуманной акции по обезвреживанию смутьянов. «Голоса» из этой шишки черт-те что раздуют! Я, правда, никому жаловаться не собирался: подумаешь – синяк, дело житейское, то ли еще с нашим братом делают!

Привезли в Приокское отделение милиции, составили протокол задержания, вытряхнули все из карманов, вытащили шнурки из ботинок, закрыли в КПЗ.

В камере мы с Димой рассмеялись: раскатали губу на чай с нобелевским лауреатом! Поздравили друг друга с днем рождения А.Д. и сели толковать о нижегородских делах.

Дима был в состоянии эйфории, блаженная улыбка не сходила с его лица. У меня скребло на душе: удастся ли скрыть от родителей это очередное похождение? Очень уж не хотелось трепать им нервы.

Через час нас вывели из КПЗ, вручили шнурки и изъятые вещи. Одна машина увезла Диму, как выяснилось – домой, другая меня – на Московский вокзал. В специальном помещении (у КГБ такое есть при каждом ж/д вокзале и аэропорте) продержали до первого московского поезда. Беседа с Софьиным была краткой.

– Надеюсь, вам ничего не надо объяснять?

– Да уж не трудитесь.

– Вам понятно, почему вас высылают?

– Ну, конечно, – за чашку чая.

– Деньги у вас есть?

– По казенной надобности за свой счет не езжу.

– Вот вам билет до Москвы. Мы вас посадим в вагон, там будет ехать наш человек. Не пытайтесь выйти на остановке: вся линейная милиция от Горького до Москвы предупреждена. Вас не выпустят из вагона. И мой совет: пора вам образумиться, уняться...

На первой же остановке, в Дзержинске, я попытался выйти. «Нельзя!» – закричала мне проводница, а милиционер на платформе преградил путь. На станции Ильино все повторилось.

Попробовал я и (по классическому примеру Грача-Баумана) выбраться через окно в туалете – какое, милые, у нас тысячелетье на дворе – оно было наглухо задраено. Пришлось идти на свое место.

Утром на московском перроне меня никто не сопровождал и не «вел». Через полчаса, в 6 утра, я звонил в двери своим московским друзьям Кулаевым.

А еще через час, перекусив, побрившись и взяв денег на дорогу, на Курском вокзале сел во владимирскую электричку, чтобы «на перекладных» добираться до Горького. «Уняться» я не хотел. Во-первых, из принципа: я уезжаю из родного города, когда хочу этого сам, а не по желанию какого-нибудь дяди. Во-вторых, родители не должны ничего знать и волноваться. И, наконец, на 6 часов вечера на квартире у Димы Цветкова была назначена дружеская пирушка по случаю моего приезда. Не мог же я опоздать!

Увидеться вновь с Андреем Дмитриевичем мне удалось уже после его возвращения в Москву в 1986 году.

РАЗГОВОР С ИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Запись беседы редактора литературного машинописного альманаха «Проталина» Помазова В.В. с сотрудниками КГБ Угаровым В.Н. и Гусевым Ю.М. 21 апреля 1982 года в горотделе КГБ Серпухова. Запись сделана по памяти сразу же после беседы.

– Давненько мы с вами, Виталий Васильевич, не виделись (я имею в виду нашу организацию), 5 лет не тревожили. Сами вы не заходите... А мы между тем не забывали вас. И назрела потребность поговорить. Не прекращаете вы свою деятельность. Вот и откладывается материал: подписи под разными заявлениями, публикации в антисоветских журналах. Стихи ваши читают зарубежные радиостанции, «вражеские голоса», как мы их называем. Например, «Немецкая волна»...

– Вы и «Немецкую волну» курируете?..

– Представьте себе, да.

Открыв папку:

– Заявление в защиту Александра Гинзбурга вы подписывали? Вот тут стоит ваша фамилия.

– Да, подписывал. Александр Ильич – мой друг и милейший человек, как не подписать.

– Вот еще: «Обращение к странам – участникам Хельсинкского совещания»...

– Подписывал.

– А вот из «Континента» (зачитывает редакционную справку «Об авторе»). Все сходится?

– Как будто.

– Нас интересует: публикуются стихи без вашего ведома или вы сами передавали?

– Какая разница. Я же не протестую против публикаций, не отказываюсь. Это мои стихи. А печатают их пусть хоть «Правда», хоть ваша стенная газета...

– Но стихи эти используются нашими врагами. Ни для кого не секрет, что все эти радиостанции, «Континенты», «Посевы» существуют на деньги ЦРУ...

– Во-первых, это не так. Во-вторых, вас-то что волнует моя литературная деятельность? Это ведь не по вашему ведомству. Плохи мои стихи или хороши, они имеют отношение только к литературе...

– Вы статью Ленина «О партийности в литературе» читали?

– Я-то читал, вы плохо читали. Иначе знали бы, что в ней речь идет только о политической партийной литературе, но не о

художественной. И потом, мало ли кто и о чем писал. С точки зрения юридической, какие законы я нарушаю?

– Вы не признаете права государства регулировать литературную деятельность?..

– Нет! Не признаю.

– «Соцреализм», «партийность» – для него пустые слова...

– Никто не убедит меня в том, что я не имею права писать, печатать свои стихи, стихи своих друзей...

– Можете писать что угодно, но не переходите грань...

– Какую? Вы говорите от имени закона. Вот и скажите прямо: «Вы нарушаете такой-то закон, статью УК, например, 190-1, 70, авторские права»...

– Наша экспертиза не признала ваш журнал антисоветским. Но на грани фола. А так – малоинтересные стихи. Как определила экспертиза, посредственные.

– Так что же вас волнует распространение малоинтересных стихов в нескольких экземплярах?!

– ...но пессимизм, негативное отношение.

– В ваших руках стотысячные журналы, захлестывающие читателей волнами оптимизма. Что вам до нашего маленького журнальчика, маленького глотка свободы?..

– Попав на Запад, ваш журнал может нанести вред нашей стране.

– Каким образом?!

– Политическая направленность...

– Еще раз повторяю: это литература...

– Ну вот, смотрите, что здесь пишут (цитирует «Континент»): «...тем не менее общая направленность стихов характерна».

– Да ведь это о христианском мироощущении, а не о какой-либо политической направленности! О «Вифлеемской звезде».

– Мы живем в мире, разделенном на два лагеря. Классовая борьба...

– Да что вы заладили: «классовая борьба, классовая борьба...»! Деление общества на классы – одно из многих, не главное и – марксизм учит — преходящее. Сводить всю человеческую деятельность к ней нелепо. Я на таком уровне не хочу и говорить.

– Вы можете гарантировать, что журнал не попадет за рубеж?

– Ничего я вам не гарантирую.

– У нас уже собралось 8 экземпляров разных номеров, с 1-го по 4-й, и часть материалов к 5-му номеру, машинописные, ксерокс.

– Ну, полноте. Ксерокс – вашего изготовления. Я-то точно знаю, что ни одного отснятого кем-либо, кроме вас, номера не

существует.

– Зачем нам ксерокс? У нас есть экземпляры, фотокопии.

– А зачем вы вообще изымаете журналы, не содержащие, по вашему же определению, ничего противозаконного? К тому же журнал – чья-то собственность. То же – с книгами. Вы изымаете Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, а эти книги стоят денег, и немалых. Куда они потом деваются? Чьи библиотеки пополняют?

– Виталий Васильевич, кончайте вашу деятельность.

– Слушайте, по-моему, это просто несерьезно!

– По-вашему, мы занимаемся несерьезными делами?!

– По-моему, да. Госбезопасность – и рукописный литературный альманах. И потом: «чем бы дитя ни тешилось...»

– Мы – государственная организация и имеем право и обязанность регулировать всякую деятельность в пределах...

– Да не признаю я за вами такого права!

– Это ваше личное мнение, мы отражаем интересы всего общества, государства.

– Не человек существует для государства – государство для человека.

– Мы говорим от имени 270 миллионов.

– У каждого из 270 миллионов, как и у меня, своя точка зрения по любому вопросу жизни, едва ли совпадающая с вашей.

– Мы все-таки контролируем общественное мнение. Таких, как вы, – единицы.

– Каких?

– Врагов всего нашего.

– Я русский и, поверьте, никак не меньше вашего люблю свою страну и свой народ.

– По национальности-то вы русский, но что-то мало любите русское.

– ?

– Скажите, какие у вас политические взгляды? Чего вы, собственно, хотите? Какой строй? Многопартийность? Западный, восточный вариант? Какого переворота вы добиваетесь?

– Я не собираюсь обсуждать свои политические взгляды, мы ведь не в дискуссионном клубе. Могу сказать только одно: я не знаю ни одного правозащитника, который хотел бы насильственных переворотов. Хватит с нашего народа.

– Это вы – пока. А дай вам власть – мы будем висеть на реях.

– Ну что за убогое большевистское понимание! Если кто-то говорит о мирных средствах, то только для вида и до тех пор только, пока не имеет сил взять за глотку! Потом, я вообще считаю чисто политическую деятельность бесплодной, ничего не

дающей ни личности, ни нации.

– Знакомы вам такие: Утевский, Шibaев, Гастев, Шелковский? Что можете о них сказать?

– Я не собираюсь обсуждать с вами своих знакомых.

– Значит, все хорошие люди?

– Люди как люди. С достоинствами и недостатками. Мне симпатичные.

– Да, тянет вас на всякие знакомства, на антисоветчину всякую. Мы ведь знаем, что у вас и книги разные проходят, в том числе и признанные в судах антисоветскими...

– Это какие же?

– Ну, например, изъятая у вашего знакомого книга Кайзера.

– Человек описал свои впечатления о России, как он ее увидел и как понял. Это его взгляд. Не запретите же ему...

– На Западе — пусть, а распространение здесь — прямая антисоветчина.

– Кстати, растолкуйте, что значит «антисоветчина», «антисоветский»? Что это такое? А то я понимаю так: «антисоветское» — это то, что вам не нравится в данный момент, не соответствует кривизне «генеральной линии» в сию минуту. Назвать Сталина в 1953 году не то что преступником, а усомниться в его гениальности — «антисоветчина», в 1956-м доказывать обратное — тоже «антисоветчина», «антипартийная деятельность». Или, наоборот, в 1962-м «Один день» — «правдивая», «партийная» книга, сейчас — «антисоветчина». И так далее.

– И еще вопрос, Виталии Васильевич, Последний. Вы не собираетесь уехать за границу?

– Я не собираюсь эмигрировать. Скорее поеду в другую сторону.

– Судьба ваших детей, надеюсь, вам небезразлична?

– Вы же знаете, что небезразлична.

– Может, надеетесь на Фонд? Подкармливать ваших детей не дадим! Наложим лапу на все отправления.

– Вот опять: «будем высылать», «наложим лапу» — все незаконные средства. И, кажется, вы лапу уже наложили.

– Не думайте, что вы какая-нибудь крупная фигура. Да нам и наплевать, что будут вопить Рейганы, Тэтчер. Мы не собираемся устраивать политический процесс...

– Вот как...

– Да, не сколотите вы политического капитала.

– А зачем он мне?

– Ну, мало ли. Есть психология людей, которым хочется быть лучше других. Не хотят они быть, как все простые советские 270

миллионов. Поймите, Виталий Васильевич, мы вас не предупреждаем. Предупреждали вас 5 лет назад. Вот и официальное предупреждение, и ваша подпись.

– Я расписался, что ознакомлен. Но ни тогда, ни сейчас согласия с такой практикой «предупреждений» не выражал и не выражаю. Она незаконна. Это шантаж со стороны государственной организации по отношению к гражданину.

– Нет, вы послушайте. Указ Президиума Верховного Совета от 25 декабря 1972 года.

– Это антиконституционный указ. Он противоречит и международным правовым обязательствам, взятым на себя СССР.

– С такими идеями вам не место в Московской области.

– Разве идеи – преступление?

– Идеи вы претворяете в практике.

– Вот вы грозите высылкой, бессудной, по-видимому. Опять во имя закона вы его нарушаете.

– Мы не грозим, а предупреждаем. Ваша деятельность на грани фола.

– Ладно, возьмем не мой случай. Высылка Сахарова. Любой человек может быть обвинен и наказан только по суду. Вы же без всякого суда сажаете человека в самолет, ссылаете и объявляете о лишении всех наград и званий...

– К Сахарову еще проявлен гуманизм, учитывая его прошлые заслуги.

– Какой же гуманизм в произволе?

– Устраивать пресс-конференции мы не позволим. Кстати, вы виделись с Сахаровым в Горьком?

– Я пытался попасть к нему в день его 60-летия, был задержан и выслан.

– А вы сели в поезд и вернулись...

– Почему я должен поступать так, как вы хотите? Я — свободный человек. И в чем мое преступление? Пришел в день рождения на чашку чая. Вы сами искусственно создаете «преступления», делаете «врагов».

– Знаем, знаем, что вы нас ненавидите.

– Любви к вам, конечно, я не испытываю, но и ненависти тоже.

– А мы к вам в свое время проявили гуманизм, из 4 лет по 70-й вам оставили полтора года по 190-й, учитывая вашу молодость, раскаянье.

– Простите. Молод-то я был, но ни в чем не раскаивался. Виновным я себя не признал и настаивал в кассации на освобождении, т.к. все пункты обвинения отпали после того, как главный свидетель – на его показаниях и держалось все

обвинение – отказался от своих показаний, полученных под давлением следствия. Все шаткое здание обвинения рухнуло, и Верховный суд оставил полтора года только для сохранения престижа областного суда.

– Ах, во-о-т как вы понимаете.

– Да. И чтобы мне не напоминали о «проявленном гуманизме, учитывая молодость и «раскаянье», я готов оставшиеся два с половиной года досидеть.

– Ну это от вас не уйдет (пауза). А было время, вы сами приходили к нам, я имею в виду Комитет. В Горьком еще. Обращались с ходатайством о досрочном освобождении вашего друга Владлена Павленкова.

– Обращался. Как теперь понимаю, напрасно. А тогда я считал, что есть возможность освободить его по половине срока, прекратить ненужную жестокость, а вам – «проявить гуманизм».

– Что значит «жестокость». Лагерь – не курорт.

– Но даже осужденный имеет права: право на нормальное обращение, пищу, медицинскую помощь.

– Это все у них есть.

– В бытовом лагере рядом со мной на нарах лежал Китаев. Он мучился желудком, просил дать хотя бы соды. Но в медсанчасти соды не было, а в посылке она была запрещена...

– Не знаю, не знаю... А вашему Павленкову не только семи – и десяти лет мало.

– 7, 10 лет – это не решение. Ну, дали человеку 7 лет, он же выйдет, став, по вашим понятиям, еще хуже; новые 7 дадите, опять выйдет. Это в сталинские времена вам просто было: «к стенке», «разменять», в лагерь – и оттуда не вернулся.

– До сих пор с вами поступали слишком либерально.

– Либерализм и либеральность кончились в 1917-м году. Это в те времена могла легально выходить газета партии, призывающей к насильственному свержению существующего строя – «Правда», с 1912-го. Ленин в 14-месячном заключении ел чернильницы с молоком и запивал швейцарской минеральной водой, потом благоденствовал – охотился и писал – в ссылке, совершенно спокойно получил заграничный паспорт и беспрепятственно, даже во время войны, получал деньги через русские банки от всех Ульяновых.

– Да, просмотрело царское правительство Ленина...

– Не те штаты, не те сроки. Но неужели вы думаете, что каждого можно запугать тюрьмой, лагерем? Человек ведь не только жратвы и удовольствий жаждет. Есть ведь и такие понятия: чистая совесть, желание пострадать за правду (тонко подмеченное еще Достоевским), невозможность поступать иначе,

упоение «бездны на краю», да мало ли... По себе скажу: заключение – самое яркое и настоящее в моей жизни за последние 10 лет.

– Виталий Васильевич, кончайте ваш никому не нужный журнал.

– То есть, по Галичу:

*И не надо бы, не надо бы
ради красного словца
Сочинять, что не положено
и не нужно никому?*

– Во-во. Прекращайте вашу деятельность, Виталий Васильевич.

– Какую деятельность?! То-то и смешно, что никакой деятельности нет.

– Все-то вам смешно!

– Не прекратить же мне дышать. Стихи — мой способ существования.

– Нас интересуют политические акценты. Вот, например, прямо касается нас (цитирует «Август в Тарусе»):

*Картона кусочек
Заведует нами,
И шестеро ночью
Пришли с фонарями.*

*Разбужены дети
(Вода с капюшонов),
И жмутся соседи –
Свидетели шмона.*

*А шмон затянулся,
Клюют понятия...
Таруса, Таруса,
Россия, Россия...*

– А почему вы решили, что это о вас?

– Не считайте нас дураками. Вот вы уже и на польские события откликнулись: «Я польскую речь...»

– Меня это волнует.

– 270 миллионов не волнует, а вас волнует! Зато ни наши успехи, ни наши трудности вас не волнуют. Советское, значит,

дерьмовое...

– Против Советов депутатов трудящихся я ничего не имею...

– ...Радуетесь каждому неурожаю, каждому стихийному бедствию!

– Откуда у вас такие сведения? Я, каждый раз отправляясь к родителям в Нижний, волоку в руках и зубах продукты. И меня ничуть не радует это. И потом, не устраивайте стихийных бедствий и неурожаев. Самая богатая страна задыхается от нехватки предметов первой необходимости. Дайте людям проявить инициативу. Частник на полутора процентах обрабатываемой земли производит треть сельхозпродукции. Так дайте ему пять процентов – и он произведет больше, чем все колхозы и совхозы вместе взятые.

– А вы сами будете обрабатывать участок?

– Почему бы нет, я крестьянского рода. Дайте возможность дышать: проявить инициативу в экономической деятельности, общественной, религиозной, культурной...

– И все само собой пойдет?

– Да не хуже. Вы-то знаете, куда идти? Ваша последняя, тихо угасшая программа с несбыточными цифрами...

– Программу откорректировали.

– Задним умом мы все крепки. Почему же в то время, когда Программу принимали, не нашелся среди вас человек, который сказал бы: «Друзья, то, что вы предлагаете, – фантастика, несбыточная мечта»?

– Были, наверно, и такие. А вы не допускаете, что люди, принимавшие Программу, знали это, но им хотелось верить в осуществление несбыточной мечты?

– Знаете, в Древней Греции был тоже такой мечтатель – Прокруст. Он мечтал сделать всех равными и для этого одним отрубал ноги, другим вытягивал. Зачем во имя утопий калечить жизнь народа?

– Ну, поговорили обо всем. Поймите, Виталий Васильевич, это частный, приватный разговор. Предупреждать вас больше не будем, предупреждали мы вас пять лет назад. Сделайте выводы для себя. Возникнут вопросы – приходите.

*Кто не жил в 1856 году, тот не
знает, что такое жизнь*

Л. Толстой

В майские дни 1985 года я получил письмо из «Рабоче-крестьянского корреспондента», куда Коля Дубинкин по своей инициативе отправил мои миниатюры. У меня просили согласия (!) их напечатать. В № 6 журнала появились несколько миниатюр в сопровождении хвалебной статьи Влодовой.

Апрель 1986 года. В своей квартире Миша Утевский торжественно разворачивает передо мной журнал «Огонек» с большим портретом Николая Гумилева и подборкой стихов. Потом я иду по Большой Семеновской и во всех киосках спрашиваю 17-й номер журнала. Летит последний снег. (А. Софронов, один из самых мракобесных секретарей Союза писателей за несколько недель до этого смещен со своего поста редактора, в мае назначат новым редактором журнала тогда мало кому известного поэта Виталия Коротича, который круто развернет политику полуторамиллионного «Огонька». Но еще до его прихода редакция самостоятельно решает отметить столетие запрещенного поэта.)

В мае происходит знаменитый бунт на 5-м съезде кинематографистов, полностью переизбирается руководство, с полок снимаются запрещенные фильмы. Редактором журнала «Знамя» ставят Григория Бакланова. В «Литературке» одна за одной печатаются смелые статьи Ю. Щекочихина и других авторов. Появляются кусочки правды об аварии на Чернобыльской АЭС. В июне состоялся телемост Ленинград – Бостон с ведущими Познером и Филом Донахью, на котором прозвучала знаменитая фраза: «В СССР секса нет!»

13 августа я написал заявление в Прокуратуру РСФСР на пересмотр моего дела. Прочитал Дубинкину. «Слушай, да тебя за такое заявление опять посадят!»

Летом с Ирой Валитовой едем в Тарусу на могилу Сережи Шибаева. Обсуждаем с ней проблему: начнут в ближайшее время выпускать политических или нет. А в конце сентября ей сообщают, что Орлов (отсидевший в жестоких условиях почти весь свой срок) переведен в Лефортово, его обменяют, и для нее готова виза на выезд из СССР.

3 октября состоялись проводы. В однокомнатную квартиру на Профсоюзной набилось больше 50 человек. Иру поздравляют, но она подавлена и стряхивает слезы – уезжать из России ей не хочется, она себя на Западе не представляет, но долг обязывает ехать за мужем. (Через несколько месяцев, бросив Юру и все предоставленные блага, она вернулась в Москву.) Значительную группу провожающих и выпивающих составляют «почвенники». Их легко отличить по сапогам, по могучим бородам и чуть ли не поддевкам.

Вся диссидентская Москва знает, что с октября Анатолий Марченко держит в Чистопольской тюрьме смертельную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных. 8 декабря, получив, видимо, некие серьезные заверения и уже прекратив голодовку, Толя умирает. Лариса, Паша и несколько близких друзей уехали в Чистополь на похороны, не зная никаких подробностей.

15 декабря в квартире Сахарова в Горьком ставят телефон. На следующий день ему звонит Горбачев и сообщает о решении властей разрешить ему вернуться в Москву.

С января 1987-го «Новый мир» печатает «Зубра» Д. Гранина, с апреля «Наш современник» – «Детей Арбата», прибалтийские журналы – Набокова, Довлатова. А в мартовском номере «Московских новостей», где с августа 1986-го редактором Егор Яковлев, печатается (перепечатывается из «Фигаро») сенсационное Письмо десяти (Аксенов, Неизвестный, Буковский, Зиновьев, Кузнецов и др.) «Пусть Горбачев предоставит доказательства» – с резкой критикой коммунизма и сомнениями, что «горбачевская весна» перейдет в лето.

Газету не только в провинции, но и в Москве достать невозможно. Люди из области, из Тулы и Калуги едут в Москву, на Пушкинскую площадь, где на стенде «МН» висит крамольный номер. Статью переснимают, переписывают от руки. Вся стена от дверей редакции по Страстному бульвару – метров двести – завешана листовками, неформальными газетами, плакатами, объявлениями. Вдоль нее бурлит толпа людей с пасхальными лицами. Все доброжелательны и подсказывают друг другу, что и где еще можно достать прочесть, обмениваются адресами.

В № 4 «Енисей» с подачи Капранова печатается большая подборка моих миниатюр. Михаил, или точнее отец Михаил, после Тогур в 1984-м переведен в Красноярск, где, к неудовольствию церковных и светских властей, он дружит с Виктором Астафьевым. Закончив Загорскую (Троице-Сергиеву) семинарию, он там же поступает в духовную академию, где преподает Владимир Юдин, в свое время исключенный из

Горьковского университета за религиозные взгляды. Два раза в год о. Михаил приезжает на экзаменационную сессию. Я шучу: поп-заочник. Как-то мы с ним и Володей Юдиным заезжаем к моей т. Шуре в Пушкино, и там разгорается целый диспут о вере и неверии. В Красноярске в краевой газете выходит статья, где рассказывается биография М. Капранова, в том числе и лагерная.

В мае 1987-го на Красной площади приземлился легкомоторный самолет «Чесна», управляемый бесшабашным немецким парнем Рустом. В министерстве обороны полетели крупные звезды, министром обороны становится Дмитрий Язов. В мае же прекращается глушение «Голоса Америки».

Но главное – начинают пачками выпускать политзаключенных из Пермского лагеря. Кто-то подписал формальную бумагу, кто-то не согласился, но все равно отпущен. В московских квартирах моих друзей тесно от приехавших. Многие сразу оформляют визу на выезд. Уезжает после 9 лет сидения в отказе Марк Ковнер. Я встречаюсь с ним в Москве на «проходной» квартире Игоря и Веры Коганов у Курского вокзала. С женой Люсей они идут пешком попрощаться с Сахаровыми, которым оказали немало услуг в Горьком.

И – разрешают приезд в гости (сначала только в Москву) эмигрантам! Люди, которым казалось, что их отъезд это как уход в загробное царство, откуда нет возврата, могут навестить своих близких. В ноябре приезжает Светлана Павленкова, Владлену разрешения не дали. В Шереметьево ее приехали встречать москвичи и горьковчане: Коля Федоров с женой и дочерью, Марк Тарасов, вдова Игоря Павленкова Ира с дочерью, сын Игоря Костя с женой и годовалой дочкой, мой брат Игорь...

Светлана остановилась у Федоровых. Бесконечные рассказы, расспросы, раздача подарков, слезы радости и печали: смерть Игоря Павленкова – незаживающая рана всей семьи и близких. В «Березке» всем щедрые подарки. Мне однотомник Булгакова и четырехтомник Трифонова. Три дня для всех пролетают стремительно, и вот уже снова надо прощаться.

С Сашей Триденцовым идем по ул. Чернышевского и обсуждаем услышанную новость: – «Новый мир» собирается печатать «Доктора Живаго». Саша сомневается: «Неужели напечатают?! Нет, не осмелятся!»

Но более того. Приехал в очередной раз в Тарусу к Осиповым с ночевкой. Уже лежа в кроватях, слышим по «Свободе»: Горбачев якобы обещает разрешить печатание «Архипелага ГУЛАГ». Мы с Владимиром Николаевичем аж подскакиваем на кроватях: «Ого! Ну, дает!» («Архипелаг» будет напечатан только в 1990-м).

Мой друг Саша Ильин подписывается в новом году на десятки изданий во всех концах Союза: от Прибалтики до Урала – на 650 рублей (четыре зарплаты). Дома у него уже завал из «Даугавы», «Немана», «Сибирских огней», «Уральского следопыта»...

На новый 1988 год устраиваем вечеринку в мастерской Альберта Ивановича («норе»), где довольно долгое время жил. Лариса Осьмина укрепляет на стене лист ватмана с нарисованной новогодней елкой. На ее ветках – ожидаемые в новом году подарки-книги: «Доктор Живаго», Набоков, Солженицын, Довлатов... А на «Стене плача», где год за годом все приходящие в мастерскую пишут любые изречения, типа «Перестройка – ор в законе!», появляется новая надпись:

*В дни перестройки «органы»
Мучительно издерганы.*

1988-й г. начинается с печального события – войны в Карабахе.

В Прибалтике организуются в противовес КПСС народные фронты, оттуда идет поток новых газет и журналов. В мае начинается вывод войск из Афганистана. Одна за одной возникают неформальные организации и клубы.

25 июня в Москве на Водном стадионе проходит один из первых митингов «Мемориала». Я приезжаю туда вместе с Эми Ботвинник. Рядом с нами стоят муж и жена Никитины, а выступает Сергей Ковалев, который только что получил официальное разрешение вернуться в Москву.

После получения отказа на мое первое заявление на реабилитацию (в Горьком оно пришло в руки «моему другу» – прокурору Колесникову, и он уж постарался на 12 листах расписать мои преступления так, что Верховный суд все оставил без изменения) я 29 августа отправляю второе, еще более резкое.

В «Теплосети» ко мне один за одним стали подходить сотрудники и рассказывать, что их в свое время вызывали в горотдел КГБ, беседовали, рассказывали, какой я матерый враг, показывали разные документы. Все уверяли меня, что говорили обо мне только положительное. Склонен верить, что это почти правда.

25 октября в Москву приезжает Владлен Павленков. Мы с ним встречаемся на конференции «Демократической России», он отдает мне несколько своих статей об обустройстве России. В Горький, куда он рвется, его не пускают. (Только в следующем году он попадет туда, побывает на могиле брата, напишет несколько безответных заявлений председателю Горьковского

УКГБ Карпычеву, академику Гапонову-Грехову с просьбой возбудить дело по расследованию обстоятельств смерти Игоря Павленкова. В сумеречном состоянии депрессии в январе 1990 Владлен покончил жизнь самоубийством.)

В октябре журнал «Огонек» печатает мою заметку о Викторе Некрасове, в защиту его от недобросовестных комментаторов.

11 декабря Солженицыну исполнилось 70 лет. По этому случаю из Москвы с Центрального телеграфа 7 декабря я отправляю поздравительную телеграмму (латинским алфавитом) в Кавендиш, штат Вермонт:

*«Дорогой Александр Исаевич = Сердечно поздравляем
семидесятилетием = Желаем здоровья долгих лет
творчества встречи с Россией.*

*Серпуховичи Виталий Помазов, Александр Ильин,
Альберт Щенников, Николай Дубинкин, Михаил
Гололобов, Иван Брянцев, Борис Чекунин»*

11 декабря с Утевским приходим на торжественное собрание в честь юбилея писателя. Оно происходит в клубе где-то в районе Бауманской. Большинство собравшихся – почвенники, и главный выступающий Владимир Бондаренко, автор антиперестроечной статьи в журнале «Москва». Насколько я знаю, еще одно юбилейное собрание прошло в ЦДХ.

*Но поражение от победы
Ты сам не должен отличать*

25 декабря 1988 года в столовой исполкома ко мне подошел Николай Дубинкин, на адрес которого приходила в то время моя почта, и протянул конверт из горьковской прокуратуры. Криво надорвав его, я прочитал письмо ст. помощника областного прокурора В.А. Колчина. Он сообщал, что направил протест на приговор моего суда за отсутствием состава преступления. К официальной бумаге была приложена рецензия на «Государство и социализм» доктора исторических наук З.М. Саралиевой: «... Общий уровень работы говорит об эрудиции и способностях автора».

Дубинкин хлопнул меня по плечу: «Ну, что, начинаем избирательную кампанию?!» – «И будем вести ее параллельно с созданием «Мемориала»!

Идею создать в Серпухове такую организацию я привез после одного из первых митингов «Мемориала» в июне на Водном стадионе и уже «заразил» ею нескольких друзей. (Первоначально это были Елена Леонова, Николай Дубинкин, Александр Ильин, Наталья Панкратова, Иван Брянцев, Владимир Шилкин, Альберт Щенников, Ирина Чернова. Через полгода в организации официально состояли 19 человек.) А выдвинуть мало кому известного в городе диспетчера «Теплосети» кандидатом в депутаты на Съезд народных депутатов СССР предложил в нашем кругу Дубинкин. Но до получения нынешней прокурорской бумаги я считал этот план бесперспективным даже в чисто пропагандистских целях. А теперь настал «момент истины».

События закрутились стремительно. Мы решили начать со сбора подписных листов в мою поддержку, никак не предполагая, что в будущем именно таким образом и будут происходить все выдвижения. А на выборах 1989-го кандидатов выдвигали трудовые коллективы. Распечатав первые подписные листы, я уже 31 декабря собрал подписи. Первая подпись – от корректора «Коммуниста» Раисы Ивановны Ремизовой. А в новогоднюю ночь подписи поставили Альберт Щенников, его мать Полина Михайловна и Миша Гололобов. Всего же инициативная группа, в основном состоявшая из мемориальцев, за четыре недели собрала 609 подписей. Многие из них пришли на самодельных подписных листах, расчерченных от руки.

Уже 15 января мы триумфально провели в городском театре при полном зале вечер памяти жертв сталинских репрессий. Он шел три часа, люди жаждали выговориться, не хотели расходиться. Мы приобрели много сторонников, многие стали потом друзьями. А на 19 января инициативной группой было назначено собрание по выдвижению кандидатов в «Теплосети».

Объявление о таком собрании вызвало переполох городских властей. Были пущены в ход все средства. Совет трудового коллектива отказался организовывать собрание. Директор «Теплосети» В.К. Шавырин (в народе – Наджибулла) запретил мастерам отпускать рабочих на него, объявление о созыве собрания по его приказу было сорвано. Из 150 подписей, собранных в подразделениях «Теплосети», украли список на 25 человек. Парторг А.С. Черкасова – типичный образец фанатичного ортодокса сталинских времен – даже без накрутки горкома готова была лечь костями, чтобы выдвижение не состоялось. Корреспондента «Коммуниста» Александра Гришина не пускали в здание администрации (хотя все равно его материал газета не напечатала бы). Другим сотрудникам газеты не разрешили покидать редакцию.

Тем не менее собрание состоялось. Актальный зал «Теплосети» полон. Выступления и обсуждения были бурными. Особенно эмоционально говорили женщины Нина Ирхина, Раиса Харитоновна, Валентина Биякина. Кроме Шавырина и Черкасовой все проголосовало за выдвижение.

Когда протокол собрания был принесен делегацией «Теплосети» в ОИК, председатель избирательной комиссии Гудкова категорически отказалась его принять и в перепалке с делегацией просто перешла на визг. Делегаты ушли потрясенные таким приемом.

Дима Леоненко – единственный из членов окружной комиссии попытался опротестовать отказ Гудковой принять протокол собрания «Теплосети». За это было предложено отозвать его из ОИК, «поскольку своими действиями он мешает ее слаженной работе».

Отказы принять протокол «Теплосети» и провести собрание по месту жительства после моих заявлений в ЦИК оформили официально. Для этого меня пригласили в зал заседаний исполкома, торжественный, с государственными гербами. Помимо председателя исполкома И.Б. Хазинова, секретаря горисполкома Л.В. Масленковой, председателя ОИК С. Гудковой, директора ПТО ГХ В.М. Кольцова в зале собралось еще много чиновников. Я пришел с Николаем Дубинкиным, мы сидели отдельно, и наши неформальные свитера резко контрастировали

со всем окружающим. Коля шептал мне на ухо: «Виталий! Смотри, сколько важных людей собралось в этом зале только ради того, чтобы отказать тебе!»

Немного юмора: два моих приятеля художник Евгений Пятин из Горького и литератор и уфолог Алексей Прийма из Москвы (на бланке «Юности») прислали письма по такому адресу: г. Серпухов, кандидату в депутаты Виталию Помазову, – и оба письма дошли до меня. А Коля Дубинкин со своего адреса на Красном Текстильщике направил письмо матери на улицу Сталинского прихвостня (имея в виду ул. Ворошилова), 151, кв. 95. И это письмо дошло до адресата!

В конце января в Москве, в МАИ, состоялась учредительная конференция Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». Я был на ней делегатом. В резолюции конференции, в частности, говорилось о поддержке «Мемориалом» своих кандидатов: А.М. Адамовича, Ю.Н. Афанасьева, В.В. Винниченко, Е.А. Евтушенко, Б.Н. Ельцина, В.Б. Исакова, С.А. Ковалева, В.А. Коротича, В.Н. Кузнецова, Р.А. Медведева, Р.И. Пименова, В.В. Помазова, Е.М. Прошиной, М.Е. Салье, А.Д. Сахарова.

О том, что происходило в Серпухове, подробно рассказано в «Московских новостях» в материале «По 132 статье: предвыборная история в документах и мнениях»:

Инициативная группа предложила выдвинуть кандидатом в народные депутаты СССР по Серпуховскому территориальному избирательному округу № 41 Виталия Помазова. Это известие вызвало в городе самые противоречивые толки...

Из характеристики, представленной в окружную избирательную комиссию: «Помазов Виталий Васильевич работает в Серпуховской «Теплосети» мастером аварийно-технической службы. За время работы проявил себя исполнительным работником, в общении с людьми тактичен, вежлив, умеет располагать к себе людей, начитан... умело использует негативную информацию прессы, разжигая в людях недовольство уровнем жизни, событиями в Афганистане, на словах соглашается с политикой перестройки, проводимой в нашей стране.

В работе инициативы не проявлял, за все время работы не участвовал ни в одном субботнике, не

оказывал помощи подшефному совхозу, снисходительно относился к пьющим на работе...

Помазов ранее был осужден по статье 190 «прим» к 1,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Разведен. Имеет троих детей...

Из заявления Виталия Помазова в прокуратуру Московской области: «...прошу привлечь к уголовной ответственности лиц, воспрепятствовавших осуществлению моего неотъемлемого права на выдвижение кандидатом в народные депутаты СССР. Директор «Теплосети» Шавырин В.К. принял участие в составлении ложной характеристики на меня... По указанию Масленковой (секретарь Серпуховского горисполкома – А.Р.)... истребована производственная характеристика (никакой статьей Закона о выборах не предусмотренная)... Эта характеристика содержит ложные и взаимоисключающие утверждения».

Формально Виталий Помазов прав, что Закон о выборах народных депутатов СССР никаких характеристик не требует. Впрочем, и не запрещает их запрашивать. Однако характеристики вовсе не серпуховская самодеятельность, а явление, насколько я знаю, повсеместное. Но насколько отвечает духу демократизации такой негласно введенный порядок, тема отдельного разговора.

Из биографической справки, подготовленной инициативной группой по выдвижению Помазова: «Родился 19 января 1946 года в семье военнослужащего... 23 мая 1968 года Виталий Помазов при отличных оценках по всем предметам исключен из университета (города Горького. – А.Р.)... Недостойное поведение выразилось в открытом выступлении в университетском дискуссионном клубе против попыток реабилитации сталинизма, за демократизацию советского общества, в распространении антисталинской и антибрежневской литературы («Письмо Раскольникову Сталину», стенограмма судебного процесса над поэтом И. Бродским, протесты советских граждан против начавшихся политических процессов), в распространении своей книги

«Государство и социализм».

Приговорен Горьковским областным судом к 4 годам по ст. 70 УК РСФСР. Виновным себя не признал. Определением судебной коллегии Верховного суда срок снижен до 1,5 лет, статья переквалифицирована на 190 «прим»)...

Виталий Помазов обладает литературным талантом. Его стихи публиковались в советских и зарубежных журналах... В 1988 году участвовал в собраниях историко-просветительского общества «Мемориал» в Москве и Горьком...

Мы считаем, что он – историк, публицист, поэт, человек с обостренным чувством социальной справедливости и организаторскими способностями, доказавший искренность и твердость своих демократических убеждений на деле – способен грамотно, честно, взвешенно и принципиально защищать идеи начавшегося нравственного политического и экономического возрождения нашей страны...

Из письма старшего помощника прокурора Горьковской области В. Колчина Виталию Помазову от 16 декабря прошлого года: «Уважаемый Виталий Васильевич! Ваше заявление рассмотрено... Мною подготовлен протест на приговор... В протесте поставлен вопрос о прекращении в отношении вас уголовного дела за отсутствием в ваших действиях состава преступления».

Если, как утверждает Помазов, некоторые официальные лица действительно пытались утверждать, будто он, ранее судимый, не имеет права выдвигаться кандидатом в депутаты, то эти утверждения и впрямь – дезинформация. Обсуждение на том или ином собрании, имеющем право выдвигать кандидатов – вот минимум прав, который должен быть обеспечен каждому. Но это в теории. А как на практике, в конкретном случае с Помазовым?

В результате совместного заседания Серпуховского горисполкома и райисполкома появился на свет следующий документ: «...учитывая решение собрания представителей общественности от 19.01. микрорайона им. Ногина, где т. Помазов В.В. проживает, о

нецелесообразности проведения собрания (избирателей по месту жительства для выдвижения кандидатов в депутаты – А.Р.), исполкомы горрайсоветов решили: поддержать мнение общественности микрорайона им. Ногина о нецелесообразности проведения собрания...»

Из заявления Помазова в областную прокуратуру: *председатель окружной избирательной комиссии Светлана Гудкова «выступила инициатором созыва никакой статьей Закона о выборах не предусмотренного, совершенно противозаконного собрания представителей общественности (29 человек, в большинстве своем пенсионеры) микрорайона им. Ногина с целью блокировать собрание по месту жительства».*

Причем сам Помазов на этом действительно законом не предусмотренном «собрании общественности» присутствовать не мог – именно на то же время было назначено другое собрание – трудового коллектива «Теплосети» по выдвижению кандидатов в депутаты.

Из заявления члена инициативной группы и.о. старшего диспетчера «Теплосети» Бориса Чекунина в прокуратуру Серпухова: *«Директор «Теплосети» Шавырин В.К. совместно с председателем парткома ПТО ГХ (Производственно-техническое объединение городского хозяйства. – А.Р.) Черкасовой А.С. запрещает проведение общего собрания «Теплосети» по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР. Запрещение выражается в приказе со стороны администрации в лице Шавырина В.К. не отпускать рабочих на это собрание, которое должно состояться 19.01.89. в 17 часов. Объявление о созыве общего собрания... было сорвано».*

Собрание прошло. 73 человека проголосовали за выдвижение Помазова, 2 – против. Однако окружная избирательная комиссия не признала собрание правомочным, так как из 333 работников «Теплосети» на нем присутствовало лишь 75. Конференцией же это собрание считаться не может, поскольку не проводились выборы делегатов. Что ж, решение совершенно обоснованное. Но не о нем речь.

Больше всего в этой истории меня удивляет одно обстоятельство. Из долгого разговора с секретарем

Серпуховского горисполкома Любовью Масленковой я понял, что руководители города убеждены: избиратели все равно не поддержали бы предложение о выдвижении Виталия Помазова кандидатом в депутаты. Но стоило ли тогда, как говорится, огород городить: пусть Помазова отвергли бы те, кто имеет на это полное право по закону – избиратели, в ходе обсуждения, предусмотренного законом. Глядишь, у городских властей не было бы с Помазовым столько забот, а у него не появилось бы повода писать теперь в прокуратуру:

«Я полагаю, что указанные действия... являются нарушением ст. 13 Закона о выборах («Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз или иным путем свободному осуществлению гражданином СССР права избирать или быть избранным народным депутатом СССР... несут установленную законом ответственность») и подпадают под действие ст. 132 УК РСФСР – «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

Хочется верить, что настанут времена, когда соблюдать законы станет менее хлопотным, нежели пытаться их обойти. Правда, не все еще пока это поняли.

Андрей Романов

«Московские новости» № 9, 26 февраля 1989 г.

Итак, до окружного собрания я не дошел. Но наша инициативная группа решила действовать дальше, чтобы поддержать одного из демократических кандидатов, которому удастся пройти сквозь сито окружного собрания. Я познакомился с протвинцем Владимиром Пантелеевым, обошедшим на выборах в институте (ИФВЭ) академика Логунова. Предложил ему поддержку.

Окружное собрание состоялось 14 февраля в актовом зале горсовета Серпухова. Пушино и Протвино были представлены тремя кандидатами, Серпухов и Чехов – двумя. На собрание допустили только представителей кандидатов, членов горкома, редактора «Коммуниста» Корнеева, никого из посторонних. Даже Дубинкину, сотруднику газеты, пропуска не дали.

Зато в вестибюле исполкома мы познакомились с пушинцами:

кандидатом Львом Козловичем (Наташа Панкратова попросила у него автограф, он был польщен) и доверенным лицом Е.Л. Головлева Василием Вельковым – красавцем гренадерского роста и острословом. «Мы, если надо, в поддержку своего кандидата можем привезти в Серпухов 600 человек!»

Наше серпуховское окружное собрание «прославилось» на всю страну тем, то представитель Головлева ветеран войны Ростислав Борисович Лепорский был «захлопан» во время выступления и умер по дороге в больницу. Инициаторами захлопывания были тогдашний первый секретарь ГК партии Волков и прокурор Писарев. (Ровно через десять лет, день в день и час в час пьяный Писарев на лестничной площадке из табельного пистолета выбил глаз парню-афганцу. Из прокуроров пришлось уйти, но и доньше он процветает в адвокатах.)

Сквозь сито окружного собрания прошли только трое: ставленник горкома А.И. Лыиков, исполнительный директор пущинского научного центра Е.Л. Головлев и С.Г. Попов – политработник, кандидат одной из воинских частей из Чехова, который сумел развеселить публику анекдотами и комплиментами в адрес женской части собрания.

«Мемориал» вел кампанию в поддержку Головлева. Альберт Щенников сделал несколько десятков плакатов, я печатал на машинке сотни листовок. Вместе с Дубинкиным мы сочиняли выборные частушки типа *«Если жизнь твоя хренова, Голосуй за Головлева – Может, в этом случае Будет что-то лучшее! // Полюбила я Попова, Парень, видно, он толковый. Не попасть бы только сдуру Под военну диутатуру!»* и т.п., другие расклеивали их. Мемориальцы ходили на встречи с Головлевым и выступали в его поддержку.

Евгений Леонидович Головлев, тогда молодой, 49-летний, красивый, модно одетый, умеющий говорить, привлекал как жителей наукоградов, так и женскую аудиторию в целом.

Накануне голосования, собравшись в мастерской Альберта, в «норе», мы, несколько человек, составляли прогнозы. Ближе всех к результату (58% голосов у Головлева) оказался оптимист Миша Гололобов. Лыиков набрал всего 12% голосов.

Евгений Леонидович устроил в Пущине небольшой банкет для своих доверенных лиц и инициативной группы. Из Протвино приехали экс-кандидаты Юрий Ильин и Владимир Пантелеев, Дима Леоненко, из Серпухова – Александр Ильин, Наталья Панкратова и я, из Пущино были Лев Козлович и Василий Вельков. По разным причинам не все приглашенные смогли приехать. После банкета нас, серпуховичей, пригласил к себе Козлович, и в течение часа мы слушали, под угощения его жены

Луизы Ивановны, его горячую, сбивчивую и не всегда понятную речь. А потом мы были в гостях у Велькова, и он «проэкзаменовал» меня, зачитывая тот или иной фрагмент из самиздатских произведений и не изданных в СССР авторов. К удовольствию серпуховичей, экзамен я выдержал на отлично, получив от Василия Васильевича респект и уважение.

Накануне первого съезда народных депутатов СССР Евгению Леонидовичу «Мемориал» составил перечень наказов. Но на съезде он как-то затерялся и ничем не блеснул, как мы надеялись. Человек симпатичный и интеллигентный, он был очень нервной натурой. Партийный билет мешал ему. Он не вошел в межрегиональную группу Сахарова, Собчака и Ельцина.

Но о поддержке «Мемориала» он помнил. Приезжал 22 мая на наш митинг в парке им. О. Степанова. Собралось полторы сотни серпуховичей. Митинг «охраняли» милиционеры с овчарками. Было солнечно, но очень холодно. После митинга я пригласил всех активистов в «нору», попить чаю. Головлев от более узкого общения отказался, уехал на служебной машине. В мастерской трудно было повернуться. Дубинкин искал спиртное, его не было. Но и без спиртного всем было хорошо и весело.

(Е.Л. Головлев умер 12 ноября 2012 года после долгого периода депрессии, не вписавшись в новую действительность.)

А публикация в «Московских новостях», самой популярной в эти годы газете, имела последствия. В.В. Пугачев прислал мне из Саратова поздравления. Радио «Свобода» в марте передало изложение статьи. Мои друзья-нижегородцы звонили: «Слушали, как ты воюешь в Серпухове».

Кроме того, публикация стала поводом для знакомства с замечательным человеком – женой Володи Пантелеева Наташей. Она преподавала английский язык аспирантам-физикам. Дала им переводить статью из «Moscow News». Они захотели встретиться со мной. У нас был с ними долгий, серьезный разговор о дальнейшем развитии политических событий в стране.

После встречи Пантелеевы пригласили меня в гости. С Володей мы дружим до сих пор, умница Наташа умерла в июне 1995 года в Зеленограде, куда они переехали. Тяжело больная, она почти никогда не говорила о своей болезни, а очень искренне интересовалась своими друзьями в Серпухове и Протвино. Кстати, она в 1989-м предсказала, что я буду редактором газеты, а Миша Горловой – председателем Протвинского горсовета.

Летом, как обычно, я приехал в отпуск в Горький. Зашел в областной суд поблагодарить незнакомого мне Колчина и, главное, походатайствовать за своих друзей. Оказалось, что тома «сверхсекретного» дела Павленкова и его поделщиков довольно беспорядочно валяются на сейфе Колчина, который получил их для рассмотрения. Колчин с любопытством смотрел на меня и мою семилетнюю дочь Аню – наверно, ему было интересно видеть в быту живого диссидента, одного из тех, чьи дела он рассматривает. Он сказал, что готовит протест по «делу четверых». (Как-то так получилось, что ребят с их 70 и 72 статьями реабилитировали в апреле 1990-го, а меня с моей 190-1 только в мае 1992-го.)

Через день я зашел в главное здание университета на кафедру научного коммунизма, руководимую д.и.н. Саралиевой. Зара Михайловна оказалась моложавой, красивой, восточного вида женщиной с умными глазами.

– Не стоит благодарить. Наша обязанность исправлять допущенные в прежние годы ошибки.

– К сожалению, не все так думают.

– Чем вы сейчас занимаетесь? Мы тут читали в «Московских новостях» о ваших избирательных делах. А в университете вы не хотите восстановиться?

– Как-то не думал об этом.

– Смотрите. Я могла бы за вас походатайствовать.

– Спасибо, не надо.

Мы расстались, но высказанная ею мысль запала в голову. Практического смысла восстанавливаться в университете я не видел. Кормил меня технический диплом. Начинать преподавание в школе в 40 с лишним лет? Смешно. Заниматься исторической наукой? Поздно. И все же, после двухдневных размышлений, я решил: «А – восстанавлиюсь! Просто так. Ради куража. Чтобы знали наших!»

Через три дня с заявлением о восстановлении я сидел в приемной проректора по науке Лебедева. Секретарша неодобрительно косилась на назойливого посетителя с «Les nouvelles de Moscou» в руках (достать «МН» на русском в Горьком было невозможно).

Лебедев растерянно вертел в руках мое заявление:

– Но вы же знаете: по закону восстановиться можно только в течение трех лет.

– В свое время со мной поступили разве по закону?

– Я понимаю. Но прошло столько лет, вы уже все забыли, надо начинать снова.

– Наоборот, за прошедшие 20 лет я серьезно занимался историей и литературой и знаю сегодня гораздо больше, чем студент-третьекурсник.

– Даже не знаю, как с вами поступить, – мнется Лебедев.

– Наконец, я на сегодня – председатель Серпуховского историко-просветительского общества «Мемориал».

– А, вот это хорошо. Обязательно допишите это в заявлении!

Он облегченно вздохнул и направил меня к декану истфака Колобову.

В коридоре я столкнулся с Ларисой Королихиной, своей бывшей ученицей. Она давно закончила вечернее отделение истфака и преподавала в университете. После моего отъезда в Подмоскowie мы как-то потеряли друг друга из виду. Увидев меня, она обрадованно бросилась ко мне.

– Ты что тут делаешь?!

– Да вот собираюсь поучить вас.

– Здорово!

– Шучу. Хочу восстановиться в университете. Был сейчас у проректора. Он направил меня к Колобову.

– Колобова сейчас в городе нет. Есть зам. декана Фещенко. Я поговорю с ним.

На другой день в коридоре истфака мы беседовали с Николаем Ильичом Фещенко.

– Вас исключили с третьего курса дневного отделения, это соответствует четвертому курсу заочного. Но вы же не хотите восстанавливаться на четвертом? А что бы начать учебу на пятом, вам надо досдать 17 дисциплин: экзамены, зачеты и курсовые.

Я вспомнил историю с чемпионом мира по шахматам Петросяном. Когда он уже стал чемпионом мира, чиновники усмотрели, что у него нет высшего образования и стали настаивать, чтобы он его получил. Петросян приехал в Ереван, пришел к ректору Ереванского университета. – Что надо, дорогой? – Да вот эти дундуки в Москве хотят, чтобы у меня был диплом о высшем образовании. – Хорошо, дорогой!

Ректор взял бланк чистого диплома, прошелся по всем профессорам, и каждый с почтением поставил в нем свою подпись. Ректор вручил диплом Петросяну и обнял его на прощание.

Когда я рассказал эту историю своему другу Саше Ильину, он рассмеялся: «Да они тебе в университете должны были дать диплом уже хотя бы потому, что ты за 20 лет по лагерям и котельным не забыл русский язык!»

– Когда надо приезжать сдавать?
– Через месяц, в конце августа. Когда преподаватели вернутся из отпусков.

– Хорошо.

Лариса помогла мне набрать в библиотеке нужные книги. Вернувшись в Серпухов, я вышел на работу, а все свободное время сидел над учебниками. В конце августа приехал снова в Горький. Труднее всего оказалось отыскать преподавателей. Спасибо Ларисе и Заре Михайловне, которые помогли мне в этом.

Секретарь заочного отделения истфака Ирина Новомировна Волкова подозрительно смотрела на «блатного» студента, который сдает по 2–3 экзамена в день. Но после сдачи экзамена по краеведению неумолимому Филатову ее подозрения, кажется, отпали.

Самым трудным предметом для меня оказалась логика.

К щепетильному преподавателю логики В.Н. Перепелицыну, своему коллеге, Зара Михайловна съездила домой, объяснила ситуацию, напомнила, что надо исправлять ошибки прошлого.

– Хорошо, пусть этот студент приезжает завтра на кафедру к 12 часам.

На следующий день он экзаменовал меня по всему курсу, без билетов, по темам от начала до конца. На последней части я запнулся и честно признался, что ее проштудировать не успел.

– Ну что ж. Знаете, больше четверки я вам поставить не могу.

– Больше и не надо!

– А знаком ли вам кто-нибудь из современных российских философов?

– К сожалению, я знаю только Зиновьева, автора «Зияющих высот».

Экзаменатор улыбнулся:

– Это мой учитель.

Учиться на 5-м и 6-м курсах для меня было нетрудно. Большая часть начитываемого нам материала мне была хорошо знакома. Это видели и преподаватели, часть из которых была гораздо моложе меня. Случалось, что на практических занятиях преподаватель отлучался. «Я отойду, а Помазов вам объяснит тему». Морозов, читавший нам новейшую историю, на экзамене посадил меня за соседний стол, чтобы я принимал ответы своих сокурсников. Конечно, это было для меня неловко.

Наблюдая «бархатные революции» в соцстранах, я пугал наших лекторов прогнозом о распаде СЭВ и Варшавского договора и отделением от Союза большей части республик. Часть прогнозов сбылась еще во время моей учебы, другая часть – через полгода после окончания истфака.

Проблемой оказались две зимние сессии. В январе 1990 года я был зарегистрированным кандидатом на выборах на Съезд народных депутатов РСФСР, в разгаре была избирательная гонка. Все четыре экзамена я сдал досрочно и на отлично, уложившись в две недели.

А в зимнюю сессию 1991 года я уже был редактором «Совета», вышел только первый номер, сотрудников было всего пять человек, проблем куча. Опять пришлось договариваться о досрочной сдаче нескольких экзаменов.

На написание диплома времени совсем не было. Большую часть его я скроил за майские праздники. Тема – «Эволюция взглядов П.Я. Чаадаева на Россию». Стыдно было, что халтурю. Но научный руководитель А.П. Лиленкова, возвращая мне прочитанную работу, благоговейно сказала, что по глубине и литературному изложению она таких дипломных работ не встречала. Оказалось, что специалистов по Чаадаеву на факультете нет. Научный оппонент В.П. Макарихин доверительно сказал мне только: «Согласись, Виталий, что все-таки Чаадаев больной был человек». Зато технарь Альберт Равдин, друг семейства Мокровых, и Феликс Красавин, зэк сталинских времен, оказались вполне в теме и набросали мне кучу вопросов.

Защита состоялась 11 июня, а вручение дипломов 28-го. Стояла жара. Мы все стояли, обливаясь потом. При вручении произошла небольшая заминка. «Сегодня у нас необычный случай. Один из двух красных дипломов получает человек, который впервые поступил на истфак в 1965 году». Я помахал красной корочкой: «Смотрите, друзья, это мой четвертной, 25-летний срок!»

В один из этих дней я столкнулся в коридоре с деканом Олегом Колобовым.

– Ну, что, Помазов, хочешь остаться на факультете? Возьму на любую кафедру!

– Нет, не могу бросить свою газету.

– Зря! Через год–два напишешь кандидатскую, а там, глядишь, со временем и докторскую.

– Поздно. Я уже впрягся в другую работу и, надеюсь, надолго.

*А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?*

В октябре я получил ведомственное жилье – однокомнатную квартиру. Первую в жизни – свою, поскольку после развода несколько лет мыкался без определенного пристанища. В «Теплосети» и ПТО ГХ проблем с жильем для сотрудников не было никогда. Получая свои 12% от строящегося жилья, организация легко удовлетворяла все потребности в нем. Многие мои сослуживцы по несколько раз улучшали свои жилищные условия, получая трехкомнатные квартиры и квартиры на двух уровнях. Мои же заявления возвращали: «нет возможности».

Но после скандальной избирательной кампании весны 1989-го ситуация переломилась. 19 апреля состоялась встреча горком – «Мемориал», вот так нас зауважали! «Мемориал» получил официальную регистрацию, печать. К организации присоединились совершенно новые люди: Марина Федоровна Кузина, Саша Половцев, Женя Суворова, Таня Волкова и другие. Одно из заседаний «Мемориала» засняла телевизионная группа Александры Ливанской, главного редактора очень популярной тогда передачи «В городе N». А профком «Теплосети» и профком ПТО ГХ под председательством Александры Марченко, вопреки противодействию директоров Шавырина и Кольцова выбрали мне жилье.

Кроме стола на кухне, раскладушки и нескольких списанных стульев в квартире поначалу ничего не было. Начались новоселья. Приходили одни сотрудники «Теплосети», потом другие, мемориальцы, оппозиционные корреспонденты «Коммуниста», из Протвино приезжали Миша Горловой и Володя Пантелеев с Наташей и дочерью Инной, из Пущина – Лариса Осьмина и Лев Козлович... Сидели на досках, положенных на стулья. Дарили посуду и кухонную утварь. Я сосчитал – за три недели прошло 8½ приемов (½ – это когда гостей было только двое).

Вся эта веселая вакханалия длилась до середины ноября, когда началась избирательная кампания по выборам депутатов местных советов и депутата от Серпухова и Пущино на Съезд народных депутатов РСФСР.

7 декабря под давлением рядовых сотрудников состоялась конференция коллектива «Теплосети». 50 голосами «за» и при 7 «против» меня выдвинули кандидатом, но Окружная

избирательная комиссия опять не признала это решение, т.к. «Теплосеть» – де только часть ПТО ГХ. Выдвижение от «Мемориала» тоже не устраивало комиссию.

«Военные действия» были перенесены в Пущино. С февраля 1989-го там начала выходить газета «Биоцентр» под редакторством Ларисы Осьминой, члена «Мемориала» и инициативной группы. В ней я опубликовал свою программу «Путем свободы и национального возрождения – к достойной и нравственной жизни, к экономическому благосостоянию». Сторонники Е.Л. Головлева организовали Пущинский народный фронт. Лева Козлович, влюбленный в меня, как в свое собственное произведение, провел по пяти пущинским институтам (все они были тогда в блестящем виде): «Если верите мне, поддержите Помазова!» Популярность Козловича в Пущино была огромная, а разговаривать с пущинскими учеными было легко и интересно. Другой прошлогодний кандидат Ольга Белецкая устроила встречу с рабочими.

14 декабря неожиданно умер А.Д. Сахаров. Волна запоздалого признания и благодарности совпала с моим выдвижением в Пущино. Тем более, что я выступал как соратник Сахарова, получил письмо поддержки от руководителя «Демократической партии» Травкина. (Последний раз я видел А.Д. Сахарова за несколько месяцев до его смерти. Вместе с Эми Ботвинник мы заходили по какому-то поручению, беседовали около получаса, в частности, о литературе и его пребывании в Горьком.)

С 18 по 26 декабря все пять институтов выдвинули меня кандидатом. При этом на пяти конференциях только три человека проголосовали против.

У меня были опасения, что и эти протоколы по каким-нибудь формальным причинам комиссия завернет. «У меня не завернут!» – заявила Белецкая.

Участие в выборах было обеспечено. Но психологически важно было добиться победы в «родной» организации – ПТО ГХ, в которую помимо «Теплосети» входили еще три структуры, и голоса «Теплосети» составляли только третью часть.

Под нажимом горкома администрация ПТО выдвинула в противовес мне своего человека – начальника производственной службы Н.Е. Крюкова и не сомневалась в его победе. Но выступившая в пику Кольцову «Электросеть» спутала эти планы. Результат голосования конференции – 73 голоса за меня, 38 – за Крюкова. (Никита Крюков, типичный карьерист, не пропал: он попал и в областные депутаты, и стал зам. председателя исполкома, и завершил депутатскую карьеру, получив квартиру в

Красногорске, т.е. практически в Москве.)

Но горком ждало другое потрясение. В редакцию «Коммуниста», где, к неудовольствию Корнеева, часто тусовались мемориальцы, пришла делегация из рабочих и ИТРовцев с военного завода «Металлист» и предложила мне 2 января принять участие в конференции своего предприятия.

И вот меня проводят через кордоны охраны в «святая святых» серпуховских коммунистов – на «Металлист». Там, в старинном зале бывшей городской управы, собрались делегаты от 12 тысяч работников завода. Были выдвинуты кандидатуры партсекретаря завода С.И. Набоки, еще четырех работников завода, а также генерал-полковника С.Г. Кочемасова (в это время он – начальник Главного штаба, первый заместитель главкома РВСН) и моя. Всех кандидатов заслушали, задали вопросы. Несмотря на подметные листовки и провокационные вопросы Савельевой, правой руки Корнеева, при тайном голосовании я получаю абсолютное большинство голосов!

По большевикам прошло рыдание! Горком охватила настоящая паника. Было решено: все средства хороши, лишь бы Помазов не прошел. Была дана команда поливать в газетах и на радио, печатать типографским способом обличительные листовки. «Уголовник рвется к власти!» Когда я затребовал из КГБ справку о статье, по которой я сидел, мне ответили: «А у нас ничего на вас нет!» Зато начальник городского отдела КГБ Сироткин удостоил двухчасовой беседы, придя ко мне в один из кабинетов газеты, пытаясь, видимо, понять, что можно ожидать от меня.

9 января Окружная комиссия регистрирует меня кандидатом по 95-му округу. Доверенные лица – Леонова, Шилкин, Чернова, Козлович.

Сценарий прошлого года горкомом меняется: выдвигаются пять кандидатов-коммунистов, с целью собрать в первом туре весь спектр голосов избирателей. Это городской прокурор Л.П. Писарев, директор завода «X Октябрь» Б.В. Касминин, генерал-полковник С.Г. Кочемасов, передовая ткачиха Т.Д. Чередилина и директор бумажной фабрики Ю.Г. Гехт. Козырная карта – Юрий Гехт: и фабрика-то процветает, и детский сад при ней бесплатный, и по цветку каждому ветерану фабрики на 23 февраля подарил.

Выступления в ДК «Россия» и им. Ленина определили расстановку сил и тактику: на каждое собрание будет приходить группа истеричных женщин и задавать мне вопросы про уголовное прошлое, брошенных детей и вопить «А что он сделал для города!» Нормальных людей оттирали засланные казачки с

однотипными, и часто одним почерком написанными, записками.

Записок и устных вопросов я не боялся. Наоборот, это всегда была лучшая часть выступлений. О, это замечательное чувство, когда тебя несет вдохновение! Тебе только еще начали задавать вопрос, а ты уже знаешь, как на него ответить.

На многие предприятия в Серпухове и в воинские части меня и моих доверенных лиц просто не пустили, а на других начальство «не могло собрать коллектив». Гехт типографским способом выпустил 60 тысяч листовок. На радиотехническом заводе тиражом 600 экземпляров была отпечатана анонимная листовка (заказ подписан директором завода), которая заканчивалась предостережением: «Если вы, избиратели, хотите пролития крови, – выбирайте Помазова». Военное училище обязали голосовать за генерала. Две недели в январе я был на зимней сессии в Горьком.

Моя инициативная группа выросла до сорока человек. Пущинцы высаживали свои десанты в Серпухове. Лев Козлович бегал с мегафоном по городскому рынку, призывая серпуховичей голосовать за Помазова. На вокзальной площади стояли с плакатами Саша Ильин и Дима Леоненко. Коля Дубинкин, повесив плакаты на грудь и на спину, прошел по всему городу – от Красного текстильщика до здания исполкома. Альберт Щенников написал сотни плакатов. Содержание их менялось, варьируясь по обстановке. От «Каждый голос за Помазова – шаг к возрождению России!» до «Голосуйте за блок беспартийных и коммунистов!»

Наши листовки по ночам срывают. Дубинкина при расклейке листовок задерживает милиция. Он пишет о незаконном задержании короткую заметку и, замещая ответственного секретаря, вставляет ее в номер. Его увольняют с работы.

4 февраля на стадионе «Труд» проходит трехтысячный митинг, организованный Серпуховским «Мемориалом» и Пущинским народным фронтом.

В принятой резолюции заявляется:

1. Требуем прекратить дискредитацию членов общества «Мемориал», обеспечить им законное право общественной деятельности и возможность выступать на страницах газеты «Коммунист».

2. Требуем восстановить на работе в газете «Коммунист» журналиста Н.П. Дубинкина.

3. За факты зажима критики, одностороннюю подборку публикуемого материала, необъективность в описании событий требуем отставки редактора газеты «Коммунист» В.В. Корнеева.

4. Призываем коммунистов Серпуховского района выразить недоверие первому секретарю ГК КПСС А.А. Волкову за административно-командный стиль работы.

5. Призываем коммунистов района добиться прямых альтернативных выборов членов ГК КПСС и его первого секретаря, а также обеспечить прямые альтернативные выборы делегатов 28 съезда КПСС.

6. Требуем демонтировать бюст Гришина перед зданием ГК КПСС.

7. Требуем исключить 6-ю статью из Конституции СССР.

В эти же дни мы знакомимся с Владимиром Петровичем Лукиным (нынешним омбудсменом), который баллотируется по большому национально-территориальному округу, включающему и Серпухов. У нас с ним оказываются общие друзья, в том числе Юлий Ким, и общая любовь к стихам. Его помощник, сверхэнергичный Олег Безниско – первый настоящий пиарщик, которого я вижу в жизни.

4 марта проходит первый тур выборов. Гехт набирает 22 тысячи голосов, у меня 21,5, у Касмина – 19 и совсем мало у Чередилиной, Кочемасова и Писарева.

Выбывшие кандидаты призывают голосовать во втором туре за Гехта. Но, судя по опросам и настроению избирателей, Гехт во втором туре проигрывает. Поэтому начинается новый виток дискредитации неугодного властям кандидата. Страсти накаляются до того, что даже в автобусах происходят стычки сторонников двух кандидатов.

В самый последний момент пущинцы привозят типографские листовки в мою поддержку. Параллельно набирают добровольцев, чтобы на каждом участке был хотя бы один наблюдатель. Наступает суббота 17 марта, последний день перед выборами. С утра у меня две встречи, после обеда встреча с афганцами. Я забегаю перекусить домой. После обеда за мной заезжает Елена Леонова, на ней лица нет: – Ты слышал передачу местного радио?! – У меня же нет радиоточки. – Тебя сейчас так полили грязью, что уже ничего невозможно исправить!

Оказывается, в 15:30 Серпуховское радио передало в записи выступление ткачихи Чередилиной (Как позднее узналось, написано оно было журналистами «Коммуниста» Ниной Савельевой и Флорой Хабибулиной.) Та клеветала, что распускалась по всему городу устно, исподволь, тут выплеснулась в эфир. Радиоточек в городе свыше 30 тысяч, время самое подходящее (у Серпуховского радио в эти часы в субботу вообще нет эфирного времени). Удар ниже пояса, и ответить уже нет возможности. «Это

конец», – говорит Леонова.

Выступление Т.Д. Чередилиной по Серпуховскому радио

17 марта 1990 г., в 15:30, запись радиослушателей

Я сразу же хочу сообщить радиослушателям, что выступаю по собственной инициативе. Я пришла на радио сама, никто меня об этом не просил. Мне было нелегко добиться этого выступления.

Придя, я прежде всего спросила: почему вы не даете на радио слово Помазову? Там сделали круглые глаза. Как? Он выступил, транслировалась его речь.

Товарищи! Пройдите по грязным от листовок улицам нашего города. Это листовки группы поддержки Помазова. В них льют откровенную грязь на кандидатов, оскорбляют такого заслуженного человека, как Ю.Г. Гехт (...)

А что может этот Помазов? Кто он, собственно, есть? Он не занимается своими детьми, а уж о наших и вовсе заботиться не будет. Это человек с неснятой судимостью. За что он сидел – неизвестно. Как мы вообще могли допустить, что в кандидаты баллотируется человек, имеющий судимость, человек, у которого нет лебритации (реабилитации – В.П.)!

Помазов говорит как о преимуществе, что он лишь недавно получил квартиру. Как он ее вообще получил? Посмотрите в его трудовую книжку. Он сменил за последние 10 лет восемь мест работы, где это он успел заработать квартиру? Человек, который бегал с места на место, он не заслужил квартиру. У нас есть много людей, работающих по 20 и более лет и не имеющих жилья.

Женщины! Матери! Человек, который бросил детей, не воспитывает своих детей, не может быть депутатом! Он издевается над своими детьми! Они не узнают его по фотографиям. Товарищи, верьте мне! Я готова подписаться под каждым своим словом! Во дворце культуры им. Ленина на встречу с избирателями он привел чужих детей и выдавал их за своих! Он аморальный тип, товарищи!

С возмущением я прочитала обращение депутата Головлева в поддержку Помазова. Этими призывами заклеен весь город. Это что ж получается: Помазов

помогал Головлеву в его предвыборной кампании, а теперь Головлев помогает Помазову! Это ж круговая порука! И что это за депутат СССР, которого не печатают в (местной) газете. Может быть, есть смысл отозвать такого депутата?

Мне рассказывала одна женщина, что однажды она ехала в машине, и шофер ее спросил: за кого она будет голосовать? Та откровенно ответила, что за Чередилину, и в ответ услышала: «Да что эта колхозница может, за Помазова надо голосовать». Это что получается, что колхозники ничего не могут? Это так оскорблять сельских тружеников! (...) Вы посмотрите, кто агитирует голосовать за Помазова... Расклеивают листовки по ночам, как воры. Я, со своей стороны, предлагаю, товарищи, голосовать только за Ю.Г. Гехта!

Но надо ехать выступать перед афганцами. Телеоператор Гехта хочет снимать мое выступление. Опасаясь еще какой-нибудь подлянки, я требую не снимать. И произношу монолог, «облитый горечью и злостью». Елена Леонова: «Виталий, это было самое лучшее твое выступление!»

В день выборов наш штаб в тогда еще большой трехкомнатной квартире Леоновой. Вечером со всех сторон собираются сведения. Военное училище после провала генерала потеряло интерес к выборам, курсанты голосуют свободно. На РТЗ на большинстве участков победу одержал я, ко мне подбегает и обнимает радостный Вячеслав Александрович Шестун (отец). В Пушкино у нашей команды 80% голосов. Но на Красном текстильщике и в центре города побеждает Гехт.

Окончательный результат: 31 тысяча голосов за меня, 32,5 – за Гехта.

Я переживал поражение очень тяжело. От одного воспоминания у меня несколько месяцев кололо в груди. Ведь победы я хотел не для себя лично. В первую очередь я хотел таким путем добиться общественной реабилитации целого класса людей, которых долгие годы клеймили, шельмовали, преследовали, делали изгоями общества. Если этого не удалось добиться в Серпухове, то же самое происходит и по всей стране. И, предчувствие, – будет происходить в будущем.

Мои сторонники не верили в честную победу Гехта. Отовсюду шли сообщения о нарушениях при голосовании. Ко мне подходили студентки педучилища, брать автограф (!): «Мы все голосовали за вас». Мать Альберта Щенникова, Полина

Михайловна, возмущалась: «У нас вся улица, я спрашивала, голосовала за тебя, Виталий, а победил какой-то Хек!»

У меня набралась целая папка заявлений о нарушениях, протестов, коллективных и частных писем. Я тоже написал заявления во ВЦИК, в Прокуратуру РСФСР. Папку эту я передал в Москве Сергею Адамовичу Ковалеву для передачи в мандатную комиссию Съезда, во главе с некой дамой с необычной фамилией Журавель. Вместе с Ковалевым я попал в Белый дом, на какое-то предварительное заседание депутатов. Здесь я впервые увидел выступающего Немцова, кудрявого, в коротковатых брюках. Моя папка, как и протесты других кандидатов, исчезла в недрах мандатной комиссии. Ковалев утешал меня: «Может, все к лучшему. Смотри, какой состав Съезда – партхозактив. Гораздо хуже Союзного. Посмотрим, какой они выберут Верховный Совет».

На Чередилину я подал в суд за клевету и уехал в отпуск в Горький – уже Нижний Новгород.

Там я получил бумагу из серпуховской прокуратуры. Состав преступления в выступлении Чередилиной прокуратура не нашла, так как она просто «высказала свое личное мнение».

Года два спустя, в 92-м, бывший секретарь горисполкома Любовь Васильевна Масленкова, командовавшая в это время приватизацией, пожаловалась одной исполкомовской даме: сукин сын Гехт, мы его сделали депутатом, добрали ему 5 тысяч голосов, а он...

Но ничто не проходит напрасно. Не будь этих выборов, не было бы 20-летней истории «Совета», во всяком случае, именно такой истории, как она состоялась.

НАЧАЛО «СОВЕТА»

*О если б знать, что так бывает,
Когда пускался на дебют...*

До 1990 года в Серпухове была одна городская газета (не считая заводских многотиражек). Называлась она, естественно, «Коммунист», стоила 2 копейки и распространялась огромным тиражом в 38 тысяч экземпляров. Дыхание перестройки никак не коснулось ее, горком партии определял всю политику газеты, а редактором ее был бывший инструктор горкома В. Корнеев.

Во время избирательной кампании и после нее как мы мечтали о своей газете! Пытались выпускать бюллетень на какой-то сейчас уже забытой технике. Специально на перекладных я и Виктор Сукач, участник инициативной группы, ездили в Ногинск, где закрыли демократическую газету: просить ее сотрудников поделиться опытом, как и с чего начинать. Леонова, Дубинкин и другие сотрудники «Коммуниста» конфликтовали со своим редактором и горкомом. Разбираться приезжал из Пущина Е.Л. Головлев и из Москвы Павел Гутионтов (сейчас он крупный деятель в Союзе журналистов). Ребята мечтали уйти в независимую газету. Но куда?

И вот, после первых альтернативных выборов весной 90-го три совета депутатов Серпухова, Пущино и Протвино решили издавать свою газету. Советы этого периода были многочисленными: один депутат от двух-трех домов. В совете Серпухова было около 200 депутатов, большинство – ортодоксальные коммунисты. В советах научных центров преобладали демократы, хотя многие из них были с партийными билетами. Мемориальцы и другие мои сторонники баллотировались в местные советы и многие прошли в них: Леонова, Чернова, Шилкин и другие.

На должность редактора новой газеты, получившей название «Совет», был объявлен официальный конкурс. Кандидат должен был иметь соответствующее образование, пройти три депутатские комиссии по гласности и СМИ, – в них везде были наши сторонники – пройти конкурс и быть утверждены городскими советами.

В конце августа Елена Леонова и Ирина Чернова, каждая по отдельности, предложили мне баллотироваться на должность редактора. Мотивировалось это тем, что во время выборов за меня проголосовала половина жителей Серпухова и Пущино, есть

имя, опыт руководства, готовая программа и группа поддержки. Деликатный момент заключался в том, что каждая из них категорически не стала бы работать под началом другой. А мое восстановление в университете вдруг приобретало практический смысл! Шестой курс истфака – образование достаточное для конкурса.

– Попробовать можно, но вряд ли серпуховский совет утвердит мою кандидатуру.

Начали работать. Комиссии по гласности трех городов поддержали меня безоговорочно. В конкурсе кроме меня участвовали корреспондент «Коммуниста» Валентина Семьянцева и парень, приехавший из Средней Азии. Но ни программы, ни команды у них не было, они затруднялись сказать, с кем и какую газету они хотят делать.

Результаты конкурса утвердил Малый совет Серпухова и передал решение на усмотрение трех городских советов.

Утверждение в Протвино и Пущино прошло на ура. Председатель протвинского совета Юра Ильин представлял меня как именинника, в Пущино депутаты Лев Козлович и Владимир Дынник тоже говорили обо мне в восторженных тонах. Впереди было заседание Серпуховского совета, большинство депутатов в котором были моими противниками во время избирательной кампании. Но коммунисты перехитрили самих себя. В последний момент, прямо на заседании совета они выдвинули свою кандидатуру – редактора радиовещания В. Приходько.

– Это нечестно! – вскричали демократы, – был общий конкурс для всех! Приходько мог участвовать на общих основаниях.

– Ничего, ничего – отвечали коммунисты, – пусть будет еще один альтернативный кандидат.

Это их и сгубило. Приходько, выйдя за трибуну, не смог сказать ничего внятного. Он экал, мекал и совсем увял при ответах на вопросы. Я изложил свою программу, представил команду, легко ответил на вопросы. Разница в выступлениях была очевидной.

Поднялся один из депутатов и сказал: «Я не хотел голосовать за Помазова, но, прослушав оба выступления, вижу, что это – небо и земля, а Приходько просто опозорился». Началось голосование. Я отвернулся, чтобы не волноваться. Раздались аплодисменты. С преимуществом всего в несколько голосов депутаты проголосовали за меня.

15 октября в Москве, в областном Управлении издательств и полиграфии, в его подразделении Издательство «Районная газета» я получил приказ о назначении редактором газеты «Совет».

Советы выделили мизерный бюджет в 5 тысяч рублей для

начала деятельности. Нам дали большую комнату на втором этаже исполкома. Леонова и Дубинкин уволились в октябре из «Коммуниста», Чернова в ноябре оставила заводскую газету «Маяк». Сидели мы в холодном, неотапливаемом помещении, накинув пальто, и собирали материалы для пилотного номера. Из техники у нас была только пишущая машинка. Но работали с энтузиазмом и великими надеждами. В соседних комнатах распределяли бесплатную помощь из ФРГ. Полки в магазинах были пусты. Все, вплоть до водки, выделялось по талонам. Но мы верили в перемены и надеялись, что наша газета тоже будет им способствовать.

В отличие от «Коммуниста» решили сделать шестиколонник на 6 страниц. Фотографии дали Валерий Карпов и несколько любителей. Макетировали этот номер на макетном столе в пущинском «Биоцентре» у Ларисы Осьминой.

Возникла еще одна серьезная проблема. Подольская типография, где печатались все газеты региона, в том числе «Коммунист» и «Биоцентр», отказывалась принимать новую газету, ссылаясь на загруженность. Это позднее типографии стали наперебой предлагать свои услуги и переманивать газеты.

Надо было грубо дать взятку натурой, бартером, «сделать подарок коллективу», как намекал директор типографии Г.И. Саамов. От горсовета мы взяли бумагу на «Металлист», который наряду с оборонкой выпускал гражданскую продукцию, с просьбой выделить для нужд газеты 12 пылесосов. Они были получены и отвезены в Подольск, нас «взяли», и на 23 ноября был намечен выпуск пилотного номера.

23 ноября я приехал забирать газету, а номер не отпечатан! Недалеко было до сердечного приступа. «У вашей газеты нет своей бумаги», – говорит Саамов. Оказывается, газеты сами достают бумагу! На годы это стало проблемой. По телефону стал договариваться с Ларисой Осьминой, чтобы номер отпечатали на бумаге «Биоцентра». Наконец 25-го номер был отпечатан, и десяти тысячный тираж развезен по киоскам. Были расклеены афиши о подписке на новую газету.

К концу декабря подписка составила 4 тысячи. Нам казалось, это немного, мы не знали, что через год тиражи всех газет начнут резко падать, и удержать даже 4 тысячи подписчиков будет непросто. Общий тираж – 6 тысяч. А как распространять? Наш конкурент Корнеев, в прошлом инструктор горкома, а потом руководитель «Союзпечати», настраивал ее руководителей и киоскеров не брать «дрянную газетенку».

Сделали первый январский номер – а мне опять надо ехать в Горький, сдавать зимнюю сессию. А тут еще события в Вильнюсе –

захват телестудии бойцами «Альфа»!

По выходе нескольких номеров коммунисты собирают подписи под депутатским запросом за закрытие нашей газеты. Повод совершенно невинный: на рисунке Ю.В. Беспалова (талантливый историк, карикатурист и фотограф, он с первых дней сотрудничал с «Советом») обнаженный мужчина закрывается плакатом с президентским указом. Порнография!

Потом пошли бесчисленные «наезды» на газету из-за содержания статей. За публикацию армейского детектива чуть не уволили из военного училища нашего внештатного автора Николая Казакова. До августа 91-го наша газета, по сути, была оппозиционной как центральным, так и городским властям.

В начале года нас переместили на первый этаж, выделив пять кабинетов «Коммуниста». Появились машинистка, бухгалтер, корректоры Раиса Ремизова и Наташа Самутина (они работали в Подольске) и фотограф Матвей Федотов. Ирина Чернова специализировалась на больших материалах о работе совета, Елена Леонова бралась за все остальные темы, ответственный секретарь Коля Дубинкин, помимо макетирования номера, придумывал рисунки, коллажи и подписи под них.

В марте прошел референдум о сохранении Союза. На площади Ленина выступали Гехт, приехавший из Москвы Лукин, мемориальцы. Было холодно, за время долгого митинга все намерзлись, и как-то так получилось, что без всякой договоренности все «наши» собрались в редакции. Организовалось застолье. Попутно обсуждали проблемы газеты, строили планы, как привлечь новых читателей и распространителей газеты.

18 мая вышел «сахаровский» номер. Вкладыш был посвящен Андрею Дмитриевичу, на полном развороте напечатаны материалы самиздатской «Проталины» и мои воспоминания о поездке в Горький на юбилей Сахарова в 1981 году. Я в эти дни отвозил дипломную работу в Нижний Новгород (город уже переименовали) и как раз попал на открытие квартиры-музея Сахарова. Первым директором музея стал Сергей Пономарев. Мы с Ларисой Богораз присели на какой-то оградке, она курила свой неизменный «Беломор», мы вспоминали Тарусу, Толю Марченко. «Виталий, ты надеялся, что мы доживем до такого времени?» А 21 мая юбилей Андрея Дмитриевича отмечался в Московской консерватории. Среди публики присутствовал Горбачев, и все тянули шеи, смотря в его сторону. Как и все приглашенные, я получил памятную сахаровскую медаль.

Июль был полон событиями, как общероссийскими, так и городскими. Ельцин издал указ о департизации учреждений.

Коммунисты роптали. Республики требовали прав. В Ново-Огареве утрясали новый федеративный договор. Прибалты и грузины отказались принимать участие в этом процессе и заявляли о выходе из Союза. В августе текст нового Союзного соглашения был наконец согласован, на 19-е назначено его подписание. Горбачев (бездумно, как в свое время Никита Хрущев) уехал отдыхать в Форос.

А у меня предстояло важное личное событие – регистрация брака в Горьковской области с Ириной Чура, девушкой, с которой мы в 1989–91 годах, после моего восстановления в университете, учились на одном курсе. Регистрация была назначена на 21 августа, 18-го я уехал в Горький.

Утром 19 августа позвонила теща моего брата Евгения Ольга Семеновна: – Виталий, ты включал телевизор? – Нет, а что? – Да там, говорят, в Москве какой-то переворот.

Включаю телевизор. На экране военный с крупными звездами говорит о создании ГКЧП. (Возможность переворота постоянно обсуждалась в нашем кругу в 1988–90-е годы. Но вот летом 91-го казалось, что все утряслось, подготовлен новый Союзный договор...) К перевороту я отнесся серьезно. На примере Польши можно было представить, как это будет. Отключат связь. Несколько десятков тысяч интернируют в концлагеря. Несколько сотен могут расстрелять. Закроют все независимые газеты, Радио России и только что начавшее вещание российское телевидение. Конечно, через полгода-год все это закончится провалом, но залить кровь страну путчисты могут.

А на дворе – золотой день, Яблочный Спас, Преображение Господне. Сволочи, такой день испортили! Но, может, в Преображение у них ничего и не получится?

Беру телефон, набираю номер редакции в Серпухове. Связь работает! Первая приятная новость. Диктую Леоновой, что надо сделать: убрать детектив-вкладыш и ставить на это место статью против ГКЧПистов. Что писать, сама знаешь. Редакцию могут уже сегодня закрыть. Поэтому – забрать пишущие машинки домой, снять все деньги со счета в банке – могут заблокировать.

За спиной стоит вернувшаяся из магазина мать и плачет: – Виталий, что ты делаешь! Тебя опять посадят!

– Если они победят, меня и так посадят!

Разрываюсь – что делать? Поехал в редакции «Нижегородских новостей» и «Ленинской смены». У них самих нет информации. (На следующий день «Новости» напечатали воззвание Ельцина, «Смена» вышла с белой полосой.) На площади Минина присоединился к демонстрации в несколько сот человек. Во второй половине дня поехал к невесте в Кантаурово: – Ира,

смотри. События могут закончиться плохо. Меня могут посадить. Так что у тебя еще есть время передумать. – Я подумала. Твоя мама уже старая, чтобы носить передачи в тюрьму. Буду носить я.

На следующий день из Москвы пришли первые ободряющие вести. На горьковском телевидении Гера Молокин зачитал заявление против путчистов. Но поздно вечером появилась тревожная информация о первой пролитой у Белого дома крови, возможном штурме здания.

Когда на следующее утро мы с братом приехали на электричке в Кантаурово, нам с порога объявили: путч проваливается, путчисты летят в Форос на поклон Горбачеву. Я не верю – не может быть, чтобы так сказочно все закончилось. Пошли с Ирой в сельсовет. Поставили нужные печати. Возвращаемся – за столом царит ликование. Отец Иры, Орест Иванович, бывший административно-ссылный, куря дешевые сигареты и прихлебывая кофе, слушает на полной мощности «Радио Свобода»: «Наши победили, путчисты арестованы!» Все говорят, перебивая друг друга. На нас не обращают внимание. Ира, с обидой: «Вы хоть бы нас поздравили!»

На следующий день вечером я возвращался в Серпухов. Но до этого еще одна радость. В вечернем выпуске на РТР молодой диктор Владислав Флерковский рассказывает, кто как встретил путч. Так, в Серпухове депутат Гехт написал в газете «Коммунист» статью «Давно ждали». Типография отказалась ее набирать. В день провала путча сотрудники «Коммуниста» приехали в типографию, статью порвали и заменили другой. Но разорванный текст нашли, склеили и отвезли в Останкино.

Я ликую. Конечно, кто это мог сделать кроме советовцев!

Серпуховские коммунисты приняли путч с воодушевлением. Два дня у них на этаже шло празднование с песнями и плясками. А на третий день жгли архивы, выбрасывали какие-то документы в окна. Горкомовский этаж вместе с помещением редакции «Коммуниста» опечатали. В эти дни ни одна организация в городе не выступила с осуждением путча, кроме «Совета». Правда, машинистка Лена, человек со стороны, в день начала путча бросила на стол заявление об уходе: «Я с вами героически гибнуть не собираюсь!»

Тогда же выяснилось, что в городе нет ни одного российского флага. В редакции «Совета» такой флаг, изготовленный Альбертом Щенниковым, стоял с весны в редакторской комнате. И вот 21 августа наш фотограф Матвей Федотов и зам. председателя городского совета Александр Кулаков полезли на крышу исполкома и водрузили наш флаг.

Через несколько недель после путча в редакции появился

некий молодой человек из прокуратуры. «Мы проверяем все организации на предмет того, как они вели себя во время путча». «Милый, да это мы должны всех вас проверять, чем вы занимались! Городской прокурор Писарев, как сам он рассказывал друзьям, сидел на крыше собственной дачи и из-под руки наблюдал, как по Симферопольке движется военная техника к Москве. Он не прибежал в прокуратуру и не объявил всем, что речь идет о государственном перевороте!»

Конечно, и коммунисты, и Гехт (он с нами еще судился, отрицая свое авторство) отделались легким испугом. «Коммунист» быстро возродили под новым именем – «Серпуховские вести», Корнеев обрел прежний апломб, но все же для нашей газеты, как и для всей страны, начался новый период.

«ПО СОВЕСТИ ЛУЧУ...»

Сергей Николаев

С Виталием Помазовым мы познакомились в 1982 году. Я тогда уже жил в Подольске, однако по старой памяти часто ездил в Серпухов на занятия литературной студии, которой в ту пору руководил поэт и философ из Ростова-на-Дону Алексей Прийма (сын биографа М. Шолохова – Константина Приймы).

Там-то, в библиотеке Дворца культуры на Ногинке, которую сейчас превратили в казино, и встретился я впервые с Виталием. Встретился и сразу же выделил его из других членов литобъединения, потому что нельзя было не выделить человека, говорившего хоть и мягким, спокойным голосом, но столь убедительно, ярко и интересно, что, когда он переставал говорить, все подолгу молчали в надежде, что еще что-нибудь скажет.

«Архивный юноша... – так окрестил я его для себя вначале. – Говорун... Интересно, способен ли он на что-нибудь еще, кроме красивых слов?»

Каково же было мое изумление, когда вскоре узнал я, что за свое социологическое исследование «Государство и социализм» Виталий был изгнан с историко-филологического факультета Горьковского (Нижегородского) университета, а после службы в стройбате приговорен к 4 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 70 УК РСФСР – «Антисоветская пропаганда и агитация».

Да, он оказался способен на большее, чем я ожидал, – он оказался способен за свои убеждения тянуть срок в уголовном лагере, он оказался способен не отказываться от своих слов и стоять за них до конца. А это в любом случае – согласен я или нет со смыслом его речей – вызывает уважение.

Власти не любят правдоискателей. Невзлюбила Виталия так называемая «советская власть». Только в 1992 году он был реабилитирован, только в 1989 году был восстановлен в университете и закончил его, только с 1990-го после многолетних мытарств (побывал он и инженером, и грузчиком, и газооператором, и слесарем) стал В.Помазов главным редактором региональной газеты «Совет» в г. Серпухове.

Но и с так называемой «демократической властью» отношения у Виталия не отличаются теплотой. Независимо от названия власти В. Помазова, прежде всего, волнует присутствие

совести в ней. А совесть – это ведь, как известно, глас Божий. Если глас Божий становится неразличим в делах власти, Виталий считает своими долгом напомнить ей об этом.

Стихи Виталия сродни его жизни. По-иному было бы невозможно. Главное их свойство – совестливость. Главная духовная основа – христианство. Увиденный через призму Веры мир перестает быть обыденным и привычным. Свет Вифлеемской звезды наполняет его Духом Божиим. Такой мир изумительно мудр и красив. В объяснении людям мудрости и красоты осененного Божьим светом мира и состоит суть поэзии Помазова.

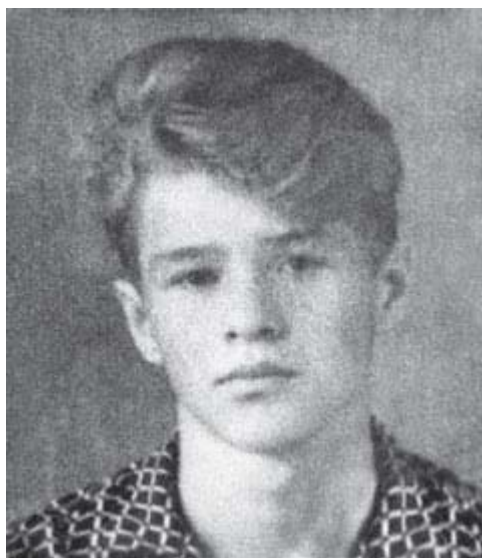
ФОТОГРАФИИ



Здание историко-филологического факультета Горьковского госуниверситета



Профессор В.Н. Борухович



В. Помазов. Фотография со студенческого билета, 1965 год



Выпускники исторического отделения ГГУ, 1969 год



Профессор В.В. Пугачев



Рядовой стройбата. Болшево, 1969 год



Вход в здание исторического факультета



Здание Горьковского областного суда



Здание КГБ-ФСБ в Горьком (Нижнем Новгороде) на ул. Воробьева (Малой Покровской)



Последние месяцы службы. Алма-Ата, 1970 год



Горьковская следственно-пересыльная тюрьма (СИЗО № 1)

"УТВЕРЖДАЮ"

30.11 ПРОКУРОР ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ III КЛАССА

(подпись)
(СЕРГЕЕВ)

"31" сентября 1970г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 34 по обвинению ПОМАЗОВА В.В.
в преступлениях, предусмотренных ст.70 ч.1 УК РСФСР

22 октября 1970г. по выделенным из другого уголовного дела № 30 материалам об изготовлении, размножении и распространении ПОМАЗОВЫМ В.В. антисоветской работы, озаглавленной им "Государство и социализм", было возбуждено настоящее уголовное дело.

(том I л.д. I, том 2 л.д. I)

Предварительным расследованием, проведенным по делу, установлено:

ПОМАЗОВ В.В. во время обучения на третьем курсе историко-филологического факультета Горьковского государственного университета в конце 1967г. - начале 1968г. систематически знакомился с неофициально распространяемой литературой т.н. "самиздата" в том числе а также, как "Письмо 24-х школьников", "Криси режима", "Обращение к мировой общественности", "К деятелям науки, искусства и литературы" и другими, содержащими клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, и сам занимался распространением этой литературы, за что был исключен из членов ВЛКСМ и отчислен из университета.

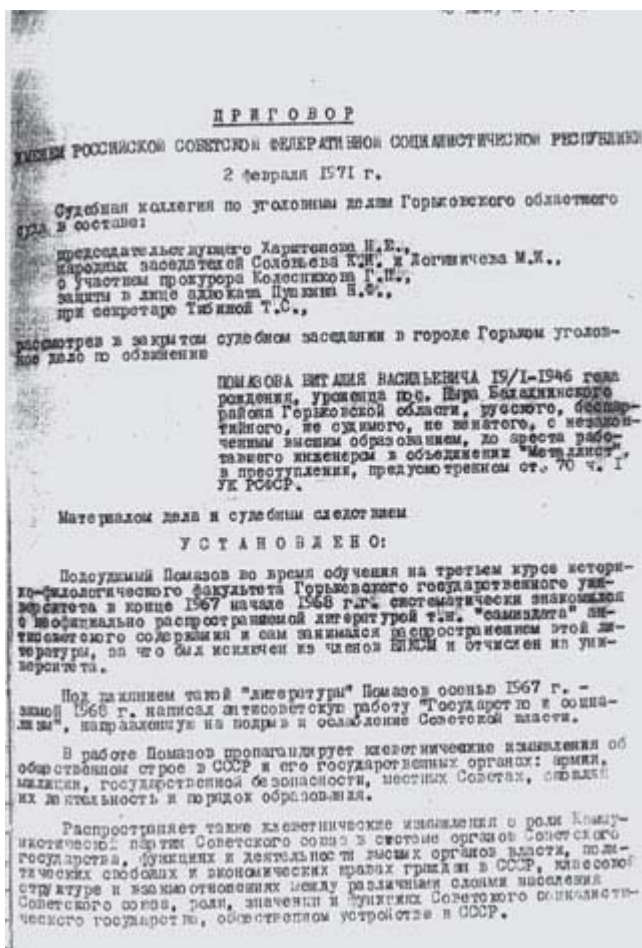
(т. I л.д. II5 об-II6, том 2 л.д. II2-II4, 140 об.).

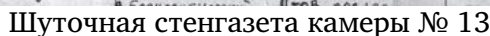
В результате ознакомления с такой "литературой", располагая свободным временем, т.е. занимался по индивидуальному плану и пользовался правом свободного посещения лекций, он осенью 1967г. самостоятельно приступил к разработке "теоретических проблем",

Обвинительное заключение по делу № 34, лист 1-й



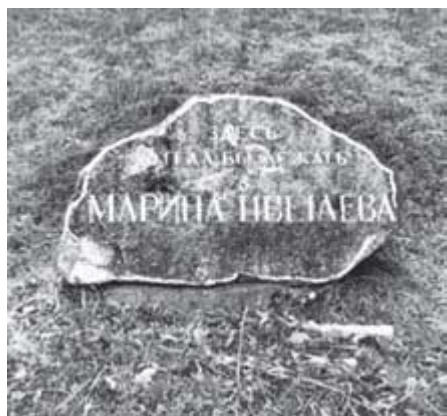
Штрафной барак лагерной зоны







Анатолий Марченко, 1968 год



Кенотаф Марины Цветаевой в Тарусе

Инспектор суд. Вн. з. 3/6-727
Выдан папорт серии XXI № 69+54
сост. 6/12 1972 г. Формы Б-117
МИНИСТЕРСТВО Службы Внутренних Дел
ВНУТРЕННИХ ГОР. ГОРЬКОГО

Горьковская обл.
г. Горький

СПРАВКА № 020560

22. апреля 1972 г.

Выдана гражданину(не) Полтазову
Виктору Васильевичу
Дата рождения 19 января 1946 года
уроженцу(не) пос. Гира,
Горьковского р-на, Горьковской обл.
национальность русский
семейное положение —
(если состоит в браке)

указать, какому органом ЗАГС, когда и с кем
(фамилия, имя, отчество, год рождения) зарегистрирован брак)

отношение к военной службе военнообязанный
осужденному(ой) 2/11-1971. Горьковские
областные по в.с. 190-1 Укр. рефер
по в.с. 1-го 5-го 6-го 7-го
месяцев лишения

имеющему(ей) в прошлом судимости —

в том, что он(а) отбывал(а) наказание в местах лишения свободы
с 5 октября 1970 г. по 22 апреля 1972 г.
откуда освобожден(а) по
истечении срока наказания



Начальник учреждения
Григорьев
(подпись)

Начальник отдела
(подпись)
Власов

Справка об освобождении по окончании лагерного срока,
1972 год



Семья Павленковых: Виктор, Светлана, Владлен, 1976 год



Художник Юрий Титов со своими работами, 1963 год



Александр Гинзбург, 1975 год



Генерал Петр Григоренко и Иван Яхимович перед зданием
посольства Чехословакии, 1968 год



Петр Якир и Виктор Красин, 1970 год



Первые дни после возвращения из заключения, 1972 год



Валерий Буйдин, Ида Вершинина, Евгений Купчинов, 1972
год



Михаил Панкратов и Елена Семека, 1972 год



Владимир Жильцов и Сергей Пономарев, июнь 1974 года



Надежда Андреева (в замужестве Жильцова), 1970 год



Николай Иванов и Владлен Павленков, 1976 год



Николай Лепехин, 1973 год



Юзеф Сигал, 1974 год



День рождения Светланы Павленковой. Слева направо: Марк Ковнер, Ирина Павленкова, Вадим Цветков, Светлана Павленкова,

Наталья и Ирина Елизаровы, 1978 год



В. Помазов среди работников «Серпуховской Теплосети»,
1978 год



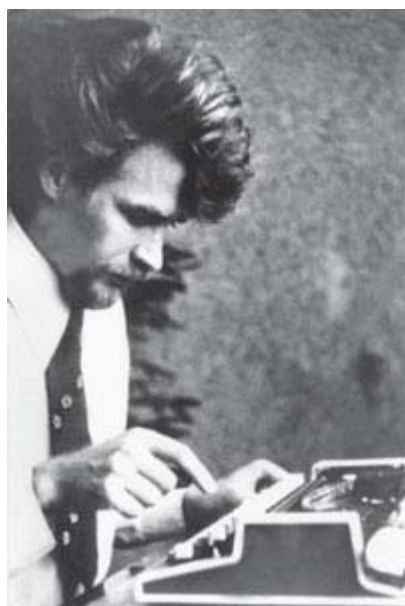
Нозми Ботвинник, 1980-е годы



Александр Солженицын, художник Юрий Титов, протоиерей
Александр Мень, 1970 год



Авторы альманаха «Проталина». Слева направо: Михаил Гололобов, Николай Дубинкин, Валерий Выскуб, Виталий Помазов, Альберт Щенников, 1980 год



«Эрика» берет четыре копии...» В. Помазов печатает альманах



Сергей Шибает, 1984 год



Священник Михаил Капранов, профессор Владимир Пугачев, историк Александр Романов. Саратов, 1990-е годы



Наталья Макарова, 1970 год



Татьяна Батаева и Евгений Купчинов, 1987 год



Игорь Павленков, 1982 год



Старая автостанция в Тарусе



Митинг «Мемориала» в Москве на Водном стадионе 25 июня 1987 года

Сахаровский сборник



Москва «Книга» 1991

Сахаровский сборник. Издание 1991 года



Митинг «Мемориала» на Водном стадионе. Выступает А.Д. Сахаров



Евгений Головлев, 1989 год



71. (left) Mikhail Kapustin, one of the four imprisoned Gorky students (see pages 12-4 and pp. 399 ff.).



72. (right) Vladimir Zolotarev.



69. (left) Alexander Yermakov, Moscow politician and legal expert, 1966 (see pp. 81 ff and 398 ff.).

70. (right) Vladimir Pashchenko, history lecturer from Gorky (see pp. 389 ff.).



73. (left) Vitaly Ponomarev.

74. (right) Sergei Ponomarev.



75. (left) The late Dr. Fritz Mendels (1889-1971), Latvian social democrat from Riga (see p. 404).



76. (right) Moscow student Olga Isler (see pp. 418 ff.).



LENINGRAD AND THE PROVINCES

385

final plea, he asserted his innocence and his right to read anything he wished.

The Procurator demanded imprisonment in strict-regime labour camps for all three defendants: six years for Kvachevsky, four for Gendler and eighteen months for Studenkov. Defence counsel for Gendler and Studenkov demanded that the indictment be reformulated under article 190-1 of the Criminal Code.

The court sentenced Kvachevsky to four years, Gendler to three and Studenkov to one—all in strict-regime camps.

On April 17th, 1969, the appeal hearing took place [...] The 7 sentence was left unaltered.

In addition to this account the Chronicle reported a reprisal taken against one of the witnesses,⁷¹ and also summarized⁷² the samizdat item 'About the Trial of Kvachevsky (based on L. P. Nestor's record)'. Nestor's record is a long and unusually valuable document because of the extensive detail it gives both about the trial and about the mutual relationships of the different dissenting groups in Leningrad between 1965 and 1968. It adds to the Chronicle's account by, for example, revealing that Kvachevsky's letter to Chalaushky was among the charges against him, also that his brilliant speech in his self-defence drew some applause from an audience largely selected, of course, to be hostile to him. It also reports that Gendler's attitude in prison was for a long time uncompromising, and that it changed only at the last minute, after talks with some high officials who appear to have offered him a deal.

But what of subsequent developments?

On August 25th [1969] Anatoly Studenkov [...] was released. In 9 his final plea he had begged the court to 'protect him from anti-sovietists' and not to send him to a camp. His request was granted: right to the end of his term ... he remained in a Leningrad prison.

Yury Gendler and Lev Kvachevsky [...] have still not been sent to camps. They are being held in the Leningrad investigation prison as witnesses in some 'polytechnicians' case' about which the Chronicle has no information.

13

Подписной лист № 1 на выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР Пономарев Евгений Иванович

№ п/п	Фамилия, подпись	Адрес или № телефона
1	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
2	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
3	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
4	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
5	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
6	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
7	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
8	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
9	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
10	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
11	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
12	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
13	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
14	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
15	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
16	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
17	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
18	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
19	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
20	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
21	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
22	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
23	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
24	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
25	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
26	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
27	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
28	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
29	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118
30	Воронин Д.И.	Воронин Д.И. 165118

Подписной лист кампании 1989 года



Юрий Орлов и Ирина Валитова, 5 октября 1986 года



Александр Ильин и Дмитрий Леоненко агитируют за Е.Л. Головлева на привокзальной площади Серпухова, 1989 год



Выступление на митинге в Серпухове на стадионе «Труд» 4 февраля 1990 года



Митинг на стадионе «Труд» 4 февраля 1990 года



Лев Козлович, 1990 год



Елена Леонова в редакции газеты «Коммунист», 1980-е годы



Аня Помазова с агитационным плакатом, 1990 год



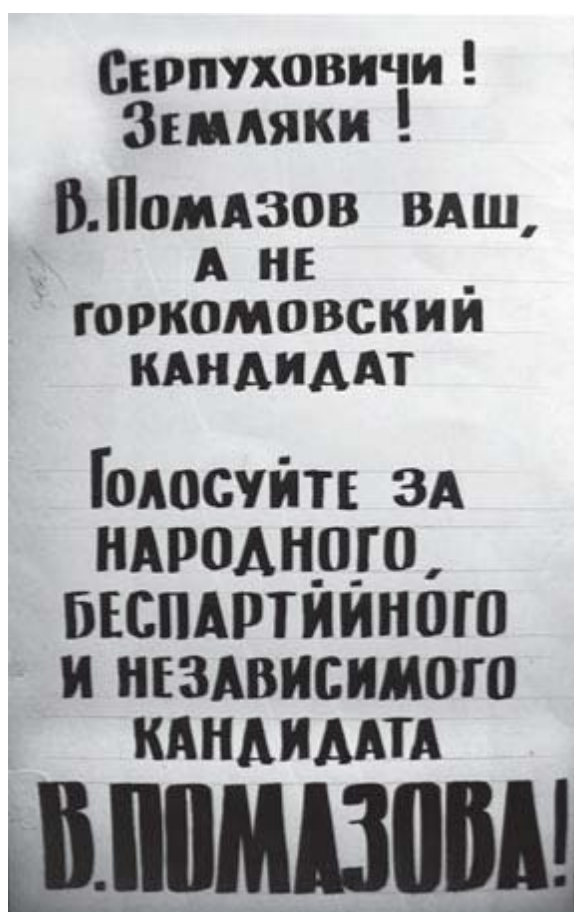
Профессор З.М. Саралиева, 1980-е годы



Главное здание Нижегородского (Горьковского) госуниверситета



Собрание в пущинском филиале ГГУ. В первом ряду крайний справа Е.Л. Головлев



Агитационный плакат, 1990 год



Голосование за кандидатуру редактора «Совета» в Серпуховском совете депутатов, сентябрь 1990 года



Сотрудники редакции газеты «Совет» Слева направо: Галина Судакова, Елена Киреева, Светлана Андреева, Николай Дубинкин, Николай Голодников, Виталий Помазов, Ирина Чура, Любовь Журавлева. 1992 год



Вручение удостоверения кандидата на выборах 1990 года



В.П. Лукин, народный депутат РСФСР, в редакции «Совета», 1991 год



Путч провалился! 21 августа 1991 года



С сыном Сережей. Протвино, 1985 год